

К1224483

Вл. Железняк
ОДЕРЖИМЫЕ



13 КНИГ





ВЛ. ЖЕЛЕЗНЯК

ОДЕРЖИМЫЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ
НОВЕЛЛЫ
ЭТЮДЫ



К 1224483

АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

ВОЛОГДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина

Р2
Ж51

Портрет писателя работы художницы Н. В. Железняк

Ж51 Железняк В. С.
Одержимые: Ист. повести, новеллы, этюды/Вл. Железняк; [Худож. Н. В. Железняк]. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. — 367 с.: ил., портр.

Новую книгу известного северного писателя В. С. Железняка (1904—1984) составили как ранее издававшиеся, так и новые исторические повести, новеллы, этюды, в которых в полной мере проявился интерес автора к истории нашей Родины.

Ж $\frac{4702010200}{M157(03)-86}$ — 13—86

Р2
ББК84Р7

ПОВЕСТИ
О
ДАВНЕМ



ЗАРНИЦЫ НАД РУСЬЮ

Чем лучше будем знать прош-
лое, тем легче, тем более глу-
боко и радостно пойдем ве-
ликое значение творимого нами
настоящего.

А. М. Горький

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Василий Иванович самолично загнал вепря. Вепрь силы невероятной поднял на клыки двух княжеских гончих, и тогда, по знаку государя, ловчий Гаврила Лаптев, метнул в зверя дротик, рассек ему голову, а затем прирезал. Собаки еще долго ярились вокруг вепря, слизывая кровь и скуля.

День прохладен, и холодна голубизна неба с белыми прожилками. В бору запах прошлогодней прели, болота, раздражающий сосновый дых.

Возвращаясь в Москву, Василий Иванович обратил внимание на высокое дерево — на нем возвышалось грубо собранное ястребиное гнездо. Ястребиха принесла полёвку и кормила птенцов. Увидев охотников, птица зло смотрела на них.

— Вот я ее сейчас, — сказал молодой дворянин Никита Одоевский, — для государя добуду, — и прицелился.

— Не тронь, пускай живет, — приказал Василий Иванович и насупился. Опустил поводья коня и долго разглядывал гнездо.

— Люто мне, — тихо молвил, прикрыв рукою глаза. — Яз несчастен и презрен.

— Чем, государь? — почтительно спросил его Никита. — Кажись, держава велика, живем за тобой, людишки твои, яко у Христа за пазухой. Дай Пречистая богородица во всех делах тебе счастья.

— Ах, Микита, молодешенек ты еще... А я зрю на сие гнездо и думаю: «Тая птица счастливее государя Московского грешного Василия — у нее птенцы».

Тронул поводья. Гнедой конь, кося диким влажным оком, махом вынес всадника на столбовую дорогу.

— Запечалился державный, — сказал Одоевский остальным дворянам.

— И то правда, — проскрипел тонким голосом старый боярин Федор Семенович, князь Прозоровский. — Государыня-то наша Соломонюшка недетородна. Ошибся великий государь, промашку дал.

— Одна дорога княгине-то, — густой бас дьяка Петра Гавриловича дошел до слуха Василия Ивановича. — Княгиню в монастырь, а государя на молоденькой оженишь.

«Прав дьяк, — раздумался Василий Иванович, — на кого государство оставлю? На братьев? Упаси господи! Какая от них Руси прибыль! Свои уделы в порядке держать не могут, где им, своекорыстным да драчливым, Русью управлять! Погубят распрями да сварами. Соломония честна и чиста, аки голубица небесная, а не милует господь детьми».

И представилась государю Соломония, с которой прожил двадцать лет. Высокая, дородная, коса русая густая под кикю упрятана, глаза добрые серые, голос приятен, тело нежное, ни едина прыщика... «Тьфу, о чем мыслю!» Признавал в душе женины достоинства и все же чувствовал: не лежит его плоть к ней неистово, равнодушен он к ее добродетелям, не сушит перезрелая красота Соломонии его сердце. Третьего дни она к нему припала всем телом, раскраснелась, ласкала в опочивальне, а он был холоден и даже упрекнул:

— Ты мне жена законная, не любовница, почто такое творишь? — сам знал, обида сие, но удержаться от слов поносных не мог.

Так в тяжелых думах доехал до Кремля.

Всегда государь любовался Кремлем. Поклон истовый батюшке, покойному Ивану Васильевичу, — много сделал для благолепия кремлевского. Матушка, Софья

Фоминишна Палеолог, — чать, кровей византийских, царских, для нее, да и не только для нее — для Руси прославления старался. После того как ханскую поганую басму истоптал, писаться стал в грамотах не Иваном князем Великим, а Иоанном божьей милостью государем всея Руси. Он же, Василий, сей титул увеличил — «государь и самодержец», да еще приписывали в грамотах иноземным королям: «Великий князь Владимирский и Московский и Новгородский и Псковский и Тверской и Пермский и Югорский и иных...».

Кремль сверкающий, единый на всю вселенную! Сколько знаемых мастеров выписал батюшка-государь из Италии, да и свои не хуже были. Успенский новый собор! Да разве где сыщется такая красота? Грановитая палата — только в сказках о ней сказывать. А каменный государев дворец заместо хором деревянных... Все батюшкино! Веленье и раченье, забота о величии государства Московского.

В мягком кресле перед оконцем сидела Соломония Юрьевна, рожденная Сабурова. Ожидая мужа, прибралась, надела на шею монисто, не так чтоб дорогое — изумрудное. Оно нравилось Василию Ивановичу. Протерла лицо чудодейственной венецианской мазью, подчернила и без того густые соболиные брови и облеклась в тяжелое, вышитое всяким узорочьем платье.

Сидела пышная, красивая, как богиня.

Соломония Юрьевна не теряла еще надежды стать матерью, надеялась, тоскуя и плача по ночам, на божье милосердие. До чего надеялась, до чего верила, уму непостижимо. Какие только снадобья не употребляла, скольким чародейкам да бабкам-знахаркам злата-серебра передала.

И теперь мечтала: придет государь, увидит ее веселую — не надобно, чтобы глаза на мокром месте были, надо обиды и поносные мужнины речи забыть, пусть Василий Иванович зрит ее, аки розу цветущую.

Сына бы ей, сына! Кажись, все бы отдала, на муки страшные пошла, сына ей, сына!

Сенные боярышни входили к великой княгине с принижением, кланялись, улыбались: «Не прикажешь ли чего, великая государыня?» Не отвечала Соломония, только наклоняла голову чуть-чуть, так, чтоб не обидись.

На стене заморские часы с музыкальным боем, ду-

ке миланский подарил, под ногами мягкий ковер, царя бухарского посол привез. В углу киот: благостные лики святителей в драгоценных ризах и неугасимая лампадка перед ними.

В соседнем покое девичий смех, веселость. Там на пяльцах девицы вышивают золотом и шелком платы для украшения великокняжеского и церковного, и рисунки разнятся: для дворцового обихода — львы и единороги, сирины и лебеди, для митрополита — листья, цветы лилейные, знаменующие невинность и помыслы светлые, и голубь, птица небесная с масличной ветвью в клюве.

Сидит у оконца Соломония Юрьевна, вида не показывает, что волнуется. Глядит — въехала в Кремль государева охота, лай собак, конское ржанье. «Зайдет ли ко мне Василий? — руки в тоске сжала. — Зайдет?»

Боярышни к оконцам подбежали — государь с удачей прибыл! — и зашущукались.

— Балясы-то бросьте, — сердито сказала Соломония Юрьевна, — не верещите, сороки!

Девицы замолкли и снова за пяльцы.

Заиграла музыка в часах. Прибежала Домна Егоровна — постельничая, ей за семьдесят, а еще проворная.

— Матушка княгиня, до тя Василий Иванович. Туритесь, девы, отсея, — и княгине на ухо: — Смутный чегой-то государь, хмурый.

— Хмурый? — брови подняла.

— Как есть хмурый. Исподлобья очами зыркает. — Постельничей хотелось еще поговорить с княгиней, но в покой вошел государь.

— Брысь, Домна, — сказал строго.

— Я тебе, Василий Иванович, не кошенка, ты мал ребенок был, а я тя пестовала. Софья Фоминишна за- всегда...

— Ну-ну, иди, нянька, иди, — подтолкнул ее к двери великий князь, подтолкнул не зло, и это поняла старуха.

— Ладно-ть. — И тихонько дверь притворила за собой.

— Прости, Соломония Юрьевна, — сел на лавку. — Должен правду горькую сказать. Прожили вместе двадцать годков, упрекать ты не могу, супруга ты верная,

заботливая, не вем, по чьей вине, может, по твоей, может, по моей, не даровал нам бог счастья в детях.

Соломония молчала, побледнела, сдерживала крик в горле.

И опять заиграла музыка в часах.

— Буду с тобой, государыня, говорить о делах больших. Русскую державу блаженной памяти отец мой Иван Васильевич Третий аки едину державу утвердил, у княжат удельных крылья-то пообрезал, на кого яз оставлю Русь? Наследника нет.

— Василиюшка! Авось услышит наши молитвы...

— Никак ждать нельзя, к пятому десятку приближаюсь... Жаль, Соломонюшка, но ничего не поделаешь, надобно тебе монашеский куколь надеть, постричься от мира в монастырь.

— Нет, не будет того... Не хочу в келью, в затвор... Не могу, Василий Иванович, беззакония творить.

— Ты не бойся, княгиня, на прокорм отпущу деревеньки.

— Не вздену черный куколь, Василий, так и знай.

— Завтра с боярами совет держать буду, а пока прощевай, подумай, княгиня.

Встал с лавки суровый, беспощадный, никогда таким его не видела. Когда осталась одна, запричитала деревенской бабой:

— Матушка родненькая, на кого ты меня, сироту, оставила, на кого?..

На совете о пострижении в иночество Соломонии Юрьевны Сабуровой до прихода государя хай стоял превеликий. Замолкли, когда пришел Василий Третий и зачал, пригорюнившись, сетовать боярам:

— Кто моим и Московского царства наследником будет?

Бояре осанисто оглаживали бороды, хмыкали в кулак. Дьяк Петр Устинович Григорьев поднялся и, поклонившись великому князю и боярам, изрек:

— Пресветлый государь и мудрые великородные бояре и окольничие! В святом писании аще изречено: «Неплодную смоковницу посекают и сажат младую, дабы воблаговременьи плоды получить».

Митрополит Даниил, человек политичный, счел нужным поддержать государя:

— Твое желание, сыне мой, даровать державе на-

следника похвально. Княгиню Соломонию, ежели добром ангельским чин не воспримет, укажу постричь в суздальский Покрова девичий монастырь.

Окольничий Иван Юрьевич Шигона-Поджогин, любимец великого князя, воскликнул:

— Послушай, государь, совета владыки Даниила. Поручи мне сие, доставлю княгиню в Суздаль без промашки.

Многие бояре закивали бородами:

— Сослужи, Иване, службу государю.

Были несогласные: Соломония принадлежала к московскому роду Сабуриных, бывших в свойстве с другими знатными семьями.

Седой полководец, не раз побеждавший татарские полчища, князь Симеон Курбский осудил Василия.

— Негоже, государь, — сказал он, вставая, — негоже поступаешь. Нету детей, значит, бог не благословил тебя. Может, Соломония Юрьевна тут ни при чем, может, и пошлет вам еще господь чадородие. А владыке Даниилу не след, яко пастырю, благословлять сие непотребство.

— Знай воинский уряд, не мешайся в дела высокие, — митрополит Даниил поднял архиерейский посох. — Помни, воевода, всякому правилу исключение есть.

— Постричь княгиню немедля, — поддержал Прозоровский.

— Тобя самого постричь, старого кобеля, давно пора, — шумели родственники Сабуриных.

— Государеву волю сполнить! Постричь Соломонию! — выкрикивали сторонники Шигоны.

Старец Вассиан, всеми уважаемый, крепко стоял за княгиню, но большинство бояр и митрополит приговорили: «Великую княгиню облечь в иноческий чин и сей обряд совершить в Москве в девичьем монастыре у Рождества богородицы».

Когда бояре расходились, Василий Третий позвал воеводу Курбского.

— Больно уж ты, Семен, горяч, супротивничаешь зря, остынь. Сдай свое воинство второму воеводе и езжай в вотчину, доколя не вызову.

И, не дожидаясь ответа, повернулся к воеводе спиной, что означало опалу, и все, кто был рядом с князем Симеоном, поспешно от него попятись.

Утром Иван Шигона и трое воинов явились во дворец за княгиней. Постельничая Домна Егоровна укорила их:

— Постыдись, Иване, на государыню, аки на разбойника, с пищалями да саблями наступаешь.

— Волю государя сполняю, — ответил тот и громко: — Собирайся, Соломония Юрьевна, со мной поедешь.

Княгиня вышла в наряде великокняжеском, парчовом. Прибежали сенные девы да боярышни, бросились на колени перед Соломонией Юрьевной, руки целовали. Шигона, низенький, корявый, в походной епанче, зло улыбался:

— Кончайте прощеванье, дальняя дорога княгине выпала, за вас, боярышни, молиться будет.

Домна Егоровна посулила окольниковому в тартарары провалиться и, нежно обнимая княгиню, говорила:

— Свет ты мой Соломонюшка, Христос терпел, нам велел. Жива буду — навешу, на дне моря сыщу.

Привезли княгиню в московский девичий монастырь. Там уже находились митрополит Даниил, игумен Давид, настоятельница Катерина и монахини.

— Подойди, дочь моя, — позвал княгиню с амвона Даниил, держа на протянутых руках монашеский куколь и рясу. — Прими наше благословление и сию иноческую мантию, дабы служила ты Христу единому и за род людской молилась. — И к игумену: — Отче Давид, соверши обряд над княгиней и нареки ей имя София.

Соломония Юрьевна выпрямилась.

— Я согласия не давала на постриг. — Резким движением выхватила из рук митрополита монашескую одежду и отбросила ее в сторону. — Я есмь ваша государыня княгиня великая всяя Руси.

К ней подошел Шигона.

— Ты не княгиня великая, а инокиня София, — и ударил Соломонию по щеке. — Смирись, София!

Бил по лицу, смеясь, а Даниил с игуменом, отвернувшись в сторону, о чем-то беседовали, как бы не видя надругательств над княгиней.

— Как ты, холоп, смеешь меня бить?.. — и выплюнула на камни храма кровавую слюну.

Шигона отошел, уступив место монахиням, которые стали облачать княгиню. Та больше не сопротивлялась.

Стояла с пылающим от побоев лицом. Стояла безмолвная.

Молодая монахиня дрожащим голосом произносила за нее слова отречения от мира, мужа, радостей земных, от всего того, чем жила Соломония. Только когда выводили на паперть, она обернулась к алтарю:

— Накажи, боже, злодеев моих.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Возок ехал под охраною, а на пути в каждой ямской избе знали, что везут в Суздаль неповинную княгиню Московскую, насильно постриженную. И когда возок останавливался для смены и кормежки лошадей, крестьянки низко кланялись княгине в смиренной черной рясе, клали к ее ногам узелки с простым приношением — калеными яйцами, сушеными грибами, ржаными лепешками.

— Прими, матушка, помолись за нас, грешных.

Шигона и воины разгоняли народ осторожно, с опаскою.

— Расходитесь, православные, неча тут глядеть, — и поталкивали баб.

— Ишь, какой воевода выискался, — неприязненно кричали мужики, — ты наших баб не замай, не то оглоблей по шее огреем.

Сдавая игуменье княгиню, Шигона велел не делать старице Софье поблажки, держать в неукоснительном наблюдении. Прощаясь, повинулся:

— Не гневись, мать София, что руку на тебя поднял, велено было смирить, не держи зла.

Когда Шигона с воинами уехали, игуменья и старшие матери с почтением стали ухаживать за Соломонией Юрьевной.

— Матушка государыня, — говорили, провожая ее в большую светлую сухую келью, прибранную чисто, — хранить от невзгод будем, для нас ты государыней и великой княгиней останешься. Неволить ни к посту, ни к церковной службе не станем. Дадим на послуг молоденькую послушницу. Государь Василий Иванович крепко перед тобой виновен.

Этот прием в монастыре смягчил сердце княгини. Благодарила инокинь:

— Не забуду до скончания века, матушка и сестры.

Игуменья Ульяна, умудренная жизненным опытом (и каких только узниц ни посылали в Суздаль — и боярынь, и княжеских вдов и дочерей), отвечала:

— Государыня, обитель наша небогата, живем только милостыней да трудами. Есть деревушки по завещаниям благодетелей приписные, да ныне крестьяне-то не больно трудятся для монастыря, все норовят боком. И на твои милости надеемся, не оставят тебя родичи Сабуровы, да и государь пожалует сироту.

За монастырскими стенами, ежели подняться на звонницу, видны леса, деревеньки, озера. В обители спокойно, умиротворяюще. По утрам призывно звонили колокола и к храму из келий тянулись черные фигурки.

Через месяц на дворцовых лошадях приехала из Москвы постельничая Домна Егоровна под охраною вооруженных холопов.

— К тебе, касатка, к твоей святыне, — обнимала Соломонию Юрьевну. — Кланяться буду игуменье, приняли бы в иночество, стара сделалась, государь отпустил, десять рублей пожертвовал, матери игуменье за ты пятьдесят рублей, да поминки прислал: стерлядей вяленых, медку кадочку, мучки на пироги.

— Благодарствую великому князю Василию Ивановичу, — склонила голову в черном клобуке.

До чего ж еще привлекательна княгиня, и монашеский убор не скрывал, а только подчеркивал гордую красоту ее.

Игуменья охотно согласилась принять в обитель Домну Егоровну: старуха и вклад внесла сто рублей — сумма немалая, да десять рублей за келью. Накопила постельничая за полвека дворцовой службы.

Рассказывала вечером. Сидели в приветливой келье княгини и пили вкусный монастырский ягодный квас.

— Василий-то Иванович, не гляди, что седой, к свадьбе готовится. Жену-то в монастырь, а сам, грешник, к юной деве, ей, поди, есть ли шестнадцать.

— Из каких невеста? — вся привязанность к Василию перегорела за эти недели, и спрашивала спокойно, как о постороннем человеке.

— Из вельможных, литовских Глинских.

— Князя Василия Глинского дочка?

— Угадала, матушка, Василия Львовича, Елена.

Дядя ейный Михаил Львович за измену под стражей. То он к Москве привержен, то к крулю литовскому.

— Знатная фамилия, род большой, богатый, да у Василия годы неподходящие.

— Говорено было государю — дитя невеста, а он словно белены объелся, больно уж прельстительна княжна Елена. Бороду сбрил в угоду княжне.

— Нянька, под великое заклятье тебе открою.

— Не пугай, касатка, — спокойно сказала Домна Егоровна, — сказывай без боязни.

— Кажись, Егоровна, я не порожняя, кажись, помиловал меня господь.

Домна Егоровна вскочила, ровно молодая.

— Ой, что говоришь, княгиня, не может этого быть!

— Может, постельничая, знаешь? — и она, покраснев, что-то шепнула ей на ухо.

Та перекрестилась:

— Береги себя, доченька, матери игуменье Ульяне скажись, она не выдаст.

Подумала княгиня.

— Ин права ты, скажусь настоятельнице.

И с той поры просветлела лицом Соломония Юрьевна, и походка у нее стала плавной, лебединой стала походка.

В сентябре 7035 года от сотворения мира (в 1526) из Москвы прибыл дворцовый подьячий Ивашка Боков с государевой грамотой:

«Се яз Князь Великий Василий Иванович всея Руси пожаловал есьми старицу Софью в Суздале своим селом Вышеславским с деревнями и с починки. А после ее живота то село Вышеславское в Дом Пречистые Покова Святой Богородицы».

Обрадовались сему дару игуменьи и сестры, еще бы! Село Вышеславское считалось среди великокняжеских вотчин хорошим, доходным. Мужики там были крепкие, в каждом доме коровы, лошадь, овцы, птица да еще улы. Монахини пуще прежнего стали беречь княгиню. Наловят мужики рыбки в озере — первую миску наваристой ушицы княгине, белых грибов на сковородке — кому? — княгине.

А великий князь Василий Иванович забыл обо всем, кроме обожаемой княжны Елены Васильевны Глинской. Обижались московские и иных городов бояре, дворяне,

почетные торговые гости. Разве не снабдил господь красотою наших дочерей? Кровей русских, покорных мужней воле, несвоенравных, степенных. Осуждая Василия Ивановича за второй брак, самым главным проступком великого князя считали нерусское происхождение невесты. Будь невеста из своего московского рода, особых разговоров не получилось бы, приняли беспрекословно.

Княжна Елена не смущалась московскими сплетнями. «Пускай мовят, то мне не остуда», — говорила она. Воспитанная по-западному, Елена не стеснялась разговаривать со старшими. Узнав от отца о сватовстве пожилого великого князя, она, как умная девица, мечтавшая занять видное место среди московской знати, согласилась стать его женой.

Когда Василий Иванович приехал к Глинскому, княжна Елена, вопреки правилам, вышла к гостю и смело взяла его за руку:

— Пан-государь, прослышав про твое сватанье, я бардзо обрадовалась. Быть супругой такого преславного князя — честь большая!

— Спаси ты, Елена Васильевна, — обрадовался жених, — любя ты мне. — И, сняв с пальца золотое кольцо с сапфиром, передал его невесте.

Свадьбу играли несколько дней, пышную, с угощением знатным. Жених и невеста шли к венчанью по бархату и соболям. Митрополит Даниил подал им по стеклянному кубку вина заморского. Выпив вино, муж бросил кубок на пол и растоптал его.

Когда молодые шли в сенник (спальню), дружка взял жареного петуха, обернул его в скатерть, боярыня — жена тысяцкого — осыпала новобрачных хмелем и кормили государя и государыню петушиным мясом. Голову петушиную дали Василию, а шею Елене — ибо куда повернет голову муж, туда же и шея женина тянется. Постель новобрачным стлали на двадцати семи ржаных снопах. Государев конюший с обнаженной саблею на жеребце всю ночь под окнами охранял покой молодых.

В свадьбу кормили московский люд, всюду столы с брагой, медом, оловянные блюда с жареной рыбой, мясом, бойкие поварихи пекли блины на конопляном масле. Нищим и калекам раздавали щедрую денежную милостыню. Наемным полкам, в которых служили немцы

и литовцы, поставили бочки вина и пива. Десятки возов калачей и пирогов развезли по тюрьмам.

На улицах плясали скоморохи с медведями, рожечники и ложкари в кружалах радовали пьяных музыкой и прибаутками, а веселые звонари до того надрывались, что в церкви Николая Явленного от усердия оторвали у колокола язык.

Веселилась Москва на даровщину: не часто приходилось жителям обжираться и упиваться так до беспамятства. Но, конечно, не обошлось без драк и убийства. Что тут поделаешь — евадьба государева!

Москва при Василии Третьем была обширна: окрестные монастыри с церквями, разноцветные маковки колоколен, слободы, где жили ремесленники, пашни и луга, сады и рощи, мельницы на Яузе, Неглинная, как озеро, дававшая воду кремлевским рвам, — все внушительно и впечатляюще.

Собственно городом считался Кремль, окруженный каменными белыми стенами, где жили государь, митрополит, бояре, служилые дворяне. В обнесенном посаде помещался гостиный двор — торговые лавки, жили здесь купцы. Зимой зерно, мясо, дрова, лес, сено продавали на Москве-реке. Жителей по переписи 1520 года насчитывалось более ста тысяч, а домов сорок одна тысяча пятьсот.

По ночам на улицах ставились заставы, коими ведали пристава, и ходить жители могли только по особой необходимости и обязательно с фонарями. Чтобы избежать пьяных драк, ограблений и убийств, был издан строгий указ: пить хмельное разрешалось только в праздники, исключение делалось для иностранных солдат, служивших в рейтарских полках. Полки размещались за Москвою-рекою, и слобода называлась Налейками от слова «наливай».

На торжищах многолюдно: тут и ремесленники со звонкими глиняными горшками, деревянными бочками, корытами, поставцами, на холстинах — серпы, косы, ножи; в наспех построенных лавках восточные купцы заманивали покупателей цветастыми шелками и бархатом, серебряными ковшами и чарами, отделанными серебром, саблями и кинжалами.

Бояре, окольные дворяне, жильцы, боярские дети и дьяки сохраняли между собой ступенчатую раз-

ницу. На высшей ступени возвышались бояре и воеводы из удельных княжеских родов и исконные московские бояре, записанные в бархатную родословную книгу. Держались родовито и спесиво: простой дворянин или подьячий при виде боярина загодя снимал шапку и уступал дорогу. Между собой именитые держались вежливо, гостеприимно, кланялись друг другу, угощались романеей, и хозяин провожал гостя, равного себе, до порога, высшего — до крыльца и усаживал в рыдван. Свою семью боярин держал в строгости. Женщины редко показывались на улице, сидели в теремах, занимались всяким рукоделием, а развлечение для боярышень одно — качели в саду.

Стародавние обычаи: так, мол, от дедов повелось, не нами заведено.

И потому родовитые с опаской смотрели на тех, кто мыслил не так, как они, боялись пришлых ученых и богословов: кто их знает, кто их знает — лучше с ними не будет, а хуже — наверное.

При Василии Ивановиче пригласили с Афонской горы для перевода с греческого на славянский рукописных книг ученого монаха Максима Грека, получившего образование во Флоренции и в Париже. Сам государь беседовал с Максимом Греком, прислушивался к его советам, приобретал с его помощью рукописные книги для великокняжеской библиотеки.

Келья старца Максима в Симоновом монастыре превратилась в место встреч знатных лиц: беседовали с ученым монахом, спорили, высказывали свои мнения. Среди посетителей выделялся опальный боярин Иван Никитич Берсень-Беклемишев, вельможа уже в годах, ревнитель старых правил*.

— Господин Иван, — спрашивал Максим Берсень, — за что князь великий такого разумного человека не жалует?

— По грехам моим, обговоры пришли на меня, — говорил встречи (противоречил) великому князю о Смоленску. Князь великий того не полюбил да молвил: «Пойди, смерд, прочь, не надобен ми еси».

Берсень с удовольствием вспоминал, как хорошо было до приезда греков в Москву, тогда Иван Третий был

* Сохранились допросные листы разговора между ученым греком и боярином Берсением.

«до людей ласков, а нынешний государь людей мало жалует. А как пришла сюда мати великого князя Софья с вашими греками, ино земля наша заметалася: а дотоле земля наша русская жила в тишине и в миру».

Максим, обиженный за греков, возразил в защиту Софьи, что она «по отце царский род, а по матери великого дукуса (герцога) Феррарийского».

Берсень упрямо:

— Какова ни была, а к нашему нестроению пришла... Мы слышали у разумных людей, которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь великий переменял: ныне государь наш, запершись сам-третей, у постели всякие дела делает.

Смелые речи опального вельможи не остались внутри, нашелся доносчик. Максима обвинили в ереси и сослали в далекий тверской монастырь в тюрьму под строгий присмотр, где он провел двадцать два года. Сильно прогневался Василий Иванович и на Берсенья. После пыток привезли его (сам уж не мог ходить) на лед Москвы-реки, там на плахе палач отрубил непокорную голову Ивана Никитича. Не пощадили и доносчика. «Доносчику первый кнут» — гласила старая московская мудрость. Ему палач отрезал язык.

Расходились по домам москвичи, наглядевшись на окровавленную голову Берсенья. Расходились, помалкивая и уясняя житейскую истину: держи язык за зубами.

Москва, Москва! Старина-матушка. Суд скорый и неправый...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Елена скучала: чинная, размеренная дворцовая жизнь ей не нравилась. Потом попривыкла. Боярышни вышивали шелком, пели длинные протяжные песни. Елена учила их литовским веселым, но ведавшая порядком постельничая боярыня Агафья Прокоповна сухо сказала:

— Государыня молодая, то не московские песни, а ты, чай, великая княгиня всея Руси, негоже тебе литовские распевать.

Не понимала Елена, как можно спать после обеда, и Агафья Прокоповна снова пеняла:

— Прежние государыни завсегда от обедов опочин держали.

— Пошли, боярышни, в сад на качели, — капризно звала Елена подруг и бежала в сад. Там большие изукрашенные качели взвивались в небо, и Елена взвизгивала от восторга:

— Выше, девы, взвивайте, выше!

Боярыня жаловалась Василию Ивановичу:

— Батюшка-государь, великая княгиня не слушается.

Рассказывала боярыня о проделках Елены, а государь улыбался.

— Ты уж больно строжишь Елену Васильевну, годы ее не наши, не пеняй ей.

— Твоя воля, — кланялась боярыня, — по мне хучь на голове ходи великая княгиня.

— Не забывайся, Агафья, знай свое место.

— Прости, государь. — И постельничая уходила.

Василий Иванович крепко любил Елену. К той, прежней жене, никогда не испытывал такого страстного чувства. Елена была для него счастьем и жизнью; дочкой и женой желанной.

— Я тебя, Олёнушка, все годы ждал, поседел ожидаючи...

Не было, казалось, такой прихоти княгини, которую не исполнил бы Василий Иванович. Когда она со своей половины спускалась по лестнице в государевы покои и, весело смеясь, подбегала к нему, брала в свои ладошки его руки, целовала, он весь светлел и, ежели бы не сидели здесь посторонние, схватил бы ее и поднял аж до потолка. Елена это понимала. Поклонение великого князя ей нравилось. Его ласки были приятны, его доброта трогала. Елена по-своему полюбила Василия Ивановича. По вечерам, когда оставались одни, спрашивала о делах государственных.

— Тебе легче будет, государь, коли мне поведаешь...

Он снисходительно рассказывал, а потом удивлялся, как это столь юная княгиня смело разбирается в делах. Ему нравилось, что Олёна (так он ее звал) не так, как бояре, с оглядкой и витиевато, а просто, кратко излагала свое мнение.

Одно тревожило их — не было наследника.

— Надобно съездить помолить святых угодников — Кирилла Белозерского да Дмитрия Прилуцкого, чтобы послали нам чад любезных. Собирайся, Олена, в путь, в Вологду, — решил Василий Иванович.

Елена обрадовалась, обняла мужа за шею. Уж до чего ей опостылела боярыня Агафья Прокоповна!

Окольничему Ивану Юрьевичу Шигоне-Поджогину пожалован государем боярский чин, но не радовался он, заскучал чего-то новоявленный боярин. Жена Анна Петровна из рода бояр Плещеевых, дебелая, могучего телосложения, дивилась:

— Государем обласкан, Юрьевич, всяк перед тобою шапку ломит, а ты — горюн горюном, неможется, что ли?

Нет, Шигона был здоров, не мог забыть он, как обидел княгиню Соломонию, как творил расправу. Когда прощался с ней в Суздале, княгиня так глянула на него, Шигону, что до Москвы не мог он слова вымолвить.

Ведь была Соломония и для него двадцать лет государыней, в праздники ему злату чару подносила. Загрустил Шигона, ночью ворочался на перине, пугая Анну Петровну.

— Окстись, Ваня! Выпей святой водички.

А он думал: «Чего смотрели митрополит и игумен? Ведь при них истязал княгиню! У-у, — грозился, — ох, спасенные души, чтоб вас...»

Молодая великая княгиня не нравилась Шигоне: глазаста, вертлява, суется в государевы дела.

Однажды Елена спросила Шигону:

— Это ты, Иван Юрьевич, прежнюю княгиню мордовал?

— По указу государеву, — сквозь зубы процедил.

— Меня не посмеешь, — улынулась Елена Васильевна, — не посмеешь, боярин!

— Коли указ выйдет — посмею, государыня, — прищурил на нее волчий взгляд.

— Не посмеешь, червяк, раздавлю, — и прошла мимо, шурша атласом.

«У-ух! — мысленно заматерился, — ну подожди, паненка, не нашего рода-племени». И уехал со дворца.

Через год, в день пострижения Соломонии Шигона поехал на конях в Суздаль. В городе закупил воз лучшей рыбы и послал поминки в Покровский девичий монастырь. Идти в монастырь побоялся: знал — не примет его мать Софья, только охулка получится.

На подворье суздальского протопопа отца Нектария за чарой меда разговорился.

— Чего, отец Протопоп, про старицу Софию говорят?

— Спаси бог, боярин, за неоставление (Шигона пожертвовал Нектарию пять рублей да зимнюю бобровую шапку). Яз да матушка протопопица многим тебе благодарны, а про старицу Софию только похвальное слышал. С того дни, как ты ее по государеву указу сдал в монастырь, многое, ох, свет боярин, многое, по тайности грят, переменялось.

— Скажи, отец Нектарий, — у Шигоны даже голос задрожал, — скажи, яви такую милость.

Протопоп молчал.

— Возьми дукат золотой, — боярин вынул из бисерной кисы увесистую золотую монету.

— Не выдашь мя, Иван Юрьевич?

— Вот те крест, — истово сотворил крестное знамение Шигона. — Пытать зачнут — промолчу.

— Так слушай! — отец Нектарий положил дукат в карман рясы. — Велика милость божия к княгине. Вы там в Москве ее в монахини, а она уже тогда зачала наследника от государя.

— Да брешешь, поди, поп! — воскликнул Шигона.

— Собака брешет, а не я.

— Прости, батюшка, сказывай дальше.

— Чего сказывать? — Нектарий зело обиделся. — Ты у кобеля цепного спроси.

— Прощения прошу, — боярин снова вытащил кису, достал серебряную монету и положил на столешницу.

— Ин ладно. Княгиня о сем только игуменье да старухе постельничей, что живет в монастыре, открылась. Конечно, потом и другие узнали: и манатейные, и рясофорные. Родился у Соломонии Юрьевны робяенок мужска пола, и в святом крещении наречен Георгием. И молвила княгиня: «Тайно воспитаю дитя свое, придет час — и явится он в могуществе и славе»*.

* Это предание было настолько распространенным, что о рождении сына у Соломонии упоминалось у современников-иностранцев (Павел Нивий) и у нас в Никоновой летописи. Предание повторил в «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзин. Историк профессор Н. И. Костомаров даже написал историческую повесть о старшем сыне Василия Третьего «Кудеяр». Сама Соломония скончалась в 1542 году и похоронена на монастырском кладбище.

— И где сей младенец? — заволновался Шигона. — Еще золота дам, скажи. Не для худого выпрашиваю, а для доброго.

— Разрази меня гром, не вем, боярин, да разве кто скажет?

В Москве Иван Юрьевич молчал, таился.

Шли месяцы, а молодая государыня была бездетна. «Бог наказывает, — шептались между собой москвичи, — согрешил государь». И однажды наедине с Василием Третьим Шигона недомолвками проговорился о рождении у Соломонии сына. Василий Иванович схватил за шелковую рубаху боярина:

— Замолкни, окаянный, того быть не может! Не возлюбил вы Олену и всякие небылицы по Москве разносите. А чтоб ты помолчал... Жильцы! — вошли трое молодцов.

— Что прикажешь, государь? — поклонились.

— Возьмите боярина, окуйте железом да в тюрьму.

Долго не мог успокоиться Василий Иванович. Только когда спустилась к нему Елена, вздохнул тяжело: «Радость ты моя, единственная».

Государев поезд шествовал медленно, чинно. Впереди на белых конях дворцовые жильцы с алебардами и пищалями. За ними тяжелый рыдван, запряженный соловой масти конями, — в нем восседала великокняжеская чета. За рыдваном тянулся длинный обоз с челядью, припасами, дарами для монастырей, в двух крытых кибитках — боярин Тимофей Петрович Куракин, дьяк Семен Степанович Воронцов, подъячий Михаил Вениуков и дворцовый поп Гаврила. Поезд замыкал отряд из двадцати воинов.

Останавливались с ночевками. В Троице служили молебен у раки преподобного Сергея Радонежского, отдыхали в Ростове Великом и Ярославле. Наконец приблизились к Вологде.

Василий Иванович устал, растрясло от поездки и июльской жары: дождей выпадало мало, сушь, пыль — тягота, да и только. Молодая княгиня дорогу переносила легко, любопытствовала. Выспрашивала мужа про города, про обычаи.

— Вот, Елена, в Вологде батюшка Иван Васильевич с дедом государем проживали, когда богомерзкий

Шемяка, ослепив деда Василия Васильевича, дал ему сей град в удел. Отсюда дед государев, благословясь у Кирилла Чудотворца, зачал свой поход на Москву, — рассказывал Василий Иванович. — Дед завещал Вологду младшему сыну Ондрею, а тот передал моему батюшке Ивану Васильевичу.

Елена слушала внимательно, благодарила, целовала руку.

В Вологде все было приготовлено к пышной встрече великого князя. Съехалось духовенство, купечество, окрестные помещики. Всюду: и в городе, и в подгородном Спасо-Прилуцком монастыре — чистота и благолепие.

Московские государи дорожили Вологдой — ровесницей Москвы. Основали ее выходцы из пределов новгородских, отсюда в давние времена неумные вологжане открыли путь к сокровищам Заволочья, путь к морю-океану, где в несметном количестве водился ценный морской зверь. В пятнадцатом веке Вологда от новгородцев перешла к Москве, а свою верность единому великому княжеству Русскому доказала и на поле Куликовом, и в годы мятежа удельного князя Дмитрия Шемяки. В тысяча четыреста шестьдесят третьем году Иван Третий посетил город и повелел расчистить и устроить дорогу от Ярославля до Вологды. В следующем году по вновь устроенной дороге в Двинскую землю, что принадлежала Новгороду Великому, прошли московские полки воеводы Бориса Слепца для покорения гордого вольного города. А сколько воинов-вологжан участвовало в казанских и литовских походах — не перечесть!

— Сюда батюшка государь, — вспоминал Василий Иванович, — сослал на поселение царя казанского Алегамы. Знаешь, Оленушка, сколько жен у него было? Пятнадцать привёз.

— Справлялся како с ними? — смеялась Елена, — аль кого на помощь звал?

— Не моги тако шутить, Олена, разве кто посягнет на царскую жену?

— Бедные, — посочувствовала княгиня, — постились!

Государь повеселел:

— Негоже молвишь, Олена, да уж бог тебя простит, юна еще.

— Только с тобой, Василий, так, не бойся — перед другими сан не уроню, — сказала, целуя в плечо государя.

Вологда — большой купеческий торговый город — ограждена крепкой бревенчатой стеной. Центром была Ленивая площадка, где шел торг, от нее отходили два посада — Верхний и Нижний, а за рекой — Заречный. Дома воеводы, дьяка, купцов, богатых горожан были высокие рубленые, отличались они от изб посадских большими размерами да затейливой резьбой наличников и фасадов. Соборный храм Воскресения также был построен из вековых деревьев. В нем усыпальница киево-печерского инокa Герасима, первого строителя храма, от которого и ведет летоисчисление Вологда. Посадские люди жили в избах, которые топились по-черному. За избами посадских раскинулись огороды и пашни — население занималось промыслами и земледелием.

Встречала Вологда Василия Ивановича колокольным звоном, народ кланялся до земли, соборный прото-дьякон, аки труба архангельская, возгласил многолетие, а в хоромах у воеводы столы ломились от яств.

На другой день государь и государыня пешими свершили хождение на богомолье в Спасо-Прилуцкий монастырь. Молились умиленно у надгробия преподобного Дмитрия, щедро одарили монастырь и деньгами, и утварью. При выходе из собора подошел к великому князю монах, высокий, худой, с изможденным лицом. Был он в холстинном подряснике, с выцветшей скуфейкой на голове.

— Здравствуй, государь пресветлый, аль не узнал?

— Неужто князь Иван? — тихо спросил Василий.

— Яз есьм былой князь Иван.

Это был внук Василия Темного, сын удельного князя Андрея Угличского, постриженный в монахи.

— О чем просишь, князь?

— Иноку ничего не надобно, не о себе пекусь. Яз вскоре пред ликом всевышнего предстану, о брате Митрии печалуюсь. Немочен и болен он, с младых лет сколь годов, почитай, в цепях и сырости. Помилуй, государь, — голос монаха дрогнул, — заставь за себя богу молить.

Василий Иванович не ответил, посуровел. Монаха воины в толчки — не мешай князю великому. А княгиня мужу:

— Василий, государь мой, желаю зреть того Митрия.

И они в низкой тюрьме. Одно оконце слюдяное в потолке, на полу солома, в углу кирпичная печь и поганый ушат. На деревянных полатях бараний тулуп. Сидит сутулый пожилой человек. На вбитом в землю столе — глиняная кружка, деревянная солонка и на оловянном блюде горбушка черствого хлеба.

Человек оброс волосами, серые пряди свисают на лоб, на горбатый нос, борода длинная клином. На нем серая ветхая холщовая рубаха, грязный, заляпанный кафтан, лапти. Человек окован в железо по рукам и ногам. Цепь прикреплена к кольцу в стене. Можно ходить, звеня цепью, по темной каморе.

Когда вошли Василий Иванович и Елена в сопровождении городского пристава, ведавшего тюрьмой, человек даже не поднял головы.

— Митрий, — крикнул пристав, — встань перед государем и государыней и прими от них милостыню.

Он выложил из плетенки на столешницу каравай пшеничного хлеба, мед в тусе, жареную рыбу и пучок зеленого лука.

Человек посмотрел на гостей, не вставая с полатей. И тут Елена тихо заплакала: глаза узника пронзили ее душу. Какие это были глаза! Удивительно прозрачные, неимоверной голубизны и доброты. Тихо и ласково ответил:

— Не кричи, господин пристав, яз немощен, железа тяжелы, ноги опухли...

— Князь Митрий Андреич, на что печалуешься?

— Сам зришь, государь, — и посмотрел на плачущую Елену. — Будь здорова, княгиня молодая.

Елене сделалось плохо, ее вывели из темницы.

— Государь мой, облегчи князю участь.

— Не могу, Елена. Батюшка мой князя еще безусым отроком заключил. Он наследник Угличский, смуту бы сеял. Для государя Ивана Васильевича земля русская, вотчина дороже единокровных была.

— Государь мой, он еще отрок был невинный...

— Подрок бы. Нет, не нарушу, Елена, волю отца моего. — И к почтительно стоявшим пристава и подъячему: — Одежу Митрию новую смените, кормите лучше.

Смутна ехала с государем Елена. Ничего не хотелось.

А на улице — солнце, зелень, радость.

После Вологды поплыли на дощаниках по Кубенскому озеру мимо Спасо-Каменного к Сиверскому бурному. Там большой благоустроенный Кирилло-Белозерский монастырь, владевший рыбными и соляными промыслами и десятками деревень. Кроме храмов, настоятельского и келарского корпусов, монашеских келий, были тюремные, где содержались заточники: бояре, княжата, духовные пастыри. В самых худших условиях находились еретики, смутьяны, богохульники, закованные в железа в кельях, где едва можно было шевельнуться.

Василий и Елена заказывали молебны, ставили свечи перед ликами чудотворцев, оделяли милостыней нищих и калек убогих, что питались монастырскими объедками и посильно работали на монастырь. К заточникам Василий Иванович не заходил, подал отцу келарю изрядную толику серебра. Велел в течение года кормить заточников кроме хлеба соленой рыбкою, пареной репой и луком, дабы молили они преподобного Кирилла о даровании княгине сына.

Побывали и в Ферапонтовом монастыре. Елену обитель приковала тишиною, местоположением у голубых озер и чарами каменного храма Рождества богородицы. Храмы и палаты в Ферапонтове спокойные, домовитые, и сны приходили к Елене добрые, детские.

Ах, росписи храма Рождества! Писал их знаемый царский изограф Дионисий на склоне лет, помогали сыны Владимир и Феодосий. Сии росписи, кои должны люди именовать животворящими, ибо и в летописи сказано, что сей Дионисий не только искусный изограф, но и живописец великий. Краски сыновья и Дионисий терли из местных цветных камушков, что находил старик у озера.

...Голубые и золотисто-охристые тона, пурпурные и коричневые одеяния, изумруд райских куш. Она — мать всех скорбящих, — дева Мария, помощница и покровительница сирых и обидимых, таких как несчастный князь Дмитрий с прозрачными глазами, излучающими смирение и доброту.

Елена глядела на фрески.

Глядела пристально. Вздыхала...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Три года ждала Елена рождения сына. Молилась, постилась. Зимой, перед самым рождеством Христовым, снова ездили в Вологду и к преподобному Кириллу, богатые поминки давали, а праздник справили в Вологде на обратном пути. Заточнику князю Митрию теплую шубу пожертвовали, но к нему Елену Василий Иванович не пустил.

Бояре осмелели, явно намекали великому князю, чтобы он оставил литвинку и взял себе в жены русскую боярышню. Дядя Елены, старый князь Михаил Глинский, возвращенный из ссылки и ставший ближним советником государя, утешал племянницу:

— Тебе еще девятнадцать, не одного, а трех молодых государю принесешь, не печалься.

И действительно, свершилось то, чего так ожидал Василий Иванович, — Елена забеременела. Ее окружили заботами, уходом небывалым. Сам государь ежедневно спрашивал:

— Как чувствуешь себя, Оленушка? Чего желаешь?

Она таинственно молчала, прислушиваясь к тому, что зрело в ее чреве.

Однажды захотелось побаловаться на качелях, уговорила боярышень пойти в сад, не сказывая Агафье Прокоповне. Раскачали Елену девы. Под небеса, голова аж закружилась.

— Ох, девы, тошнехонько мне!

Прибежала Агафья, испугалась, задрожала:

— Что деется на белом свете! Что вы, поганые девки, нечестивые! Кто надумал? Ужо будет вам!

Качели остановили, Елену в обмороке отнесли в опочивальню, призвали государева лекаря немчина Николая Люева. Тот дал княгине понюхать из флакона, она открыла глаза.

— Ваша княжеская милость, вам надо беречься! Упали бы вы с качелей и повредили бы жизнь будущего венценосца, да и сами бы разбились.

Великий князь выговаривал жене:

— Меня пожалей, Олена! На потребу державе должна родить. Ой, Олена, больно уж ласков я с тобою, ей-ей, — а сам чуть не плакал.

— Не гневись, государь мой, сие не повторится.

Погладил ее по лицу.

— Нужна ты мне, Олена, пуще солнышка ясного.

В ожидании родов выпрашивал юродивых, кого бог пошлет княгине. Привели однажды московского юродивого Домитиана, обладавшего даром предвиденья, — старика грязного, в лохмотьях, вшивого.

— Скажи, божий человек, не утай.

Юрод сел на ковер, всплеснул руками.

— Родит тебе государыня сына Тита, большого ума.

— Кто такой Тит, — спросили старика.

— Родится, тогда и узнаешь. Кому плясать вскачь, а кому хучь плачь, кому в лоб, кому в гроб.

Юроду принесли калачи, он засунул их за пазуху. На кремлевском дворе кормил ими голубей и воробьев, кормил и плакал. Отчего плакал, видно, и сам не знал.

Тысяча пятьсот тридцатый год был для Василия Ивановича счастливым. Московские полки отразили нападение стотысячного войска казанских татар. Татары часто доходили до Мурома, Мешеры, Владимира, Кинешмы, Галича. Их шайки бродили в окрестностях Тотьмы, Великого Устюга и Вологды. Летописец с ужасом сообщал: «Казанцы лили кровь христиан, как воду. Селения и монастыри обратили в пепел, сыпали горячие уголья в сапоги инокам и заставляли их плясать, оскверняли юных монахинь. Кого не брали в плен — тем выкалывали глаза, обрезывали уши, нос, отсекали руки и ноги» (Казанская летопись).

Московские полки в июле под начальством воевод Ивана Бельского, Михаила Глинского, гоня татарские полчища, подошли к Казани, подожгли острог, взяли предместья. Татары потеряли в кровопролитном сражении за ночь почти шестьдесят тысяч воинов. Казань могла быть взята, но главный воевода Иван Бельский, приняв в своем шатре просивших мира татарских князей и мурз, снял осаду. Глинский обвинял Бельского в том, что он получил «хабар». Татарские послы с дарами явились и в Москву, клянясь, что они будут повиноваться Руси и изберут царя, удобного Василию.

Государь объявил опалу Бельскому, но вскоре смягчился: ждал рождения наследника. Прежнего царя Сафа-Гирея свергли с престола и посадили пятнадцатилетнего князя Енелая, которого объявил царем посланный в Казань Василием Третьим окольничий Морозов.

В тот августовский вечер небо над Москвой затянуло черными тучами, заветрило, загрохотало, замолнило, а во дворце — суета, волнение. Затешили бесчисленные красные восковые свечи перед образами, открыли царские врата в Успенском соборе... Великая княгиня рожала, кричала от сильной боли.

— Ничего, матушка, ты столай, полегчает, — советовала Агафья Прокоповна.

У окна лекарка Варвара крестилась от каждого удара грома, от прорезывающих небо ярких молний.

— Спаси и помилуй, владычица небесная.

В семь часов вечера двадцать пятого августа тысяча пятьсот тридцатого года раздался крик ребенка и повитуха подняла на руках мокрое тельце младенца, коему была суждена великая будущность.

— Государь, поздравляю с наследником! — провозгласил дворцовый жилец, врываясь в покои великого князя.

— Господи! — как молодой, Василий Иванович затопал сафьяновыми сапожками по лестнице. — Ох, свет мой Оленушка, радость-то какая! — и жильцу:

— Пущай в колокола звонят, молебствуют.

На цыпочках вошел в опочивальню к княгине, подошел к постели. Елена показалась ему девочкой. Закушенные губы алы. Василий Иванович поклонился и поцеловал жену в губы.

— Елена! Дай бог тебе здоровья, счастлив яз, что родила сына, — и тихонько отошел.

Повитуха уже держала перед государем младенца, тот сучил красными ножками и захлебывался в крике.

— Богатырь вырастет, — прошептала Агафья Прокоповна.

Великий князь поцеловал сына в лобик, коснулся пальцами его нежного бархатистого тельца, и неведомое до сих пор, неизмеримое счастье отцовства затуманило его глаза.

— Сынок, — сказал, — сынок, опора моя и надежда.

Колокольный звон на Руси, грады и веси как в христов день празднуют, ибо у великого князя, царя и государя, родился первенец — богоданный наследник.

Радуются бояре и дворяне: не будет свары, есть теперь законный царевич-княжич; радуются посадские и крестьяне — им во время княжеской заварухи доставалось больше всех: грабили села, нарушали промыслы,

топтали посевы, уводили скот то один, то другой князь; радуются духовенство и монастыри: пожалует государь на рождение сына богатые дары.

Звонят, перекликаются колокола на Руси! Веселые колокола, задравные колокола, пьяные колокола!

Веселятся все православные — приказал государь. И сидельцы из царевых кабаков выкатывали на улицу бочки с брагой, пивом, медом — пляши Евстигней, не жалей лаптей!

Послали гонцов в соседние королевства: Литовское, Шведское и Польское. Писались грамоты полным государевым титулом, и печати привешивали, большие, красные, восковые: ведайте, мол, родился у пресветлого государя Василия Третьего наследник престола, будет кому державу Московскую оборонять.

Отворились и двери тюремные. Отпускались прегрешения ссыльным вельможам, и вышел среди них боярин Иван Юрьевич Шигона-Поджогин. Государь снова дал ему звание дворецкого. (Он служил честно до кончины Василия, а затем отпросился в дальнюю вотчину, чтобы в смирении и молитвах остатний век провести. Перед отъездом Шигона собрал два воза всякого добра и отправил с холопами в суздальский монастырь инокине Софии, чтобы не поминала его, грешника, злом).

Государь через десять ден повез младенца-наследника к Троице, где игумен Иосаф окрестил княжича Иоанном в честь деда. И на молебствии поминал протодьякон государя Василия, княгиню Елену и княжича наследника Иоанна.

Сентябрь выдался теплым, безветренным, оранжевое золото листьев устилало кремлевские дворы. Елена Васильевна гуляла по саду, а за ней няньки, мамки, и старшая боярыня несла запеленутого в шелковые простынки Ванюшу.

Великая княгиня была ласкова, не боялась теперь за будущее. Ее недруги бояре приумолкли, затаились. При встрече кланялись до земли:

— Матушка ты наша государыня.

Елена вежливо отвечала на приветствия, а сама думала: «Прикажи вам, козлы вонючие, будете передо мною землю бородами мести».

После Казанского похода Василий Иванович отдыхал в тишине и спокойствии, ездил в Волок-Ламский

охотиться в тамошних дремучих лесах, полных всякой дичи и зверья. Он был первым московским великим князем, введшим псовую охоту. До него князья признавали только соколиную. И у Василия Ивановича имелись знаменитые кречеты: Гром и Ярь. Кречеты знали хозяйский голос и сидели у него на рукавице под колпачками смиренно и важно. Когда он снимал колпачки с глаз кречетов, они вздымались к небу и, делая круги, зорко смотрели вниз, выискивая добычу, а затем, стремительно рассекая воздух, неслись за тетеревом, утку или лисицею. Но псовая охота имела свою прелесть: звуки охотничьих рогов, рвущиеся на поводках собаки, их призывный залихватый лай возбуждали, легче дышалось, и пьянила опасная волчья облава, когда злые матерые звери пытались прорвать цепь охотников.

Василий Иванович был доволен жизнью: Елена Васильевна подарила ему еще сына — Юрия. И, находясь на охоте или по другим делам в отъезде, он писал в Москву княгине: «Жене моей Олене. Что меня держышь без вести о своем здоровье? Как тебя Бог милует. Да и о Иване сыне отпиши, как его Бог милует». Весь быт княгини и детей занимал великого князя. В другом письме он утешает Елену: «Да писала еси ко мне, что Юрий сын попысался, а в те поры его парили в корыте проскурником, а спуск крепок, черн. Да Бога ради не кручинься, а о всем клади упованье на Бога».

Так безмятежно прошли два года, а затем настали черные дни и для державы, и для великого князя.

Изгнанный из Казани царь Сафа-Гирей подговорил золотом и подарками крымского хана, чтобы он вторгся на Русь, добыл себе славы, а воинам красивых рабынь и крепких мужиков, коих на турецких базарах продавали за хорошие деньги. Особливо нарасхват шли светловолосые девочки для гаремов.

Крымчаки налетели ордой на рязанские пределы, выжгли селения, погнали тысячи пленных в степь. Стояла середина августа тысяча пятьсот тридцать третьего года. Крымский царевич Ислам обложил Рязань и послал часть орды в Зарайск. Василий Третий в Коломне распорядился действиями русских полков и повелел окрестным жителям, взяв необходимое имущество, спастись за московскими кремлевскими стенами. У Зарайска воевода Дмитрий Палецкий уничтожил татар, взяв большой полон. Другой воевода — князь Оболенский-

Овчина — с полком московских дворян разбил два отряда крымчаков и, преследуя их, наткнулся на всю орду царевича Ислама и Сафа-Гирея. Те, думая, что за москвичами идет сам Василий Третий, сняли осаду Рязани и быстро покинули Русь.

Осталась разоренная рязанская земля. Остались старики и старухи оплакивать уведенных в рабство сыновей и дочерей. Зловещий набег продолжался всего пять дней.

Большое оживление москвичей вызвал приезд посольства из Индии от хана Бабура, потомка Тамерлана, основателя империи великих Моголов. Хан Бабур слышал о Руси, знал, что в ту пору в Индии побывал тверской купец Афанасий Никитин. Индийский посол Хозей Усеин со свитой был любезно принят Василием Ивановичем.

Посол — худощавый, загорелый, черноглазый, с маленькой курчавой бородкой, в богатом шелковом халате с бриллиантовыми пуговицами, в высоком белом тюрбане, усыпанном алмазами. Он поднес государю грамоту от хана, уложенную в золотую шкатулку. Его спутники опустили на колени и сложили к ногам Василия Ивановича, восседавшего на троне, различные подарки: тюки шелка, ковры, золотые и серебряные изделия. Хан Бабур просил великого русского царя для индийских купцов свободного въезда и торговли с Россией, приглашал московских купцов в Индию, обещая им уважение и поправки.

Василий Иванович допустил посла к руке и сказал, что рад посольству от индийского царя и разрешает взаимную торговлю. Хану Бабуру отправили помишки соболями и черными лисицами, чтобы знал басурманский царь, чем богата далекая Русь.

Сергиев день двадцать пятого сентября великий князь с Еленой и детьми праздновали в Лавре, а оттуда Василий Иванович поехал на охоту, как всегда, в Волок-Ламский. Предчувствие несчастья давило его душу, а с чего? Орда крымская изгнана, дела домашние хороши, Елена и дети здоровы.

Заяц дорогу перебежал — плохая примета. Дворянин Савва Бакунин прищпорил коня, нагнулся и огрел косяга нагайкой. Тот перевернулся, и Савва ухватил его

за длинные уши. Заяц пронзительно закричал, закрутился в руках смеющегося Бакунина, заплакал. Василий Иванович велел показать ему косога. Взглянул в подернутые смертельным испугом заячьи глаза.

— Отпусти немедленно!

Савва выпустил косога. Зверек, еще не веря в свободу, сидел на пожелтевшей траве и не шевелился. Потом повел ушами, сделал резкий прыжок и скрылся в лесу.

В селе Озерецком в великокняжеской вотчине Василий Иванович снова не находил себе места от усталости. На улице холодало, затопили печи, повели государя в жаркую баню. В бане государь рассмотрел на теле маленький синий прыщ. «От сего мне кончина, — твердо решил. — Кончина!..» К утру изнемог, покрылся липким потом. Велел врачу Николаю Люеву сопровождать его до Волока и лечить, хотя знал по неоставляющей его сердце кручине — напрасно.

Лечили по-московски: мукой с медом, печеным луком, мазью из подорожника. Ставили горячие горшки на больное место. Чирий воспалился, и открылась ранка, гноя вытекло много, но не полегчало. От еды отказывался. Просил, чтобы поскорей отправили в Москву.

Снегу на дороге прибавилось, падал густо. Везли на саних на постели шагом, чтобы не дай бог не растрясти государя. Он лежал, закутанный в соболях, старался бодриться, а на сердце — печаль. В Москве спросил лекаря:

— Друг Николай, ты давно живешь в Кремле, не обижен нами, поведай без утайки — выживу ли я?

— Государь, — Люев приложил руку к сердцу. — Вы добрый правитель. Вашей милостью я обласкан, живу в достатке, но, — лекарь поднял глаза кверху, — я не господь бог.

— Надежды нету? — Василий еле ворочал одубевшим языком.

— Государь, я не бог...

У постели больного собрались приехавшие из уделов братья и ближние бояре. Ждали. Кто за малолетка царевича править будет? Неужели Елена иноземка?

Василий Иванович лежал с закрытыми глазами, страдал от того, что вот он, пятидесятичетырехлетний в силе муж, оставляет сыновей и двадцатидвухлетнюю

вдову... Кто им поможет, кто? Очнулся от забытья. Увидел дьяка у постели.

— Пиши по чину духовную грамоту. Яз завещаю сыну своему Ивану великое княжение, а до его пятнадцати годов правление держать государыне Елене Васильевне по совету с боярами. Сыну Юрию оставляю небольшой удел.

Причастившись у духовника, с помощью слуги поднялся на постели. Прерывисто дыша, обратился к боярам:

— Вы, наши извечные бояре, служите сыну моему, как мне служили, блюдите крепко Русь, пусть будет над нею правда.

Привели Елену и сыновей. Ивана дрожащей рукой благословил на государство крестом святого Петра митрополита.

Елена была в отчаянье. Билась головою об пол, рыдала.

— Что будет со мною, несчастной? Кто защита и помощь мне? О мой любый государь, свет лучезарный!..

Ее насильно оторвали от постели мужа.

Вошло духовенство в черных ризах, начался обряд пострижения в иночество. По ранее высказанному желанию великого князя его постригали в иноки Кирилловского монастыря.

Схиму положили на грудь умирающему.

Когда митрополит и бояре объявили Елене о смерти великого князя, она упала без чувств.

Ударили в большой колокол.

Тело Василия Третьего положили на одр. Растворили все двери. Москвичи устремились в Кремль отдать остатний поклон великому князю. В стряпущих пекли гороховые и ржаные блины со сметками на конопляном масле. Варили пшеничную кутью с изюмом. Заправляли хмелем брагу, чтобы народ православный помянул государя.

Декабрь. Мороз. Вьюга.

Колокола тревожно и горько звонили на Руси.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Кончилось княжение Василия Третьего, начиналось правление Елены Глинской.

Народ выжидал, помалкивал, жалел усопшего ве-

ликого князя. Трудно бывало при Василии: то шли с войной литовские паны на западе, то с востока налетали татары, то свои помещики садились на крестьянский хребет так, что ни охнуть, ни вздохнуть. И все же народ знал — есть в великом князе защита от врагов. Блюл землю Русскую Василий Иванович, крепко держал в кулаке князей и бояр, не жалел казны на разоренные войной города и селения, укреплял крепостями и воинскими заставами границы московские, — и побаивались его короли иноземные.

А что теперь будет? Государь Иван Четвертый — ребенок, правительница Елена — литвинка, ближние бояре и служилые князья не державу, а свои прибитки чтут, между собой чваются и ссорятся. Плохо народу, тяжело земле родной, и радость великая врагам ее.

Сумрачна и Елена Васильевна: мать государя и правительница московская поняла, что значит без мужа, без ласки его и заботы жить. Ох как нужен молодой вдове близкий и умный советник!

Пока же дела московские решала боярская дума: дядя государыни Михаил Глинский, Шуйские, Бельские, Оболенские, Одоевские, старые, ведавшие приказами дьяки. В грамотах писалось: «Князь великий и мати его великая княгиня, посоветовав о том с бояры — повелели...»

Когда несколько успокоилась, стала Елена посещать боярские советы, задавала вопросы, случалось, и покрикивала.

— Высокородные! Надобно головой, а не бороною мыслить!

Не забыла Елена заточника вологодского князя Митрия. Послала в Вологду указ перевести из низкой тюрьмы в Прилуцкий монастырь в чистую келью, железо снять и кормить за ее, правительницы и великой княгини, счет. И в первый раз свободно, всей грудью вздохнул бедный Митрий и сердечно пожелал Елене счастья: «Богу за тя молюся, дабы ты, государыня, горести не чула», — писал князь в Москву.

В боярском совете выделялся умом и молодостью боярин и воевода Иван Телепнев-Оболенский. Двадцативосьмилетний Телепнев, не в пример прочим боярам, искренне служил Елене. Голубоглазый, статный, с вьющимися волосами, он не носил бороды, его шелковистые усы были закручены вверх. И напоминал он Елене

западных рыцарей. Кроме того, воевода уже отличился в битвах с татарами и литовцами, государь Василий Иванович пожаловал ему золотую медаль, которую он носил на червонной цепи. Бояре, видя почтительное отношение Телепнева к правительнице, как-то высказали:

— Ты княже Иван Федорович, мотри, не отбивайся от нашей стаи, к иноземке не подлаживайся, худа бы не случилось!

— За собой глядите, бояре, яз присягу, что покойному государю давал, сполняю и верный слуга правительнице, — и таким яростным взглядом окинул высокородных, что те заелозили.

— Ишь ты, княже нетерпеливый, мы пошутковали, а не всерьез.

— То-то, пошутковали, знаю я вас!

Молодой воевода, не прощаясь, вышел из боярской палаты. Зашел наверх проведать маленького государя.

Иван и Юрий слушали сказку, которую сказывала мамка государева боярыня Агриппина Челяднина.

Боярыня нежно любила своих воспитанников, старалась, чтобы дети были вовремя накормлены, подольше резвились в саду, всегда ходили в чистой, достойной их звания одежде.

Иван Федорович почтительно поздоровался с боярыней — своей старшей сестрой, поцеловал руку Ивана и погладил по голове Юрия.

— Како здравие твое, государь?

— Здорово, князь Иван! — мальчик вложил свои пальцы в ладонь Телепнева. — Нянька сказками тешит. Поведай лучше, как ты с татарским князем Юлаем поединок держал.

Мальчик-государь был не по годам развит. В пять лет он уже читал псалтырь и знал устный счет. Подъячий, учивший государя, удивлялся:

— Скоро с мое знать будешь, Иван Васильевич, награди господь тебя умом-разумом.

Юрий, на год моложе, был молчалив и скучен, сидел на лавочке и дремал, брата слушался беспрекословно.

— Ну ин по твоему хотению, государь. — Телепнев весело, с выражением стал рассказывать: — Прет на меня богатырь Юлай-Гасан, ростом — аж с малую колокольню, в шишаке золотом, латы на нем серебряные сверкают, саблю вострую кривую на мя поднял, вопит

по-татарски (яз их речь понимаю): «Сдавайся в полон, воевода!» Столкнулись конями. «Сам сдавайся, князь», — кричу ответно. И зачали мы саблями полосоваться...

Мальчик сжал руку Телепневу:

— Опосля что?

Тут вошла Елена Васильевна. Телепнев поднялся с лавки.

— Прости, государыня великая, Ивану Васильевичу про татар сказываю.

— Ой, матушка, помешала ты нам, — с огорчением произнес мальчик, целуя княгиню.

— Хорошо, что застала тебя, Иван Федорович, — ласково обратилась Елена к Телепневу. — Нужен ты мне для совета, — и сыну: — Кой раз тебе, Ванюша, боярин про Юлая-Гасана сказывал.

— Все одно, матушка, занятно.

— Яз, государь, завтра об Юлае поведаю. Вишь, Елена Васильевна для дела требует, — Телепнев снова поцеловал руку Ивану и пошел вслед за правительницей.

В покоях государыни жарко, теплятся лампадки перед киотом, ноги утопают в мягком ковре. Елена села на лавку, крытую алым сукном, рядом Телепнева посадила, постельничей наказала:

— Кто до меня будет кучиться, не пускай, скажи — делами государственными занята.

Остались вдвоем.

— Ты, княже, предан мя еси?

— Жизнь за тя, государыня, отдам, — посмотрел ей в глаза зовуще, жгуче, — жизнь за тя отдам.

— Сие не надобно, — прислонилась к нему плечом, — мне твоя услуга нужна, верность твоя и любовь.

— Государыня! — упал на колени и прижался горячим лбом к ее платью, — любя ты мне, да разве бы посмел на тя тако взглянуть?

— А ты, Иване, посмей! — и тихо засмеялась.

Как ни прикладывала постельничая ухо к двери, ничего не могла услышать, перекрестилась и плюнула с досады:

— Любодей, грешники!

Отошла от двери, присела на скамеечку возле изразцовой печи и задремала.

Елена расцвела, похорошела, следила за собою, просиживала у зеркала, у ларца с восточными притираниями. Теперь рядом преданный и любимый до самозабвения человек: умен, мыслит по-государственному, полководец, красив. Одно смущало — гневлив Иван Федорович, злопамятен, особливо на дядю — князя Михаила Львовича Глинского. Твердит Елене:

— Опасайся, государыня, Михаила: царем возмнил, тебе же надо трон беречь для Ванюши, нашего князя великого.

Елена видела: почтительно обращался с сыном Иван Федорович, именовал государем, целовал руку и без приглашения на лавку не садился. Маленький государь привязался к нему не меньше, чем к няньке Агриппине, был доверчив, слушал с удовольствием рассказы Телепнева. С каждым днем Елена более и более ценила Телепнева, даровала ему высший чин конюшего боярина — второе лицо по дворцовой иерархии после правительницы. Окольничие, дворяне-жилыцы, рынды завидовали Ивану Федоровичу, заискивали, ненавидели.

Елена частенько навещала любимца в его кремлевском доме, оставалась ночевать. Холопы Телепнева молчали — князь был щедр. Соглядатаи Шуйских высмотрели-таки, вынюхали ночные встречи правительницы.

— Позорно такое терпеть, — толковали промеж себя члены боярской думы.

Обратились к Михаилу Глинскому.

— Вельможный княже! Негоже тебе, первенствующему боярину, потакать прихотям Елены Васильевны. Пушай ушлет она Ваньку Телепнева воеводой в Вологду, хучь с глаз долой, из сердца вон.

Михаил Львович тоже так думал. Зашел к племяннице.

— Государыня, — сказал сурово, — не токмо Москва, в соседних государствах ведомо о твоём окаянном житии. В пропасть грядешь, племянница. Воззри на себя, кто злохитровством тебя покори! Ивашка Телепнев, пес, раб недостойный! Отринь его, сошли в Вологду.

— Ты чего взъерепенился, дядя? — по лицу Елены пошли красные пятна. — Кого смеешь судить? Государыню?

— Постыдись, великая княгиня, воспитал тебя, дочкой была.

— Помолчь, дядя, зрю — под мя подкапываешься и под верного слугу Телепнева.

— Глаза бы на тебя не смотрели, не чтишь память благоверного своего мужа, государя Василия, ложе его осквернила!

Глинский ушел, дверью хлопнул.

— Иван мой, — жаловалась вечером Елена Телепневу, — дядя грозитя, велит тебя в Вологду.

— В железо его след, старого злодея. Пойми, Елена Васильевна, нам с ним не ужиться. Повели очи князю Михаилу выжечь, тогда он не опасен.

Правительница помолчала, подумала. Иван Федорович нетерпеливо ждал.

— Что ж, любый, и впрямь, пусть не глядит дядя, исполни.

— Поутру исполню, государыня.

В боярской думе узнали, что князя Глинского в тюрьме ослепили и замучили. Виновником сего назвали Телепнева.

Елена похоронила дядю у Троицы. Двести рублей внесла на вечное поминание раба божьего боярина Михаила.

— Чтоб роду нашему почет был.

Еще страшное, но нужное для державы Московской дело решила правительница. Удельные князья Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий — братья государя Василия — числились в боярской думе, но жили в своих уделах и с неодобрением наблюдали за правлением Елены и Телепнева. У князей были дворы с боярами и дьяками, войско-дружина, в князьях текла кровь рюриковичей, а что Елена? Литвинка, гордячка, самовластная царица, блудница. Сидели князья в уделах, копили силы, в Москву — ни ногой. К ним же шли все недовольные правительницей.

— Надоть их выманить из берлог, — советовал Телепнев Елене. — Напиши, государыня, Юрию Ивановичу душевную грамоту, пригласи на думу боярскую, аки брата своего и дядю великого князя.

Написали. Послали с окольным князем Федором Одоевским в Дмитров. Одоевский лисой к Юрию и его боярам:

— Государь Иван Васильевич и княгиня великая

Елена ждут не дождутся дядю родного и брата названного, приветливо встретят, чтобы совет с ним держать и на пиру чару выпить.

Согласился Юрий. С боярами и дьяком дмитровскими в Москву прибыл. Встретил его еще в посаде конюший боярин Иван Федорович. В Кремле правительница принимала пышно. После совета боярского угощали жареными лебедями, вареными осетрами, вином заморским. Расстались дружески.

— Спаси ты бог, сестрица-правительница, — Юрий облобызал ее ручку, унизанную драгоценными кольцами. — Сомневался я в доброте твоей, теперь вижу — сестра еси.

Через месяц Юрий, не подозревая плохого, приехал только с двумя дружинниками. Иван Федорович вышел к нему строгий.

— Дошли до нас вести достоверные, что задумал ты, князь Юрий, измену.

— Что ты, боярин? — удивился Юрий. — Каку таку измену?

Юрия заключили в темницу. В Синодальной летописи кратко записано: «Преставись князь Юрий Иванович страдальческою смертью, гладной нужою» (голодной смертью).

Князь Андрей Старицкий, узнав о смерти брата, вооружался, усилил свою дружину, готовил мятеж. К нему по указу Елены поехали московские бояре, уговаривали, клялись, что ни один волосок не упадет с княжеской головы.

— Государыня все забыла и простила, а что касемо князя Юрия, то у дьяков в приказе в потаенном ларе лежат изменные грамоты. Приедешь в Москву — покажем.

Слабовольный, нерешительный Андрей Иванович поддался на уговоры. Его судьба была такой же, как и князя Юрия. Андрееву супругу и сына взяли под стражу, приближенных разослали по монастырским тюрьмам, тридцать дворян повесили на деревьях большой новгородской дороги. Набожная Елена не забыла устроить загробную жизнь Андрея: похоронила под спудом церкви Михаила Архангела рядом с Юрием. Попы и дьяконы сорок дней служили панихиды, горели красные восковые свечи, курился в кадилъницах ливан-

ский ладан. Перед церковью — поминальные столы: кутья, блины, брага.

Почетно. Торжественно. По-христиански.

Из Литвы крепостные холопы толпами бежали на Русь, пограничные заставы их пропускали. Русские помещики охотно принимали перебежчиков, которым даже нелегкая мужицкая доля казалась лучше, чем в панском королевстве.

Престарелый король Сигизмунд чествовал двух московских изменников: князя Семена Бельского и окольного Лятского. Они получили богатые поместья.

— Твоему королевскому величеству, — говорил Сигизмунду Бельский, — ведомо, что государь Московский — мальчик, между правительницей и боярской думой — свара. Приспело время твоим победоносным войскам уничтожить Москву.

Бельский и Лятский, готовившие русские полки в Серпухове, открыли Сигизмунду их расположение, перечислили воевод, указали на наиболее уязвимые места, куда стоит направить удар.

— Скажи, пан Бельский, — спросил Сигизмунд доверительно, — пани правительница Елена, крови благородной, литовской, может, без брани уступит нам Смоленск? Мы ее отблагодарим.

Бельский ответил:

— Пан наияснейший король, пусть знает твоя милость, что княгиня Елена начисто от литовской крови отверглась и блюдет только Русское государство.

Сигизмунд начал войну с Москвой. Литовские гусары, пехота, артиллерия, предавая все огню и мечу, вторглись в русские пределы. Сожгли крепость Радогощь, подошли к Чернигову, обстреляли крепость. Русские ответили пушечной стрельбой.

Ночью воевода Федор Мезецкий с черниговскими казаками и служилыми касимовскими татарами (в московском войске было много татарских полков) ударил на литовский лагерь. В литовских рядах произошла паника. Неприятель бежал, оставив победителям всю артиллерию и обоз. Попытки литовского гетмана Вишневецкого овладеть Смоленском не удались. Смоленский воевода отразил приступ, и его дворянский полк гнал литовцев несколько верст.

Несмотря на зиму и снежные завалы, псковское и

новгородское ополчения князя Бориса Горбатого подошли к Вильно, где находился король Сигизмунд. Поражение Литвы казалось полным. Московские войска стояли у границы Ливонии. Литовские паны обратились за помощью к Польше, тогда еще не объединенной. Поляки обещали, но не помогли.

Сигизмунд послал богатые дары крымскому хану, и крымчаки нескончаемым потоком устремились к берегам Оки. Князь Дмитрий Бельский повел из Коломны пять тысяч конницы и обратил вспять татар. Крымчаки ушли в степь.

Изменник Семен Бельский, набрав новые литовские полки, осадил Гомель. Трусоватый воевода князь Щепин увел свои войска и пушки к Москве. Его в оковах привели во дворец к правительнице.

— Подлый холоп! — Елена ударила Щепина по лицу. — Так-то ты служишь великому князю и мне. Казнить труса!

Ободренные отступлением русских, литовцы взорвали Стародуб и Почеп. Тогда воевода Шуйский, разорив Шклов и Дубровны, вынудил литовцев покинуть захваченную местность. Елена и боярская дума указали восстановить Стародуб и Почеп, на литовской земле была построена сильно укрепленная крепость Себеж.

Сигизмунд возмущился. Возможно ли, москвиты в его владениях утвердили крепость? Киевскому наместнику пану Немирову было приказано взять и взорвать Себеж. Польский сенат прислал десять тысяч воинов, столько же собрали литовцы. Подвезли польские пушки и открыли пальбу по Себежу.

Из сей затеи получился полный урон. Русские сделали вылазку из Себежа и стали теснить польско-литовское войско, которое отступило на покрытое льдом озеро. Лед подломился. Литовцы тонули, москвичи били их, захватили все пушки, знамена, пленных. Воеводы Засекин и Тушин донесли в Москву о достохвальной победе, их наградили золотыми медалями.

Старик Сигизмунд призвал Семена Бельского и Лятского, ругал их:

— Лжецы вы, паны! Москва и при младенце сильнее Литвы.

Семен Бельский сбежал в Крым.

В Казани заговорщики зарезали юного царя Енелая, и ненавистник Руси Сафа-Гирей снова вступил на прес-

тол. Его орды принялись разорять Нижегородскую землю, угрожая Мурому. Московские «заслонные» воеводы отступили, их арестовали и казнили. Посланные новые воеводы обратили в бегство казанские полчища.

Сафа-Гирей запросил мира, обещая быть верным Москве.

Елена освободила из белозерского заключения брата убитого казанского царя Енелая Шиг-Алея и его семью. С уважением приняв их в Кремле, назначила Шиг-Алея царем. Посадить его в Казань однако, не удалось. Крымский хан выступил посредником за Сафа-Гирея. Не желая иметь еще одну войну с Крымом, боярская дума посоветовала правительнице заключить мир с Сафа-Гиреем.

В 1537 году полоцкий наместник пан Ян Глебович с посольством в четыреста человек прибыл в Москву для заключения перемирия. Яна Глебовича принял в Грановитой палате маленький государь, сидя на троне. Он весело смотрел на толстого наместника, которому пузо мешало преклонить перед троном колени.

— Како здравствует наш брат король Сигизмунд? — Иван встал, принимая грамоту и передавая ее конюшему боярину Ивану Телепневу.

— Его королевское величество, да продлятся дни его жизни, здоров и желает того же брату своему великому государю Московскому Иоанну.

Рядом с Иваном восседала и правительница в великокняжеском венце и златотканой одежде. По бокам трона застыли в белых кафтанах с золотыми позументами рынды, держа в руках серебряные топорики. Вручив грамоту, послы удалились в покои боярской думы для окончательного решения.

Переговоры продолжались долго. Спорили, убеждали. Перемирие заключили на пять лет. Москва оставила за собой крепости Себеж и Заволочье, а Литва — Гомель. Елена здесь продолжила политику своих славных предшественников — Ивана Третьего и Василия Третьего: «Мы хотим жить мирно, но войны не боимся».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Елену Васильевну бояре во главе со стариком Василием Васильевичем Шуйским мало сказать не любили — ненавидели. Самые гнусные слухи распространяли

их клеветы по Москве. А из Москвы слухи, липкие, грязные, пасквильные, ползли по Руси. «Правительница наша иноземка в блюде с богомерзким Ивашкой Телепневым пребывает. По ночам, когда православные сон держат, у Ивашки во дворе пляски устраивает, вино пьет, без суда вельмож мукам предает. Вдовье ли дело на охоту ездить? Наряжаться в польское платье? Да еще нечестивые беседы с фрязинами и немчинами вести...» Никто не желал знать труда, положенного правительницей, никто не вменял во благо полезных дел ее.

Лишь в Синодальной летописи сохранились добрые слова о правлении Елены и о ней самой: «...мудра, мужественна, и всякого разума исполнено сердце ее, яко всем уподобися великой Елене Руской». Летописец сопоставлял Елену с древней княгиней Ольгой Киевской — в крещении Еленой.

Почему же так свидетельствует летопись? Что мудрого совершила эта поруганная всеми современниками женщина?

Елена исполнила завет Василия Третьего — оградил столицу на случай вражеского нападения крепкой стеной за пределами Кремля, призвав к этому московских жителей. Строили по плану зодчего итальянца Петрока Малого. Каменная стена имела четыре башни с воротами: Никольскими, Ильинскими, Варварскими, Козмодемьянскими. Новой постройке дали татарское наименование — Китай-город.

Жители копали рвы, таскали кирпичи и камни и сетовали: «Для ча затеяла сие ненужное Елена иноземка? Жили при кремлевской стене дай бог без отягчения».

Навела порядок великая княгиня в денежном отношении. Серебряные старые деньги торговцы и менялы обрезывали, переливали для подмеси. Это вызывало недовольство покупателей, денежные цены менялись, товары дорожали. Указом было отменено хождение обрезанных, старых и грязных монет. Деньги стали чеканить без всякого подмеса. Изменили на монетах изображение. Ранее был князь с мечом, теперь — с копьём, отсюда название «копейки». Фальшивомонетчиков казнили всенародно и страшно. Отсекали руки и лили расплавленное олово в рот...

При правлении Елены поставили две крепости на Литовской земле, основаны города Мокшан в Мещер-

ском уезде, Буйгород в Костромском воеводстве, крепость Балахна. Отстроены сгоревшие города: Владимир, Ярославль, Тверь. Окружен стеной Устюг Великий, укреплен Вологда.

Помещики, торговые люди, монастырские игумены ворчали: «Поборами замучила иноземка, и без нас погорельцы с божьей помощью построились бы». Выкупила Елена сотнями пленных из Казани, Крыма, Литвы за счет государственной и монастырской казны. И за это бояре и духовенство порицали великую княгиню.

Лишь один умный и сердобольный архиепископ новгородский Макарий (впоследствии знаменитый писатель и книжник митрополит Московский) поощрял Елену и, посылая ей семьсот рублей серебром, писал: «Права ты, государыня, душа человеческая дороже золота».

Бояре же видели у Елены Глинской только ее плохие поступки.

— Почто Шуйские, аки змеи, ополчаются? — спрашивала правительница Ивана Федоровича.

Вознесенный на первое место в государстве, упоенный властью, Телепнев пожимал плечами:

— Не тужи, Елена, сия туча суть навозная куча, держать бояр след в повиновении.

— Страшусь мести их, Иван мой.

— Отгони мысли наносные, правительница, я с тобою. Поезжай с государем к Троице. Узрят люди, что богомольна и добра ты, не жалея милостыни.

И Елена, Ванюша и Юрий отправились в лавру. Дети радовались путешествию. Останавливались у леса, мальчики бегали по траве, собирали ягоды и грибы, дышали лесным воздухом, мать была с ними ласкова. Ванюша любил ее — такую молодую, добрую. От нее всегда пахло миндалем и притираниями, и рука, гладившая детские кудри, — нежная, легкая, милая материнская рука.

В кремлевских переходах встретил Василий Васильевич Шуйский постельничую государыни Агафью Прокоповну.

Василий Васильевич, раздобревший, низенький, с окладистой черно-серой от проседи бородой, одевался богато: кафтан бархатный, пуговицы червонные с бриллиантами, сапожки зеленого сафьяна, а на поредевших волосах мурмолка бархатная, осыпанная жемчугом.

Агафья Прокоповна, сумевшая подольститься к Елене, осталась в прежнем звании, и все, что происходило в покоях государыни, через сына своего, дворцового жильца Петра, сообщала многочисленному роду Шуйских.

— Ну, како здравствуешь, Прокоповна? — Шуйский поманил боярыню к разноцветному окошку.

— Ах, батюшка, Василий Васильевич, молодая государыня собирается с Иваном Федоровичем на охоту зимнюю в Волок-Ламский.

— Надолго ли? — Шуйский погладил бороду и, сняв с пальца перстень, протянул его постельничей. — Давно тебе, Прокоповна, подарок приготовил, да еще и мешочек с самоцветами дома у меня лежит.

— На ден десять, тако говорили; за подарок благодарю, боярин милостивый, чем тебе сослужу?

Шуйский оглянулся. В переходах тихо, никого не видно.

— Сочтемся, Прокоповна. Ты лучше скажи, кто правительнице питье подает?

— Окромя меня, боярышня Настасья Трубешкая — дева Елене Васильевне преданная, — а более никто.

— Что за питье государыня любит?

Постельничая задумалась.

— Достоверно лъзя сказать — малиновый квасок частенько испивает, особливо после мыльни.

— Ну так, Прокоповна, как время приспее, ты ее, иноземку, моим кваском напоишь, крепкий у меня квасок — в нос шибает.

— А кое время, боярин?

— Не торопись, Прокоповна, я тебе знак подам. К весне тот квасок поспеет. О господи, господи, прости грехи наши! — и пошел, благообразный, важный, пошагал в Грановитую на думу государеву.

Елена вошла в Грановитую палату в великокняжеском уборе с лицом непроницаемым, благосклонным, вошла в сопровождении Ивана Федоровича. Бояре, окольные и дьяки поднялись со скамей, низко поклонились.

— Будь здрава во веки веков, великая государыня-правительница.

— И вы здоровы были бы, — ответствовала. — Василий Васильевич, доложи нам, о чем седни дела.

— О торговой пошлине, государыня, — медово улыбулся Шуйский, — след указ писать тако: «Повысить на воск с трех денег пуда воска до четырех». Ныне в Немедине и в Италии на воск спрос, а нашему государству прибыль.

За два мирных года торговля пошла хорошо: в Россию из Европы привозили серебро в слитках, медь, сукна, ножи, зеркала, вина. Из Азии — ткани, парчу, ковры, жемчуг, драгоценные каменья, а из России вывозили меха, кожи, воск, моржовые клыки, хлеб, овес, соль.

Написали указ, поставили печати. Расходились — кланялись государыне, Ивану Федоровичу, друг другу.

У ворот боярские возки на полозьях. Около них холопы, им было холодно, и они, чтобы согреться, дрались на кулачки.

Погода на диво светлая. Снег хрумкал под копытами лошадей. У государыни на вышитой кожаной рукавице смирно сидел любимец Василия Третьего Ярь с надвинутым на глаза колпачком. Господи боже ты мой, до чего хороша жизнь! Вот так скакать на белоснежном Витязе, скакать до самозабвения, ни о чем не думать. К чему думы? Она еще молода, двадцать шесть. У нее сын — государь великой державы.

— Госпожа! — подъезжает охотник, — спусти Яря, лисичка тута бегае.

И Ярь шуруется, сидя на рукавице, шуруется от сверкания снега, от голубизны холодного неба, от неизмеримой широты лесных просторов. Глаза Яря большие, жестокие, желтые с чернью крапин. Он взмывает вверх в лазурь до чего прямо, до чего красиво. Елена жестом подзывает Телепнева.

— Иван мой! — снимает рукавицу и теплой рукой касается его плеча. — Бардзо хорошо!

Иван Федорович хмуро отвечает:

— Хорошо-то хорошо, — и тихо: — Шуйские воду мутят. Мои люди донесли — собираются бояре у Василия Васильевича.

— Чего хотят? — спросила и подосадовала на Телепнева: помешал повеселиться, повернул к делам государственным.

— Меня в ссылку вологодскую, а правительницу на постриг, яко Соломонию. Неча тут прохладжаться, пес с ней, с охотой, возвращаться след в Москву.

— Яз княгиня и царица, мя только убить можно, — ответила горько.

К вечеру с Настасьей Трубецкой ходили по селу, заходили в избы, одаривали ребят пряниками, мужикам выставили бочку вина, раздавали тонкую холстину бабам. Мужики снимали треухи, бабы охали: «Спаси бог, государыня, многим тобою довольны». Глаза отводили в сторону: благодарили как бы по принуждению.

Сумрачная возвратилась Елена в кремлевские покои.

К постельничей в отсутствие правительницы зашел ее сын Петр, почесал затылок.

— Матушка! Василий Васильевич наказал, чтобы наведалься. Квас малиновый для прохладнения государыне сготовил.

— Какой такой квас? Для ча несуразным языком мелешь?

— Дак сама знаешь, не таись от меня.

— Загляну к боярину, — сказала.

Пригорюнилась Агафья Прокоповна. Хучь правительница к ней сурова, а не обижает. Щедра Елена Васильевна, монисты подарила, парчу к рождеству. Служба почетная, не обременительная. А клянусь ее, иноземку, вавилонскую блудницу! Намедни пригожему жильцу Константину Нарышкину так зазывно улыбнулась, что у мя, вдовы, и то кишки в чреве перевернулись. Блудодейка! Гордячка! А и жалко было бы, все едино. Не исполнишь приказа Василия Васильевича — обольешься горячими слезами: зверь боярин, на дне морском сыщет.

Встала Агафья на колени перед киотом, земно поклонилась. Умиротворенно на нее глядели святители, и теплилися красные и зеленые лампадки.

Третье апреля тысяча пятьсот тридцать восьмого года.

За кремлевскими окнами нахохлились голуби, крикливо галки и шумные воробьи. Снег тает, грязно, по мосткам еле пройдешь. Все серо, зябко, темно.

Утром Елена в храме прослушала обедню, провела часа два у сына. Ванюше нездоровилось, лихорадило.

— Матушка, — просил, — посиди со мной.

— Вечером загляну. — Поцеловалась с сыном.

Вышла к себе. Прилегла на постель. Болела голова.

— Господи! Четыре года правлю, устала.

Вчера пришла грамота из Вологды, почил князь Митрий, положили его в церкви Прилуцкой. Упокой, господи, душу его. Во рту сухо, позвала:

— Агафья Прокоповна!

Та словно ждала:

— Чего изволишь, государыня?

Вид у постельничей смутный, под глазами синяки, щеки обвисли.

— Не хворает ли, Прокоповна?

— Простыла утрься, государыня.

— Подай квасу испить.

— Какого прикажешь, государыня?

— Все едино, холодненького чтобы.

— Малиновый хорош, играет.

— Ну подай.

Постельничая в серебряную чару налила квасу. Василий Васильевич говорил — сразу безболезно отойдет правительница. На блюдо поставила.

— Испей, Елена Васильевна, полегчает.

Елена глотнула.

— Горчит чего-й-то квас твой, — и допила чару.

Агафья Прокоповна взяла чару, вынесла в сени, мису с квасом выплеснула в яму отхожую. Из кадки с водой ополоснула и чару, и мису. «Пронеси, владыка небесный», — шептала и крестилась. Подошла к покою государыни, прильнула ухом к двери. Послышалось — стонет Елена. Иноземные часы заиграли и пробили два. В покоях правительницы наступила тишина.

Со страхом Агафья Прокоповна вошла к государыне. Елена лежала, скомкав шелковое одеяло, голова закинута, на губах зеленая пена, глаза широко раскрыты. Постельничая нашла в себе силы — отерла губы Елены, положила ее голову на подушку, прикрыла веки, сложила на грудь еще теплые руки правительницы. С лица Елены медленно сходила гримаса боли, оно становилось белым.

Еле передвигая ноги, Агафья вошла к девушкам.

— Горе, девы! Государыня в одночасье богу душу отдала! — запричитала: — На кого ты покинула нас, свет, Елена Васильевна!?

Настасья Трубецкая бросилась звать людей. Прибежали дворцовые жильцы, лекарь Николай Люев. Из боярской думы, как в бреду, — Иван Федорович. За ними

важно, не спеша, Василий Васильевич Шуйский и вся свора родичей. Бельские — извечные соперники Шуйских — стояли в сенях поодаль. Знали, что теперь Шуйские возьмут бразды правления. Дворцовый поп в черной ризе скороговоркой у постели правительницы читал «за упокой».

Телепнев зачумленным стоял в опочивальне, никто не подходил, никто не утешал. Знал — вскорости закуют в железо и казнят. Он был молод, крепок, смел и не боялся судьбы. Он только видел смертный профиль Елены, и его сердце сжималось и плакало.

Сестра Телепнева, государева няня Агриппина привела детей.

— Подойдь, Ванюша-государь, простись с матерью.

Мальчик молча встал на колени у постели и поцеловал руку и лоб матери. Увидев одинокого Ивана Федоровича, подбежал к нему, обнял, всхлипывая по-детски сиротливо.

— Нянька! — властно распорядился Шуйский, — уведи государя и княжича наверх...

Елену Глинскую похоронили к вечеру того же дня в Воскресенском монастыре под тоскливый колокольный малый перезвон. Поминки были скудные. Вкладу бояре дали только полста рублев.

ОДЕРЖИМЫЕ

ДОПРОС ПОСЛУШНИЦЫ

Палач в красной льняной рубахе, в синих заплатанных портах взахлеб выпил жестяную кружку ржавой воды из ведра и, утирая окровавленной ладонью вспотевший лоб, загундосил:

— Матвей Сидорыч, вот те крест — я с этой монашенкой замучился, аж вся спина кровью залилась, а молчит, проклятая. Уж я стегал плетью по спине — только одно поет: «Господь терпел и нам велел». И что с ней делать — хучь убей, не знаю. Солью, что ли ча, присыпать спину?

На коричневой лавке спиной кверху лежала привязанная молодая женщина. По ее голому кровоточащему измученному телу пробегала дрожь.

Матвей Сидорович, главный подьячий вологодского судного приказа, грузный толстяк в старом синем кафтане, сожалеюще сказал:

— Оставь ее до завтра, а Домне вели, чтобы она какую-либо мокрую пестрядь холодную положила на инокиню, да в подвале печку затопила. А завтрашь авось заговорит.

— Бог воздаст тебе, дьяче, сторицею, — чуть слышно молвила монахиня.

Палач отвязал ее, а затем вместе с богатырского сложения бабой они понесли монахиню по каменной лестнице в подвал.

Подьячий вынул из широкого кармана фляжку сивухи и сказал сидящему рядом за столом молодому стрелецкому десятнику:

— Веришь ли, Ванюша, второй день бьемся с девкой и все без толку. Угощайся.— Подставил стрелцу кружку, из которой только что пил.

Десятник брезгливо отказался.

— Сам угощайся, Сидорович. Поглядел я на ваши допросы, аж блевать захотелось...

— Молод ты, Ванюша, еще,— добродушно прервал его подьячий и с удовольствием выпил полкружки вина, закусив лежавшим на столе соленым огурцом.

— Мне и самому сии допросы осточертели, да воевода приказывает: «Дознайся, где ихний монастырек стоит и какова там жизнь». А девка только двуперстием крестится.

Десятник Иван Светов плюнул на загаженный пол.

— Не пойму я ей-богу этого государя Алексея Михайловича: умен, а староверов мукам кромешным предает. Ну ладно, у вас в округе с одной стороны — губной староста земская власть, ведает всяческими поборами да налогами, у нее, у земской власти, делов не впроорот; с другой стороны — воевода, помещики, служивые, ратные; воеводе, конечное дело, прокорм с земских нужен... — Иван Светов вздохнул горестно. — А к чему за старую веру православных мучить, дознаваться о скитах... Пропади она пропадом вся эта ахинея.

Десятник был юн, светловолос, легкая бородка его едва прикрывала скулы, серые глаза смотрели вопрошающе. Поверх красного с желтыми нашивками кафтана была перекинута кожаная перевязь с саблею, черные сапоги ладно сидели на ногах. Выглядел он молодцом.

— Всем ты, Ванюша, взял — и видом, и норовом, я тебя еще мальчонкой у покойного Ивана Трофимовича, московского сотника, помню, нянчил. — У Матвея Сидоровича под усами промелькнула добрая улыбка. — И грамоту, и письменность одолел. Тебе бы с начальными людьми поменьше задираться — в сотники бы вышел... А то все десятник, ей-бо от души обидно.

— Ничего, дядя Матвей, не грех за правду постоять. — И просительно продолжил: — Ты бы оказал такую милость — не мучил бы монашку, пожалел ее. В Москве, сказывают, старой веры не токмо посадские придерживаются, а и боярыни — Урусова, Морозова да еще некоторые. А их, прости господи, как татей пресле-

дуют... А здешних людишек с Устюга хуже, чем за медный бунт*, пытаются... Тьфу!

— Помолчь! — взглянул на закрытую дверь подъячий, — за такие немислимые слова тебя, Ванюша, и на дыбу вздернуть могут.

Помолчали.

Вошел стражник с алебардой в одной руке и веревкой в другой, весь заросший волосами мужик, одни черные глаза поблескивали на дремучем лице. С ним — маленький монашек со скуфейкой на рыжих вихрах. Хоть мал монашек, хоть и бородака у него — смех один, но самоуверен, такой и на костер взойдет без страха. Только цепи зло скрипели на ногах, а ноги — в рваных лаптях.

За ними важно выступал высокий, в суконной рясе протоиерей — старший священник вологодского архиерейского подворья отец Мисаил.

Говорил он низкой октавой:

— Вчерась мы тебя, Исайка, спрашивали — чего вы, анафемы, добиваетесь и где ваши остатные б.... пребывают и каково они противу великого государя и светлейшего патриарха замышляют...

Он важно сел на лавку, и перед ним поставили на колени Исайку.

Исайка отвечал не робея:

— Я уж тебе, прихвостню архиерейскому, объяснял, что вы зачали с Никоном исправлять те святые книги, что при патриархе Иосифе выпущены. Книги те правильные, старинные, а вы отменили двуперстие, изменили написание имени Исуса, службу литургии на пяти просфорах, хождение посолонь** да и другие отеческие предания, без чего, пойми, кобель шелудивый, невозможно спастись, нету завещанного дедами православия и сиречь отсюда дорога не в царствие небесное, а во ад уготовлена... Да что с тобой толочь воду в ступе, дурак, антихристов слуга... — Монашек махнул рукой и замолчал.

Протоиерей побагровел, ударил сапогом Исайку под подбородок и в грудь. Монашек скатился на пол.

Десятник Иван не выдержал.

— Чего ты, отче, бьешь старика, ведь по уложению

* Московское восстание 1662 года.

** Хождение посолонь — по солнцу.

Алексея Михайловича сие запрещено. Постыдись, батя! — Встал и, гремя саблюю, вышел из приказа.

ДВА БОЯРИНА

У себя в московском доме боярин Василий Петрович Вельяминов сердито сказал дочери Серафиме:

— На что тебе надоть, как его называют, киатр?

— Театр, батюшка! — Серафима белокурая, с длинной косой (в косу вплетена голубая шелковая лента) девка. — Театр, батюшка, прозывается. Хорошее развлечение для высокородных. Сам государь в него вхож, увлекается с дочерью Софьей Алексеевной. Тамо показывают всякие душещипательные картины из библейской истории. Сам знаешь, что ведает им боярин Матвеев Артамон Сергенч, похваливает и дядя царев Никита Иванович.

— Нашла кого ставить в пример! — Вельяминов едко рассмеялся. — Хучь Никита Иванович и большой боярин, а из той немецкой слободы не вылазит и денно и ночью по лавкам ходит, тьфу, пивом надувается в остерях.

— А Борис Иванович Морозов, старый-престарый государев былой учитель и свояк, свою внука и его товарищей в немецкое платье нарядил, — вмешался в разговор Кирилл Петрович Хвалынский, немолодой уже боярин с ухоженной черной бородой, когда-то при покойном Михаиле Федоровиче прослуживший кравчим*, ныне забытый и потому злой на все, что творилось при Алексее Михайловиче.

Вельяминов и Хвалынский сидели за столом. Перед ними стояли в хрустальном жбанчике венгерское вино и две чары, и всякие закуски — волошские орехи на блюде, моченые яблоки, паюсная икра в серебряной мисе и хорошо выпеченный в русской печи хрустящий хлеб.

— Справедливо молвишь, Кирилл Петрович. — Вельяминов налил чару Хвалынскому. — Все при Алексее Михайловиче, продли господь дни его, изгадилось. Больно попустительствует своим любимцам царь, добр не в меру. Федор Михайлович Ртищев, на что уж тихий и смирный сокольничий, открыл две новые школы — ла-

* Кравчий — боярский чин при государе.

тинскому и греческому, да еще риторике и философии дьячих да стрелецких парней обучает. Ему бы храмы православные заводить, а он вон какую пакость заводит! Да! не бывало того при блаженной памяти государе Михаиле Федоровиче да при отце его патриархе Филарете.

— Тишь да гладь, божья благодать! — вздохнул Хвалынский. — Конечно, тогда при дворе польская образованность была; понятно, польские паны — соседи, вот и носили ихние кунтуши, но такого, что теперича детсяя, не бывало!

Сидели. Попивали вино. А когда Василий Петрович захотел еще что-то умное сказать Серафиме, ее и в помине не было, ушла в свою светелку.

Долго еще брюзжали бояре на новые порядки, всех перебрали. Вспомнили и старую веру, и Никона патриарха — мордвина, крестьянского сына, что сейчас в ссылке на севере в Ферапонтовом монастыре.

— Был когда-то у государя первейший друг, любимейший, гордыней обуян непомерно. И теперича Алексей Михайлович не оставляет его своею милостью, — сказал Василий Петрович. — Красной рыбой, осетриной балует; отец Григорий мне повествовал, что послал ему лимонов! А? Лимонов!

Дворецкий зажег свечи красные. Свет от них ровный, горят восковые благородно, а за оконцами на улице осень, хляби небесные распустились, улицу перейти страшно — по пузо в грязь липучую влезешь.

В церкви Зосимы и Савватия, что напротив стоит, заблаговестили к вечерне.

Бояре перекрестились благоговейно, чинно, по обряду: «Прости, господи, прегрешения наши».

А за окнами грязь, пьяные. Москва. Семнадцатый век.

НИКОН В ФЕРАПОНТОВЕ

Далеко от Москвы, от кремлевских палат, где разговаривали царь Алексей Михайлович с боярином Матвеевым, докладывающим ему о делах посольских (царю же не терпелось скорее к новой молодой жене — Наталье Кирилловне), далеко на севере, в маленьком монастыре Ферапонтовом, ходил у озера в теплом суконном подряснике, в болотных высоких сапогах былой

патриарх Московский и всея Руси Никон — жилистый, с сумрачным лицом, испещренным крупными морщинами. Он ходил и думал о своем поверженном величии. Никон не мог не думать об этом — считал себя несправедливо обиженным и царем, и вселенскими патриархами, и боярами.

Да, несправедливо, ибо новые церковные сборники, сверенные с лучшими греческими православными книгами, восстановили церковную истину... Пускай лается на него паскудными словесами протопоп Аввакум и прочие староверы — он, Никон, был прав, и Вселенский собор, снявший с него патриаршество, полностью признал никоновскую церковную реформу и исправленные книги. Лишь его распря с царем и митрополитами сугубо вредная, неподобающая, но не считал он каноническим снятие с него патриаршего клобука.

Никон засопел, сквозь зубы буркнул:

— Попрошай грешные, милость царскую искали, им бы только деньги, патриархи нищие!

Разве мечтал он, Никон, крестьянин мордвин, когда-то сельский поп из северных мест, достигнуть патриаршего звания? Жена померла, жил в монастырях, сколько принял мытарств и труда, взбираясь по тяжелой иерархической лестнице! Да что об этом вспоминать? И вдруг улыбнулся горько: у царя Алексея за старшего брата был, сколько советами его одалживал... А за что? За державу Российскую, верное слово, для нее, скорбной и великой, не жалел ни дня ни ночи.

Прости, господи, вседержитель, грехи тяжкие! Властен был, ой как властолюбив! Но убогих и бедных признавал. А бояр? Не любил он бояр! Только для прилику прежде с ними деликатно разговаривал. А разве ценили? Стал патриархом — на брюхах перед ним ползать стали. Он же молча склонял голову, и тихо позвякивали на теле вериги, о которых никто не знал.

И опять ходил Никон у озера. Мысли в голове разные: одно вспомнит, другое. Вот вспомнился Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Воистину никого с ним не сравнишь, никого. А ведь Афанасий-то Лаврентьевич с иностранными всякого звания людьми дружил. А кто умнее его был? Кто? Со Швецией какой мир заключил! Какая польза получилась! Андрусовский мир со шляхетской Польшей — когда сие было? Никон наморщил лоб... Да, совсем недавно. Что тогда к державе Москов-

ской отошло? И Смоленская, и Северная земли, и вся восточная Украина, а на Западе — Киев с округою. Гетман Хмельницкий Богдан еще в 1654 году с царем соединился, и стала Украина с Московским царством заодно! Эх! Какова была слава у Нащокина! А ведь ежели он, патриарх Никон — крестьянский сын, то и Нащокин из рода небогатого, псковского помещика захудалого. Ну, а протопоп Аввакум — он книжек новых не почитал, старовер, изувер, лжеучитель, отступник от истины. Кем он был? Попом кержаком? Прости мысли мои, господи...

Ходил Никон по бережку. Северный сердитый ветер рвал полы суконного подрясника, и опять еле слышно позвякивали на теле вериги, вериги двенадцати фунтов.

Бояре-то высокородные так и норовят, аки псы, друга друга загрызть. Им до государевой пользы какое дело? Да никакое! Никон думал о родной земле, думал о Нащокине, думал о себе, доколе ему в ссылке пребывать, доколе?

Никон проживал в надвратной Ферапонтовой церкви, в узенькой келье. Здесь стояло деревянное кресло, на спинке которого самолично вырезано: «Смиренный Никон, патриарх Московский и всея Руси». В церковке местный иеромонах во время екты и по собственному желанию провозглашал: «И еще молимся о здравии отца нашего святейшего патриарха Никона, подаждь ему, господи, многая лета!»

— Многая лета! — крестился удовлетворенный Никон, ему было приятно, что его именовали по прежнему званию.

В монастыре былой патриарх вызывал почтение. Иноки подходили, кланялись, просили благословения, целовали руки — иноки большей частью грамотные. Он всегда благословлял с особым тщанием во имя отца и сына и святого духа. В соборном храме Рождества богородицы Никон с благоговейным трепетом рассматривал стенопись Дионисия и его сыновей Владимира и Феодосия. Красноватые, голубые и охристые тона, коричневые, иногда пурпурные одеяния — и стоял патриарх и в душе восхищался. Вспоминал свой подмосковный монастырь Новый Иерусалим, в котором мечтал лежать в вечном сне до справедливого страшного дня суда господня.

Рассматривал иконопись: и воздушную всепрощаю-

щую богородицу, и строгого Николая чудотворца, и святого отрока Иисуса, идущего с матерью. И было ему все равно, легенда ли это о растертых камешках, или покупали краски сыновья Дионисия в Вологде, — не в этом дело, главное в том, что роспись вызывала слезы на глазах, что она звала к другой жизни, заставляла воспринимать неведомое и вечное. И самолюбивый Никон на коленях кланялся искусству мастера и его такому неземному вдохновению.

Досаждали приезды из Кириллова монастыря наблюдателей архимандрита и его присных. Досаждали и московские гости, привозившие патриарху царские поминки, хотя и любил их Никон: помнят, не забывают, думают о нем — царь Алексей и его семья. Отписывал благодарные грамоты, а потом ругал себя — зачем это я, патриарх, унижаюсь.

Чтобы успокоить себя, в келейке зажигал свечу и читал псалтырь. Горела успокаивающим пламенем толстая свеча, и мирно мерцали лампадки рубинового цвета перед киотом, освещая лики святителей.

Обслуживали его в монастыре с уважением, называли, чтобы не обидеть и не вызвать попреков царских властей, не святейшим патриархом и не просто отцом, а владыкой, что было знаком вежливости. Вкушал Никон пищу у себя в келейке, всякие царские яства, чтобы не вводить во искушение остальных монахов.

И все же скучал, сердился и от скуки занялся лечением окрестного населения. Знал по книгам, какие снадобья принимать, и вылечивал. И благодарили его униженно: «Спаси ты господи, владыка пресвятый».

БЕГСТВО В ТОТЬМУ

Стрелецкий десятник Иван Светов вышел во двор. Из выгребной ямы пахло вонючей капустой и еще чем-то едким, таким едким, что хоть зажимай нос. Из подвального зарешеченного окна доносился еле различимый стон. Иван уловил его. Порылся в широком кармане кафтана, вынул тяжелый медный пятак и хотел бросить его в окно подвала, но тут к нему подошла здоровенная Домна.

— Слушай, господин начальник, — сказала она, пристально осматриваясь. На дворе было пусто. — Слушай, начальник, как я взглянула на тебя, враз решила —

добрый ты человек, не схож с начальством, жалостливый.

— Ну и что из этого? — Светов подозрительно посмотрел на нее. — Ты, видать, палачова женка?

— Нет, ошибаешься, мил человек, я ему сестра, взята для подмоги. Да, так вот, не было у меня ни к кому жалости. Понимаешь, стрелец, не было. Все, кого братан пытал и плетью и дыбой, все они убивцы, деньги фальшивые добывали, разбойничали. А монашку молоденьку пожалела. Вот те крест, пожалела, как дочку. За веру христианскую пострадала, да еще как! — И уже тихо: — Нету тут ее проступка, я же признаюсь — сама не приемлю новшеств Никоновых, мне какой-то иночек старенький Аввакумовы письма читал справедливые, восприняла их.

— Ты это к чему? — Десятник тронул Домну за плечо. — Ты к чему подводишь-то?

— Спасать надо монашку, забьют до смерти.

— Как спасать? — Светов еще ближе придвинулся к Домне.

— Я выведу ее ночью во двор, а ты, начальник, скажи, что ее вызывают к воеводе. Скажешь, велено, мол, девку на допрос к самому привести. — А я ждать вас буду, телегу у ближнего леса припасу, пушай до скита добирается, все одно ей не житье.

— А я как же? — озадаченно спросил десятник.

— Для прилику из пищали пальни. Скажешь, бродяги ее подхватили: уперли, мол. Да ничего-то тебе не будет, всяко брани не миновать, а сам знаешь — брань на вороту не виснет. Да и особливо искать не будут, не разбойник, чать, монашка... Поругают и перестанут.

Домна просительно смотрела в глаза Светова.

Тот помолчал, а потом сказал:

— Ладно, седня поздно приходи, мне и самому девку жаль, измордуют.

Отошел к воротам. Стукнул ногой. Ворота на запоре. Стражник с той стороны отодвинул засов. Был он стар, алебарда в руках лишь для острастки.

— А, это ты, господин десятник.

...Поздно ночью, когда шел холодный косой дождь, десятник подошел к воротам, строго сказал стражнику:

— Велено монашку на ночной допрос самолично воеводе представить. — И вынул лист бумаги. На нем

всякая тарабарщина была написана, а внизу стояла подельяная печать.

Неграмотный стражник, увидя бумагу, брякнул за-совом.

— Входи, господин десятник.

Домна вывела во двор узницу. Монашка в старомодном длинном зипуне мелко дрожала. Посмотрела молитвенно на Светова. Тот громко, чтобы стражник у ворот слышал, сказал:

— Пошли к воеводе, сирота!

Вышли втроем, скрылись во тьме. Лужи. Северный пронзительный ветер.

Стражник сожалеюще сказал:

— Сколько их к воеводе таскают! Запорют до смерти.

И зевнул. Спать хотелось от холода.

Через полчаса где-то у леса прозвучал выстрел, потом второй. И опять тишина. Ветер усилился. Осенние деревья разносили побуревшие листья.

СТАРООБРЯДЦЫ

Необычны за городком Тотьмой на север к Устьюгу леса. Они настолько дикие и густые, что опасаются сюда забираться тотьмичи и промысловики дегтяри — не приведи господь до чего опасно, если ты не бывалый охотник. Лесные речки рыбные, и звери вокруг непуганые, и какие звери: медведи, дикие кабаны, рыси, лисицы, лоси и олени, не считая такой мелкоты, как зайцы. У воды делают запруды и домики бобры. Конечно, охотники выслеживают соболей, не брезгают белками, бьют бобров. Это все невдалеке от знакомых мест — по лесным речушкам, а забираться вглубь — нет таких смельчаков, раз-два и обчелся.

В непроходимых дебрях и строили старoverы часовенки и скиты — женские и мужские, строили из вековых сосен, и были те монастыри как малые крепостицы. Где они находились — про то ведали тоже старoverы и по одним им знакомым тропам и зарубкам добирались до них, чтобы перекреститься двуперстием, чтоб Иисус истинной веры благословил их, чтобы послушать огненное слово батюшки протопопа Аввакума, чтоб справили бы отцы иноки или матери монахини положенные требы — крещение, исповедь, погребение.

И несли верующие христиане в святые обители и медку, и воску для свечей, и рыбы всякой, зерна и хлеба для пропитания, и связки сушеных грибов, и соленых в кадочках. А кто побогаче — мягкого золота соборного, а на шубейки — меха попроще, чтобы грешных записали в поминальники до конца дней их.

И никто не мог выпытать у них слова лишнего, ни начальство, ни православные церковные власти, ни под пыткой, ни лестью. Крепкий народ старoverы, ох до чего ж крепкий и молчаливый!

Одним из таких женских скитов и был тот, куда везли молодую монашенку, столь жестоко измученную палачом. Монашка лежала на телеге, закутанная в зипун и еще какую-то ветошь. Возчик с седой бородой все время нахлестывал лошадь, шедшую рысью. Домна сидела рядом с монашкой, держа мешок с провизией — калачами, печеной репой и яйцами, бутылью льняного масла, а на краю телеги стрелецкий десятник, вооруженный саблей и пищалью. Хорошо, что был он в стрелецком кафтане: никто не хотел связываться с ним — ни редкие прохожие, ни даже ярыжки.

Выехав из вологодского леса, отдохнув у лесного пруда, уже не спеша двинулись по дороге в тотемские глухие дебри.

БОЯРЫШНЯ СЕРАФИМА

Боярышня Серафима Васильевна Вельяминова несколько не походила на девиц старинных родов. Хотя боярин Василий считался в древней родословной и вел своих предков от бояр Ивана Калиты, а те принадлежали к роду татарских князей, Серафиму мало это занимало. Ей было гораздо важнее знать, какие наряды носят боярышни Голицыны и что князь Михаил им из Лондона привез. Серафима была — кипятюк. С отцом разговаривала открыто и несколько его не боялась. Когда боярин Василий раскладывал перед нею древние пергаменты и родовые записи, она тоскливо вздыхала: «Ой батюшка дорогой, ой до чего же ты надоедно твердишь одно и то же. Разве мне то слушать не скучно? Ну бог с ними, с предками нашими, были бы ангелами, мне от их отчества ни холодно, ни жарко». И всегда, пожав плечиками, уходила из боярских покоев. Ей куда приятнее слушать рассказы сенной девки Пашутки о

том, что делается в Москве, какие новые проделки творят столыльники и богатых торговых гостей сыновья.

У боярина Матвеева его воспитанники, у окольного Салтыкова дочери, у голландского резидента мин-гера Клейна племянницы и сын Иоган танцевали. И у многих других персон дома было всегда шумно, убранство на французский лад с зеркалами, коврами. Кавалеры отвешивали девицам расторопные поклоны, а те церемонно делали реверанс. Иногда — это было еще внове — танцевали, как при французском дворе, менуэт. Со знакомыми девицами и молодыми людьми Серафима посещала театр и плакала в платочек от душещипательных пьес не только библейских, но и светских про доблестного рыцаря Ромуальда и даму его сердца Веронику. Ох как все это было возвышенно! Как хотелось скорее вырваться из дворянских хором!

Серафима никогда не ходила без сопровождения девиц из дворянских семей, проживающих у Вельяминова, ради чести и благопристойности, ибо нельзя боярышне без этого: и негоже, и непристойно. Ее дворянская спутница Устинья Апраксина, девица отменной приятности, представила ей молодого стрелецкого начальника Ивана Светова, юношу скромного и вежливого, и оный Светов, далеко не ровня боярской дочери, держался с ней почтительно.

Понравился он Серафиме. Она даже однажды Ивана Светова во сне видела: будто они вдвоем на окрашенной в небесный цвет лодочке плывут по Москве-реке, мимо веселой — там играла духовая музыка — немецкой слободы.

Проснувшись Серафима, села на постели, приказала своей сенной девке принести ковшик яблочного кваса и не могла до утра заснуть. Всякое бывает, всякое может присниться.

Вспыльчивая, неуравновешенная Серафима все же была девицей доброй. У храма всегда подавала медяки старушкам божьим, юродивым и калекам. Боярин не стеснял в деньгах дочь.

Как-то Иван Светов спас боярышню от большого несчастья... Выходит Серафима из церкви и удивляется, что паперть пустая. А Апраксина кричит ей сзади с испугом:

— Боярышня милая, бешеный кобель бежит, иди вобрат в церковь!

И действительно по улице бежал большой рыжий

нес, хвост опущен, изо рта белая пена, и все от него шарахаются в разные стороны. Тут певдалеке оказался Иван. Выхватил он из ножен саблю и на пса. Враз на месте его прикончил. С того дня Серафима задумалась...

А сейчас Иван Светов вместе с Домной и монашкой подъезжал к тотемским лесам. Монашка за несколько дней привыкла к Ивану. Под черной мантийкой он разглядел ее большие серые глаза, маленькие пухлые губы и светлые волосы, то и дело выбивавшиеся из-под платка. Лет ей было не более двадцати.

— С чего это ты в монахини пошла? — поинтересовался Иван.

— С чего? Там исконная вера, молодец, там ближе к богу. — Она перекрестилась. Рука была белая с синими прожилками, и пальцы длинные красивые. Такой бы девушке замуж, а не куколь черный носить!

У дремучего леса Иван простился со своими спутниками. Возница молча кивнул головой. Домна просила сказать братцу, что останется в скиту, ежели мать игуменья ее примет, что она уже насмотрелась на тюрьму и пытки, хватит с нее грех на душу принимать...

А монашка сказала ласково:

— Спаси тя, Иван, богородица, не забуду твоей услуги до смерти.

И телега исчезла в лесу.

Иван Светов пошел к тракту и долго ждал попутной телеги на Тотьму, оттуда через несколько дней добрался и до Вологды.

И вправду, подьячий и слова обидного не сказал, а воевода только отмахнулся: «Подумаешь, пропала монашка, ну и дяд с ней, поучили ее в приказе — запомнит».

Да и не до того было воеводе, неполадки большие начались в крае: бескормица, на дорогах разбой. А народ какой стал, не приведи господи что за народ! Беспокойный народ! Дерзкий народ!

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ И АВВАКУМ

Алексей Михайлович, царь и самодержец, был роста среднего, фигуру имел тучную, лицо благообразное, с аккуратно подстриженной бородкой. Глаза у него были сероватые, добрые, умные, правда, иногда делались сердитыми и даже злыми. Но, как сообщали пос-

ланники в разные страны, Алексей Михайлович являл собой пример подлинного царя и повелителя обширного государства.

После церковной благолепной службы в окружении ближайших бояр он сидел в мягком кресле, и по его лицу пробегали то улыбка, то гнев. Он читал какую-то бумагу не спеша, но волнуясь.

Придворные стояли поодаль, боясь приблизиться, хотя их и брало нетерпение, что это за бумага, так обеспокоившая царя-батюшку. А обеспокоил пресветлого царя не кто иной, как главнейший раскольник — сам протопоп Аввакум.

С протопопом Алексей Михайлович очень считался. Аввакум не боялся ни царя, ни патриарха, он был тверд в своих убеждениях, а слова протопопа, сильные, издревле русские, прожигали людские сердца, сверкая, как драгоценные камни. Умел писать Аввакум внушительно и убедительно.

В послании протопопа были такие слова: «О царю Алексее! Покажу ли ти путь к покаянию и исправлению твоему? Иной тебе так не скажет, но все лижут тебя — да уж слизали и душу твою. Ведаю разум твой: умеешь многие языки говорить, да что в том прибыли? Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах».

Читал это Алексей Михайлович и невольно думал: «До чего ж хорошо пишет Аввакум, до чего ж слово его проникает в душу».

— С чего, батюшка, заскучал? — спросил юный наследник царевич Федор Алексеевич, болезненный мальчик с желтоватым лицом и покрасневшими веками. — С чего?

— Да вот прочти. — Царь передал грамоту Федору. Тот близоруко поднес ее к глазам.

Алексей и бояре молчали. Стояла тишина такая скучная, что Алексей не выдержал — встал с кресла и выдернул грамоту из рук царевича.

— Читаешь ты, Федор, вроде как бы впервые грамоте учишься, — сказал.

— Да что ж, батюшка, — покраснел царевич. — Стиль сего письма зело неуместен. След бы протопопа сего смирить.

— Ничего ты, Федор, не понял, — тихо сказал

царь, — тебе бы только людей смирять да на постели лежать. — Повернулся к боярам: — Ступайте с богом, а я пройду в царицыны покои. — Наклонил голову и медленно пошел к Наталье Кирилловне Нарышкиной.

Стояла осень, суровая, мгlistая. В Кремле деревья роняли листья, те падали не спеша.

Перед обедом Алексей Михайлович с окольным Федоровым играли в шахматы. Фигуры были тяжелые, из слоновой кости благородного цвета, искусно вырезанные — подарок магараджи Сапура из Индии.

Федоров нарочно проигрывал.

— С тобою, государь, дюже опасно сражаться. Побеждаешь!

Алексей Михайлович посмотрел на его распаренное лицо с пышной рыжей бородою, на заплывшие жиром глазки и сказал, смешав фигуры:

— Дурак ты стоеросовый...

ИВАН СВЕТОВ ЗАДУМЫВАЕТСЯ

Возница выбирал в чаще леса знакомые тропы. Умная лошадь легко везла телегу — малая была телега, узкая, пригодная для такого путешествия. К вечеру остановились для ночлега.

Дядя Михей, скитский конюх, набрал валежника, разжег костер. Домна вытащила из сумки хлеб, репу, печеные яйца, луковицы, бутылку молока, сухую воблу. Монашка вместе с ними угостилась маленько. Затем поставили на костер котелок с травами целебными, попили горячего. Всем стало веселее, да еще Домна достала фляжку, остро пахнущую спиртным. Возница благодарно отпил из нее, завернулся в кожу и через несколько минут уже спал, сладко похрапывая. Лошадь хрумкала из мешка овес.

Домна легла на рядно. Спросила монашку:

— Как звать-то тебя, горемыка? Я ведь с тобою в скит еду, ну ее к ляду житуху в городе при таком брате, как мой.

Монашка вздохнула горестно.

— Меня, тетушка, зовут Натальей. Я сирота. Отец был грамотей, служил в Тотьме приказчиком у купца Ивана Евсеича Стулова... Дом имел в два этажа на каменном фундаменте, прислужницу Дарью, да одного мужика Фаддея — тот двор обихаживал, дрова заготовлял,

за конем смотрел... Хороший был человек! А матушка Марья Евграфовна, конечно дело, хозяйствовала. Хорошо жили... У батюшки я грамоту да счет изучила. А как посетили Тотьму купцы персияне, то смертную болезнь занесли — холеру: люди животом маялись, аж до потолка тряслись. И мои обое померли. Мне осьмой годик шел. Я у дяди Николая Михайловича в лавке прислуживала, да тетушка Агния невзлюбила меня: поедом ела, за косы трепала — у ней самой три девки росли старше меня. Спасибо, тут одна старушка, инокиня мать Феодосия... к себе взяла, в скит свезла, там я и осталась. Посылают меня грамотки отца Аввакума по христианам втайне разносить. Вот тут и взяли меня служакки воеводские да в Вологду сопроводили. Вечное тебе да молодцу тому, что от смерти меня избавил, благословение!

Заплакала Наталья и замолкла.

В лесу шла неумолчная жизнь: шумел в вершинах ветер, противно каркали вороны, а на высоких соснах прыгали, осыпая зеленые иглы, белки-летяги и какие-то сероногие веселые любопытные птицы.

— Кажись, я молода, а столь наслышана, столь навидалась всякого, что на стариковскую жизнь хватит, — снова заговорила Наталья, повернувшись к пламени костра.

— Расскажи, доченька, спать чего-то не хочется, — Домна придвинулась к Наталье и погладила ее по плечу.

Эта ласка тронула сердце девушки.

— Знаешь, тетушка, какое сейчас время ненастное? Я уж не грю про Степана Тимофеевича, ты сама ведаешь, как он дал потасовку боярскому и господскому роду. Его предали анафеме, а я, грешная, молюсь за него. А на святых Соловках что дается! Дай, господи, той святыне милость свою! Там иноки за веру православную царскую военную силу отражали, аки львы.

— Слышала о том, дочка, — сказала Домна, — к ним на острова Степан Тимофеевич своих молодцов посылал. Но одолевает их царская сила, одолевает...

В московском обществе происходили невероятные, до того не виданные дела. Жизнь мешалась, становилась более похожей на заграничную. И где это? В Москве — сокровищнице старой древней жизни.

И если прежде на это бояре и прочих чинов люди смотрели косо, то теперь — по-иному, с некоторым удивлением, особо не ругались. Как тут будешь ругаться? Когда и в приказах некоторые чиновные господа дворяне говаривали и по-гречески, и по-латыни.

А сын канцлера Ордин-Нащокина даже покинул родину и уехал на Запад, но затем подал челобитную, вернулся и был прощен по царскому указу. Вот как проникали латинский, греческий и польский языки в Кремль. Даже некрасивая и мужиковатая царица Софья читала по-латыни и по-польски.

Итак, с одной стороны политес, иностранная вежливость, западная обстановка, а с другой — усиление старообрядчества. Оно было не только религиозным, но и крестьянским движением. На Соловецких островах вспыхнуло стихийное восстание против царизма, сначала как протест против реформ Никона, а затем под влиянием разинцев, появившихся на Соловках после поражения крестьянского восстания в Поволжье и на Дону, переросшее в битву классов и ставшее эпилогом второй крестьянской войны. Соловецкие острова были и охранителями старой веры, и проводниками культуры и искусства. Библиотека Соловецкого монастыря являлась одной из лучших рукописных в Европе, изографы украшали рисунками книги, а переписчики славились чудесным знанием устава. Соловки считались своеобразными Афинами древнерусского православия. Монахи и разинцы целых семь лет выдерживали осаду царских войск, и лишь измена одного из них дала возможность воеводам овладеть соловецкой твердыней и подвергнуть оставших тяжелым карам...

Какой это страшный век! Сами себя жгли раскольники, надеясь на небесное возмездие.

Вельможи царского двора — младшее поколение при Алексее Михайловиче, вроде князя Василия Васильевича Голицына, — хоть и старались влиять на нравы, хоть и либеральничали, вряд ли могли что-либо сделать. Голицын, галант царицы Софьи, фигура романтическая, незаурядная, мечтал даже о крестьянской освободительной реформе, но все осталось лишь в мечтах.

В семнадцатом веке Россия дала величайшего писателя, борца и мученика за народную, а не только церковную идею — протопопа Аввакума. Имя Аввакума потрясало и пугало дьяков и бояр, и на все государство

звучали его огненные слова: «Ох, бедная Русь! Что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?»

Обо всем этом в скитах северных шли разговоры, и недаром стекались сюда толпы крестьян, никогда не знавших, что такое крепостное право, и готовых лучше идти на самосожжение, чем в никоновскую церковь.

Вот о чем говорили и в том женском скиту, куда направлялась Наталья.

Леса, тихий мелодичный звон, бревенчатые кельи, высокий частокол, ночные молитвы и тихие, жалостливые, протяжные песни, как плач русской души.

Иван Светов продолжал службу стрелецкую. Человек грамотный, он имел в стрелецкой слободе хорошую усадьбу, крепкий двухэтажный дом, дворника, конюха и хозяйство с тремя коровами, за которыми присматривала старшая сестра Анисья, пятидесятилетняя вдова убитого в шведскую войну стрельца, любившая, как сына, младшего брата. В стрелецком полку Светова ценили как исполнительного и умного десятника, и сам главный начальник Петр Семенович Воротынский, откомандировавший Светова к вологодскому воеводе, произвел его из десятников в пятидесятники — по тому времени чин немалый.

А почему-то молодой и на виду у начальства Иван Светов заскучал. Уж как ни старалась Анисья приготовить брату и вкусный обед, и сытный ужин (какие только яства ни ставила на столешницу — и жареных утку и поросенка, и разные собственного изделия настойки) — Иван только попробует и отставит в сторону.

— Плохо, что ли, Ваня? — спрашивала Анисья. — Не угодила?

Светов вежливо говорил:

— Спасибо, только не хочется. — И замолкал.

«Что с ним? — думала Анисья. — Может, женить его?» Но и на этот счет молчал Иван.

И тяжелая скука поселилась в доме.

Вечерами Иван читал библию. Многое в библии было непонятно, а то, что он понимал, — смущало его. Прочел о пророке Илье и ученике его Елисее, о праведном Лоте и превращении жены его в соляной столб. И о Ное, Симе, Хаме и Афете и всемирном потопе. О ковчеге Но-

ею, куда он мог взять из живущих на земле тварей семь пар чистых и семь пар нечистых.

И еще задумывался ночами о старообрядцах. Вот монашка Наталья, юная, с глазами, как два колодца,— ни у кого не видел таких глубоких глаз. Как ее наказывали! Какие муки, господи, она претерпела, и ничего от нее не узнали, ровным счетом ничего. Откуда в этой хрупкой девушке силы?

Как-то вечером за ужином ел толокняную кашу с молоком и жареную курицу с чесночной подливой. Сестра поведала о сестрах, боярыне Морозовой и княгине Урусовой, что в хладной земляной яме за старую веру держат и, как собакам, бросают им полусырой с кострицей хлеб да холодной воды дают. О них отец Аввакум, как о святых мучениках, любовно писал царю и патриарху: «Освободи».

— Господи! — рассуждал Иван Светов. — И это первейшие боярыня и княгиня! — И охватывала его дрожь всю ночь. И смотрел он на икону господи вседержителя, освещаемую тусклым светом лампадки.

За окном стояла темень. Сторож не спеша бил деревянной колотушкой по березовой доске.

ЗАПИСИ ИВАНА СВЕТОВА

Иван начал более подробно узнавать о жизни Аввакума. Для чего он это делал, и сам не знал. Завел даже записи. Достал хорошей бумаги и сделал книгу. Писал гусиными перьями. Анисья даже перепугалась. Но сосед дьякон Дементий успокоил: «Иван человек большой, всяко пишет о делах стрелецких, мало ли у кого какие дела. Вон сотник Егоров стал записывать, что видел за границей, как живут другие народы».

Анисья поблагодарила дьякона и успокоилась. А Иван продолжал свои записи, все больше накапливалось в книге сведений.

Было время, когда Аввакум в сороковых годах семнадцатого века состоял в кружке ревнителей благочестия. В кружке находились: Аввакум, протопоп Лазарь, важную роль играл Иван Неронов — постоянный защитник Аввакума; переведенный в Москву из Нижнего Ново-Спасского монастыря Никон (впоследствии патриарх Московский). Близок к ним был и окольный Федор Ртищев.

Кружок имел нравственное влияние на общество, что поддерживал тогда юный царь Алексей Михайлович. Иван Неронов, Аввакум и другие обличали неустройство русской жизни, жестокость светских властей, восставали против пьянства, взяток, напрасных арестов. Со временем кружок ревнителей распался. Находились боязливые люди, отошедшие от Аввакума: «Отец Аввакум лишние слова говорит, что не подобает говорить».

Много впоследствии испытал Аввакум. Алексей Михайлович лично к нему относился хорошо, но знатные бояре, архиереи на Аввакума гневались, требовали от царя-реформатора крутых мер к Аввакуму. Он ссылался вплоть до Пустозерска, терпел с семьей побои и издевательства от сибирского воеводы Пашкова, сидел в земляной тюрьме, но продолжал поддерживать раскольников, восславлять восстание на Соловках. Письма Аввакума из тюрьмы переписывались по всей России.

Последователи Аввакума, боярыня Морозова и княгиня Урусова, писали ему из Сибири. Иван Светов переписал одно письмо. Оно было широко известно среди верующих: «Женскую немощь отложили, мужскую мудрость восприяли, дьявола победили...»

Аввакум восклицал: «О, светила великия, солнце и луна руския земли, Феодосия и Евдокея, и чада ваша, яко звезды сияющыя пред господом богом! Воистину красота есте церкви и сияние присносущныя славы господни по благодати». И кончается послание Аввакума: «У тебя и больши нашава заводов было, да отняли же. Да добро так! Благодарите же бога, миленькие светы мои, не тужите о безделицах века сего. ...Мир вам, Евдокеи и Феодоре, и всем благословения».

Читал Иван Светов и про житие протопопицы Настасьи Марковны и детей ее. О том, как Настасья Марковна делила все невзгоды с Аввакумом, когда воевода Пашков гонял их по таежному краю из одного места в другое. Казаки Пашкова, производя обыски у Аввакума, жалели протопопицу, говоря ласково: «Матушка, отдыхай ты, и так ты, государыня, горя натерпелась». Как Настасья Марковна, совершая с мужем на дощанике тяжелый путь по Иргень-озеру, подбадривая ослабевших в пути сыновей, спрашивала его: «Долго ли муки сея, протопоп, будут?» Он же говорил Марковне: «До самыя до смерти». Она же, вздохнув, отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

И еще читал в житии Аввакума стрелец Иван Светов, как она, эта простая русская баба, ободряла мужа, когда тот роптал. «Господи помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? ...Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово божие, а о нас не тужи».

Читал Светов об их путешествии:

«Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову... На те горы выбивал меня Пашков, со зверьми и со змеями, и со птицами витать».

Умиление Ивана вызвали слова Аввакума о курочке, бывшей в семье ссыльного:

«Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, божиим повелением нужде нашей помогая. ...На нарте везучи, в то время удавили по грехом ѿ нынеча мне жаль курочки той, как на разум придет. ...А та птичка одушевлена, божи твореньи, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала. Слава богу, вся строившему благая!»

Утром прочитал запись Анисье. Анисья, утирая слезы, обняла брата.

— До чего же ты жалостливый! До чего же ты, Ванюша... — И не договорила.

Следующей ночью Иван опять не спал — читал при лампадке четвертую беседу Аввакума, где тот отвергал иконы, написанные никонианами:

«...пишут Спасов образ Еммануила. Лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишю сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя».

Восхищало Ивана упорство Аввакума, его собственное отношение к иконописи.

Еще писал Аввакум из земляной пустозерской тюрьмы: «Жена моя... в земле же сидит» *

* Жена и дети протопопа Аввакума были сосланы в Мезень 29 декабря 1664 года. Они прожили там около тридцати лет в Окладичкой слободе и были впоследствии освобождены по просьбе князя В. В. Голицына. Жили в Москве, купив дом в Троицком приходе.

И чем больше знакомился молодой человек с житием Аввакума, тем больше проникался уважением и к Аввакуму, и к раскольникам. А это уже обеспокоило Анисью. Анисья по ночам прислушивалась к шорохам и крикам на улицах: боялась, чтобы не пришли с арестом к брату.

Иван читал библию. Библия была большая, неудобная, он не привык к таким книгам. В России не знали библии, и с некоторым недоумением он просматривал страницы этой толстой книги. Молодого стрельца не увлекали библейские притчи, читал со скукой, зевал и ничего знакомого с детства, с юности не находил в них. В конце концов он решил отложить чтение библии. Человек любознательный, Иван, как и покойный отец, предпочитал евангелие.

В ЦАРСКИХ ПОКОЯХ

К вечеру тусклого зимнего дня Алексей Михайлович перешел с кресла на мягкую, под балдахин постель. Он тяжело дышал, не хотелось ни с кем разговаривать. Да и что разговаривать? Не хотят бояре слушать его сетования на то, что делается в Московском государстве, их не беспокоят ни дела малороссийские, ни челобитные грамоты гетмана Богдана Хмельницкого...

Алексей Михайлович закрыл веки, думал уснуть, но сон не приходил. Велел вызвать лекаря, чтобы тот дал снотворного.

Пока ходили за ним, пока немец лекарь взвешивал на крохотных серебряных весах порошок, спустилась из женских покоев молодая царица Наталья Кирилловна. Села рядом с царем, положила свои маленькие теплые пальцы на его закрытые глаза и нежно погладила. Он задремал.

Лекарь на цыпочках подошел к постели, держа на блюде серебряную чарку, пахнущую валерьянкой, с поклоном подал Наталье Кирилловне.

— Ваше величество, как государь откроет глаза, пусть выпьет лекарство. — И, снова поклонившись, пятясь задом, удалился из опочивальни.

Наталья Кирилловна влила лекарство в полуоткрытый рот Алексея Михайловича. Он проглотил во сне, как маленький, зачмокал. Открыл глаза.

— Ох, светик ты мой Наташа, спасибо тебе.

Ночью Алексей Михайлович опять не спал. В иконостасе цветные лампадки, иконы в позолоченных окладах, благость и тишина, но не спится. Видит он седобородого Аввакума, босого, на ногах болячки.

«Погряз ты, царю Алексею, в блевотине немецкой и латинской, почто?»

Вот и Никон — не в белом клобуке с серафимами, не с алмазной панагией, а в простой грязной рясе... И на ухо ему шепчет, наклонясь, чернец Никон, былой патриарх Московский и всея Руси: «Поминай обо мне грешником, Алексеюшка, жить-то нам с тобой немного, немножко...»

Алексей Михайлович трет покрасневшие веки, смотрит на божницу, крестится.

— Помилуй мя, господи.

К утру полегчало. Встал, накинул атласный кафтан. Стольник Петр Овчинников, неслышно ступая по ковру, поднес полотенце. С помощью столника дошел до умывальника. Вода была холодная, добрая вода. Помылся, пополоскал рот. В пахнущей ладаном палате сел в кресло и заплакал.

Позвали лекаря:

— У вашего величества нервы разошлись. Всепокорнейше прошу, государь, денька два-три полежать в постели. Попить целебный декохт, от него легче будет.

Бывшие в палате бояре зацокали языками, сделали услужливые сладкие лица.

— Батюшка великий государь, изволь от хвори выслушать лекаря, враз легче станет...

Шатаясь, встал. Кружило голову. Взял под руку окольного Ртищева.

— Проведи до опочивальни.

И опять лежал, думал, ждал, пока придет Наталья.

А в государевой церковке пышноволосяный румяный протодьякон басовито возглашал о здравии великого государя. И хор мальчиков пел нежно:

— Многая лета! Многая лета!

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ И НИКОН

Никон видел, что архимандрит и казначей Ферапонта монастыря держат братию на таких харчах, что раз поешь и больше не захочешь. Вот почему в свободное время у озера часами просиживали монахи с удоч-

ками. Глядишь, и закраснеет окунек, щуренок или язъ, блестящий, как богатырь в латах.

А когда перевели Никона по указу в Кириллов монастырь, то Никон почувствовал себя, как в сетях: обязательно кто-либо из монастырских за ним увязывался. Если он спрашивал: «Что ты, окаянный, аки тать, за мною выглядываешь?», тот отвечал: «Прости, отче, это не я, мне твердят: доглядай за стариком».

Гневался, с архимандритом спорил, в Москву писал окольниковому Ртищеву, а ответ один: «То не наша светская власть, мы тут ни при чем, то духовная власть».

Но людей лечил по-прежнему, а любопытных монахов выгонял строго: «Выйди из кельи, дуралом». И уходил монашек жаловаться архимандриту: «Не допускает отец Никон, когда лечит».

А тут известие привез из Москвы отец Нифонт, что занедужил тяжко пресветлый государь.

Среди кирилловских иноков были такие, кто в глубине души сочувствовал соловецким мятежникам. Говорили: бог наказует государя — ему всего сорок шесть, в самом цвете, божье, знать, поупущение.

— О ком это вы сплетни плетете? — спрашивал отец настоятель.

Молчали или отходили в сторонку.

Никон написал грамотку в Москву:

«Аз, грешный, владыка Никон, припадая ко кресту, молю, дал бы вседержитель облегчение царю Алексею Михайловичу».

Но вести из Москвы были одна хуже другой. Монахи спорили, кто будет царем. Вечерню слушали нерадиво,, не до вечерни было...

В Кремле у постели умирающего не продохнуть: бояре, духовенство, окольниковые. Тут и братья царевы, и сестры, и дочери. У самых подушек — царевна Софья, из-за ее спины выглядывает князь Василий Васильевич Голицын. Он вежливо шепчет на ухо боярину Матвееву:

— След спокой государю дать, удали лишних.

Матвеев строго говорит:

— Уймьтесь вы, господа бояре.

И больной певучий голос царя:

— Выйдите, воздуха мало.

Царь приказал, ничего не поделаешь.

Вывалились в соседнюю палату, расселись по лавкам. Ждут, крестятся, помалкивают.

Лекарь из золотой ложечки поил Алексея Михайловича питьем, тот глотал, слюна у губ пузырилась. Пропетал:

— Наталью Кирилловну.

Ослушаться бы! Не Нарышкиным тут торчать. Но послушаться нельзя. Пошли приглашать. Не шибко торопились: не великих кровей Нарышкины — мелочь, не Милославские, не Голицыны. Все же позвали:

— Государыня Наталья Кирилловна, тебя царь требует.

Кремлевские палаты. В опочивальне жарко, надышали. В Архангельском и Успенском соборах непрерывные службы о здравии.

Стрельцы у ворот строгие. Их спрашивали, каково здоровье пресветлого, — не отвечали или одно слово «проходи». На них смотрели со страхом — теперь они сила. Молчит сурово Стрелецкая слобода. А когда она молчит — трясутся у бояр бороды.

Дни бежали. На восьмом году штурма царские войска взяли Соловки. Начались дикие расправы с монахами и разинцами, особенно доставалось последним, скрывшимся на Соловках от разгрома отрядов Степана Тимофеевича.

В царском дворце в день последнего штурма Соловков благочестивый царь Алексей Михайлович почувствовал скукоту. «Тоска заела! Ах какая тоска...» Сходил в нужник, поблевал, вернулся, едва передвигая ноги, в опочивальню, прилег на постель. Лицо стало желтым, дряблым. Врачи ставили банки, выпускали царскую кровь. Это не помогало. Лоб покрылся испариной. Молодая царица Наталья Кирилловна Нарышкина вытирала лоб белым платком.

Алексей Михайлович стонал:

— Ах, как тошно!

От микстуры его тошнило. Придворные бояре толпились в соседней комнате. Встревоженный Федор Алексеевич спрашивал:

— Что с батюшкой государем, что?

Никто ответить не мог.

К вечеру Алексей Михайлович повернулся на спину, и струйка крови облила подушку. Широко раскрыл глаза.

— Прощай, Наташа, — проговорил, с трудом ворочая языком. — Страдаю... — Но и умирая, отдавал распоряжение о казни соловецких мятежников. Вскоре у царя глаза сделались тусклыми, он вздохнул, и сердце его остановилось.

— Его царское величество государь Алексей Михайлович почил в бозе, — протяжно объявил боярин Морозов.

Наталья Кирилловна заплакала.

— Хоронить следует государя быстрее, — сказал лекарь.

Печально звонили колокола, а приближенные уже готовили все для последнего обряда...

Узнав о смерти царя, Иван Светов перекрестился по-старинному, как учил его отец: «Христос, сыне божий, спаси нас», а не по-теперешнему — «Иисус Назарянин — царь иудейский».

А колокола звонили и звонили, как бы призывая скорее предать земле Алексея Михайловича Тишайшего.

МИЛОСТЬ НОВОГО ЦАРЯ

Царем объявили юношу Федора Алексеевича. Особый почет достался его наставнику боярину Матвееву и близким к нему боярам. К Матвееву и обращались за распоряжениями по всем делам. Ему, видевшему самое большое благо в распространении по России западноевропейских обычаев, надоедали старообрядцы. Он, в душе человек не злой, приказывал своим дьякам и подьячим еще строже относиться к раскольникам.

— От старой веры, от этих кликуш, — говорил он в Кремле больному Федору, слушавшему, как сестра Софья и ее друг Василий Васильевич Голицын интересно читали про Венецию, — от сих упорных раскольников, ваше величество, только одни раздоры. След их самыми суровыми указами укорачивать.

— Правду боярин молвит, Феденька, — поддержала Софья.

Голицын молчал. Он был противником строгих мер — они ожесточают народ, но спорить с Матвеевым и Софьей не решался.

— Надо бы Никона из Кириллова в Новый Иерусалим перевезти, — громко зевая, сказал Федор, — об этом Полоцкий и тетка просят. — Ты, Матвеев, пошли

указ, чтобы Никона со временем освободили и с подобающим почетом водным путем отправили. А раскольников приведи к порядку. Слушаться не будут — предай их огню.

— Хорошо, великий государь, — привстав с лавки, поклонился Матвеев.

Федор закрыл глаза.

— Читай, Софьюшка, дальше про Венецию. Зело за-
нимательно.

Софья принялась громко читать. Голицын не слушал, а думал о том, какую бы жену подыскать Федору. Мал годами, но неважно. Жену надо смирную, чтобы бояр слушалась.

Вчера князь беседовал с придворными врачами. Те прямо сказали: «Сердце у его величества плохое, ноги пухнут. Это водянка». Знал Василий Васильевич, что сын Алексея Михайловича от Милославской Иван тоже болен, а вот Петруша, что от Нарышкиной, — здоров, весел и умом крепок. На него с надеждой смотрели посадские, земские чины и даже часть стрельцов.

Софья читала. Федор дремал. Его бледное лицо еще более пожелтело.

Матвеев вышел из опочивальни.

— Пойдем, что ли, Вася? — сказала Софья Голицыну.

Молодой царь спал. Вошедший стольник постоял, сел на лавку, опустил голову и тоже заснул.

А в царской канцелярии Матвеев диктовал дьяку Флору Яковлеву: «По повелению его царского величества чернеца Никона, что имеет нахождение в Кирилловом монастыре, немедля, с подобающим ему, как бывшему патриарху, почтением, в сопровождении иеромонаха и трех иноков, выдав ему из монастырской казны пособие, направить на вольное пребывание в Новый Иерусалим, водным путем».

НЕ ДОЕЗЖАЯ ДО НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Прошло несколько лет, пока указ исполнили. В Москве не торопились. Когда в Кирилловском монастыре проведали о судьбе Никона — обрадовались. И оттого, что не надо больше за ним присматривать и писать в Москву, и оттого, что Никон получил долгожданную свободу, и что увидит свой любимый Новый Иерусалим.

Никон ведь всегда мечтал успокоиться на вечные времена в монастырском храме.

Стольник Иван Николаевич Васильев, привезший из Москвы царский указ, был принят в монастыре с уважением. Сам архимандрит пришел вместе с ним в келью к Никону.

Подошли под благословение. Стольник ударил челом перед бывшим патриархом и поднес ему грамоту.

— Вашему святейшеству. — Васильев поименовал его прежним званием. — Вашему святейшеству надлежит исполнить приятное царское повеление, а нам, грешным, проявить свое уважение к столь прославленному мужу. — И он вторично облобызал руку Никону.

Да! Не тот уже Никон стоял перед приехавшим из Москвы чиновником: годы и невзгоды состарили патриарха. Прямой стан согнулся, сетью морщин покрылось лицо. Заметно серебрились борода и волосы.

Отслужили торжественный молебен шествующим и путешествующим. Отец казначей вежливо передал Никону кожаный мешочек с золотом и серебром да икону в позолоченном окладе.

На большом паруснике подняли флаг с крестом. Инок Сергей, когда-то служивший в морях, а теперь исполнявший обязанности капитана, лихо отдавал последние приказания. Поддерживаемый двумя монахами, проследовал по мосткам на палубу Никон. Хор иноков на берегу дружно пропел «Спаси, господи». Корабль начал медленно отплывать от пристани. Сиверское озеро бережно покачивало парусник.

Никон все время проводил на палубе, в душевной каюте у него кружилась голова и ныло сердце. Иеромонах отец Георгий знал лекарское дело, в своем сундучке имел необходимые микстуры и давал старику. Тот пил и говорил, отдышавшись:

— Чего-то, отец Георгий, полегчало. Мне бы только доехать до Нового Иерусалима.

— Доедете, ваше святейшество, — утешал отец Георгий, а сам по секрету сказал стольнику Васильеву:

— Кажись, не выдержит Никон, сердце больно старое, ослабло, да и волнуется отче. Валерианова корня разведу еще.

Васильев огладил остренькую рыжую бородку.

— Старайся, больно уж охота молодому царю лицезреть патриарха в Новом Иерусалиме.

Леса вокруг озера было много. Деревья, стройные, как мачты, упирались в небо, синее и холодное. Избы по берегам с высокими окнами, рыбацьи лодки покачиваются на волнах.

— Красота божья! — сказал Никон. — Скоро ли доедем?

Васильев, склонив голову, почтительно отвечивал:

— Скоро, ваше святейшество, уже видны рыбаки иерусалимские.

В Ярославле остановились на короткий отдых. Соборное духовенство, воевода, посадские встречали на пристани Никона. Старик только благословил верующих, но с корабля не сошел. Воевода и ярославский епископ предлагали Никону отдохнуть в архиерейском доме — успокоить свое тело на мягкой перине. Он отказался.

Отец Георгий сказал ярославскому епископу:

— Ничего не сделаешь, преосвященный, поизносился патриарх, не чаю, как доведем его до монастыря.

Отплыли. Сидя в кресле, Никон подозвал перстом Георгия, слабо молвил:

— Слушай мою волю, отче. Похороните меня по чину архиерейскому в Новом Иерусалиме. — И замолк. Отвернулся в сторону.

Стольник Васильев сообщил боярину Матвееву с гонцом из Ярославля: «Святейший патриарх Никон не смог прибыть в свою обитель Новый Иерусалим. От сердечной болезни в бозе почил...»

Царь Федор, узнав об этом, заплакал. Он любил Никона. Сказал боярам: «Устройте все, как подобает по чину».

А в царском дворце вокруг юноши плели нескончаемые интриги первенствующие бояре: Морозовы, Милославские, Шереметевы. Плели всякие небылицы и воровали царскую казну, все, что плохо лежало.

БОЯРЫШНЯ И СТРЕЛЕЦКИЙ ПЯТИДЕСЯТНИК

Серафима Вельяминова по дикому своему нраву (недаром мать ее была дочкой татарского бека из Казани) решила ночью сходить к своей крестной, игуменье Новодевичьего монастыря Пульхерии, что души не чаяла в племяннице и прощала все ее шалости.

Сидела в своей светелке Серафима, смотрела в черное ночное окно и вдруг соскочила с лавки, накинула смушковую шубейку и капризно бросила Нюрке, своей любимой прислужнице:

— Нюрка, у меня есть дело до матушки Пульхерии, пойдем, милая, и не возражай.

Нюрка начала отговаривать боярышню:

— Что ты, Серафима Васильевна, пешком, карету-то ночью не заложишь, что ты, боярышня, окстись!

Возражение прислужницы еще больше взбудоражило Серафиму.

— Нюрка, я хочу, не прекословь, а ежели трусишь, то я и одиноко пойду, ей-бо.

— Не пуцу, ты ведь, боярышня, знаешь, что до Новодевичьего далеко, там еще паромщика нанимать надо.

— Найдем, у меня деньги имеются... Я тебе подарок сделаю.

— Серафима Васильевна, в Москве татей уйма, убить могут.

— Не посмеют, стража, стрельцы ходят, каждый час звонари в колокол бьют.

— Серафима Васильевна, пождем рассвета и пойдем, — уговаривала Нюрка.

— Тогда батюшка проснется, не отпустит... Ну возьмем со двора Аникея, он в колотушку стучит.

— Ну разве Аникея! — крестя рот, молвила Нюрка и тоже накинула шубейку.

Из сеней вышли крадучись во двор. Аникей как раз с колотушкой проходил. Спервоначала отказался: «Никак не могу, Серафима Васильевна, каждые полчаса обязан стучать. Невзначай боярин окликнет — тогда беда, батогов не миновать. Да из чего ты это к тетке в такую даль задумала?»

— Не твое это дело. На вот лучше. — И сунула в руку Аникея целых десять копеек.

Тот посмотрел, засунул денежку за пазуху.

— Ну что ж, пойдем, боярышня.

Аникей последний раз пробарабанил по доске и отворил засов.

— Пошли, Серафима Васильевна, но в ответе ты перед боярином.

Серафима сердито бросила:

— Я, я, а кто же?

Но только вышли из ворот, прошли переулком мимо

церкви, как вдали показались два вооруженных стрельца. Остановили немедленно.

— Куда, пташечки, собрались? Да еще с Аникеем. Ему колотушка положена, а не с девушками разгуливать. — Всмотрелась.

— А ты чья, боярышня?

Пришлось сказать. Стрельцы загалдели: «Боярина Василия? Ну нет, пошли в караулку к начальнику. Тебе, боярышня, по ночам шастать не положено».

Как не отговаривалась Серафима, ее и Нюрку повели в караулку, где горела маслянка.

Аникей же, пока стрельцы разговаривали с боярышней, успел дать лататы и через несколько минут бил в колотушку, выкрикивая: «Слушай!»

В караулке на лавке сидел стрелецкий офицер. Взглянула Серафима и охнула — пятидесятник Иван Светов! Тот вежливо спросил:

— Почто, Серафима Васильевна, вздумали по ночам гулять?

— Дурь в голову вошла. Ей-бо, без всякого умысла. Решила над теткой монахиней пошутить... Вот, думаю, смеха-то будет...

— Неудобно оное, боярышня. На улицах разбой, ограбить могут али еще чего хуже исделать.

— Да и в доме боярина уже поднялась кутерьма, — сказал молодой стрелец.

Действительно, недавно темный двор боярина Василия теперь был освещен: в окнах свечи, во дворе площадки, бегали с фонарями слуги.

Сам боярин нервно ходил по большой опочивальне, смотрел в окно, выкрикивал:

— Перепорю неслухов, перепорю болванов!

Когда Иван Светов привел боярышню в гостинный покой, где ясным светом горели два канделябра, боярин обнял сначала дочку, обнял так, что воистину видно было, как он ее любил.

— Где ты, Серафима, была? Почему отцу не сказала? — И заплакал.

— Прости, батюшка. Первый и последний раз, сама не знаю, какая ехидна мою мысль смутила, — и тоже заплакала. — Скучаю я, скучаю, вот и выдумляю.

Боярин Василий ласково сказал Ивану:

— Спасибо тебе, молодец. Заходи через денек, потолкуем.

Светов ответил низким поклоном и не спеша вышел из гостинного покоя.

В ЛЕСНОМ СКИТУ

В скиту, куда приехали Наталья и Домна, их сперва приняла мать игуменя Досифея, старице было шестьдесят семь лет. Она исхудала от постоянного стояния на коленях, недоедания. Досифее казалось, что больше двух просвирок из ячменя да подцвеченной теплой воды, а на обед гороховой похлебки ей ничего не полагалось. Только на рождество да светлое христово воскресенье мать игуменя позволяла себе горячего черничного киселя с медом, пшеничную лепешку да жареного на льняном масле судака. Вот какой постницей была мать Досифея. Правда, в августе, когда послушницы собирали грибы, баловала себя грибным супом, да и тот был едва заправленный сметаной.. И после такой трапезы еще усердней молилась: «Да простит богородица, небесная матушка, грех чревоугодия».

К Досифее в келью и пришли Наталья и Домна. Сделали три метанья (в ноги поклонились), приняли благословенье, и Наталья рассказала, как ее взяли в тюрьму.

Настоятельница молча выслушала ее. Сказала:

— Храни и спаси тя господь, Наташенька, твои муки доходчивы до царя небесного, ибо ради старой истинной веры православной ты их преодолела. Пойдь в келарию — матушка Пелагея напоит и накормит тя. Ну а ты, раба божия, почто к нам пришла? — обратилась она к Домне.

Та упала в ноги к настоятельнице.

— Прими грешницу великую под благочестивый покров святой обители. Была я сестрой вологодского палача, исполняла всякие еретические приказы, а теперь от Натальи приняла истинную веру. Не отринь меня, матушка Досифея! Не знаю, куда мне голову преклонить.

— А мук телесных не испугаешься? — спросила мать Досифея. — Примешь ли обет старой веры? Станешь ли в сем вертограде сполнять божеские законы?

— Что прикажешь, матушка, ангельская твоя душенька, исполню. Читали мне отца Аввакума письма, — смиренно говорила Домна, все еще стоя на коленях.

— Быть по-твоему. Наша Наталья о тебе печется. Увела ты ее из мрака тюремного. А теперь иди в келарню, там тебе укажут, где ночевать и что кушать.

Домна поднялась с колен, взглянула на скорбный лик Христа над изголовьем нищенской постели игуменьи. На дворе темень, кое-где в маленьких оконцах келей мерцали лампы.

ВЕЛЬЯМИНОВ ПРИВЕЧАЕТ СТРЕЛЬЦА

Через три дня Иван Светов явился к Вельяминову. Был он в новеньком стрелецком кафтане со знаками различия, пистолью на боку, саблей на перевязи, на сапогах серебряные подковки. С боярином поздоровался почтительно, подождал, пока тот скажет: «Присядь на лавку, гостем будешь».

— Как здоровье боярышни? — осведомился Светов.

— Ничего, сейчас придет. А кой чин на тебе?

Иван ответил. Сказал, что имеет собственный дом в слободе, трех выездных коней, хозяйство, что за домом и слугами смотрит сестра Анисья — вдова стрелецкого начальника из города Ярославля. Говорил почтительно, и это нравилось боярину.

Боярин Василий одобрительно крикнул:

— Ну и молодец ты, Иван, из молодых, да не хуже рачительных стариков. А это что у тебя? — И он указал на кошечку, что держал бережно в руках стрелец.

Кошечка, симпатичная, с белой грудкой и лапками, вся блестела шерсткой, отливая в солнечных лучах, как слиток золота. Весь вид ее так и говорил: «Погладьте меня, я хорошая».

Боярин коснулся рукой нежной шерстки кошечки и заулыбался, когда она замурлыкала, как заводная музыкальная шкатулка.

Пришла боярышня, одетая словно к празднику, и взглянула на пятидесятника. Лицо ее зарделось, в глазах мелькнула радость.

— Здравствуйте, дорогой гостюшка! — сказала певуче. При виде кошечки засмеялась. — Что за чудо!

— Я двух достал. Полковник Хмырев мне подарил. Кота отдал Анисье — та даже подскочила от удовольствия и назвала его, как и меня, Ивасиком, а кошечку решил тебе подарить, больно уж красовита.

Серафима нежно взяла на руки мурлыку.

— Спасибо большое тебе, господин пятидесятник. — Поцеловала кошку в нос. — Пуще ока беречь буду, да и тебя, молодец, вспоминать. — И таким взором окинула стрельца, что тот смутился.

— Рад тебе и отцу твоему почтенному служить, — низко склонил голову Иван. — Спасибо за доброту и ласку.

Слуга подал на блюде чарки с крепкой душистой домашней наливкой.

— Пригубь, дорогой, — сказал боярин.

Они выпили, широко перекрестясь.

— Я ее, твою кошечку, назову Искоркой, — сказала Серафима.

— Как, боярышня? — переспросил Светов.

— Искоркой, — объяснила Серафима, — шерстка у нее сверкает. И, взяв Искорку на руки, удалилась легкой походкой.

ИСКОРКА

Серафима теперь не могла обойтись без Искорки. Кошка спала на постели боярышни, ей была определена мягкая из заячьего пуха подушка. Под нежное мурлыканье боярышня засыпала и во сне улыбалась.

По ночам Серафиме снился теперь только Иван. На нее, Серафиму, посматривали и боярские сыновья в богатой иностранной одежде, и молодые стольники с красивыми бородками, да и солидные окольные и кравчие не прочь были скосить глаза на Серафиму. А вот подите-ко, понравился ей какой-то стрелецкий офицер: и голос его вдумчивый, и глаза, смотрящие всегда без утайки, и даже стук его сапожек с подковками. Может, время пришло увлечься упрямец, может, скромность стрельца, его застенчивость, его умение разговаривать со старшими были тому причиной — кто тут поймет, кто найдет ответ на столь щекотливый вопрос?

Да и какие тут вопросы: просто нежно мурлычет Искорка — пушистая шерстка. Слушается боярышня отца и характером стала поприветливей. Сам боярин Василий не нарадуется на свою дочку — ласковая и послушная. Дай, господи, всегда бы такая славная была!

Хорошо жилось Вельяминовым, а тут еще молодой царь Федор Алексеевич повелел, чтобы боярин Василий обязательно бывал в царских сенях, куда собирались

всевозможного чина знатные москвичи. А ведь что ни говори, находиться в палате кремлевской — поистине честь немалая.

«А кто это сделал? — ломал голову Вельяминов. — Кто мне сопутствовал на столь почетном пути? Может, боярин Стрешнев, а может, и Ртищев Федор — ведь в свойстве находились».

Теперь по утрам у боярского крыльца стоял возок. Лошади лоснились, кучер сановит, в три обхвата, и для спеси еще двое слуг. Выезжает боярин в Кремль — честь ему и слава.

А ведь, собственно говоря, и Кремль не тот, не те и царские палаты, и государь-самодержец мальчишка, к тому же больной; хоть и есть боярская дума, да уж не та, что была в давние времена, — не та!

Серафима, когда уезжал батюшка, сама с помощью сенных девушек обрядится, да и проследит, как Искорка молочком или рыбкой покормится. Ходит боярышня в церковь, что рядом с домом, нельзя не ходить — приметят, да пойдут разговоры. Поставит святому, чей день празднуется, свечку да поминальник подаст, а в душе всегда за раба божьего Ивана перекрестится.

Как-то встретила боярышня на улице — шла с сенной девушкой из церкви — Ивана. Поздоровались.

— Твоя Искорка, — весело сказала Серафима, — по всем палатам разгуливает, даже у батюшки в почете, избаловалась!

Иван также похвалился:

— И у нас Ивасику хорошо.

Вести разговор на улице боярышне с молодым человеком не полагается, нельзя. Поклонились, боярышня одарила улыбкой стрельца, и они разошлись.

— Пригож парень, — сказала сенная девушка, — уж до чего хорош! Жёних!

— Молчи, дуреха! — вдруг ни с того ни с сего окрысилась Серафима. — Молчи! — А сердце колотилось в груди, на щеках пылал румянец.

В этот день боярышня не отпускала от себя Искорку.

ЧТИЦА У КУПЦА ВАВИЛОВА

Самым близким другом Ивана Светова был Антон Вавилов. И хотя он не принадлежал ни к стрелецкому, ни к дворянскому сословию, пользовался большим ува-

жением среди торгового люда. Отец Антона, известный купец Ануфрий Андреевич Вавилов, имел обширную торговлю канатами, дегтем, парусиной. Его богатый дом, хорошо обставленный по желанию сына, был двухэтажным, на каменном фундаменте, но одна часть дома, в которой жил сам Ануфрий Андреевич, его жена Марфа Назаровна с дочерью Анной, имела особый распорядок. Если сын больше придерживался новых веяний, то родители жили древним укладом, скрывая, что принадлежат к старой вере. У них была особая светелка, в которой жила чтица из женского монастыря по благословению игуменьи. Вавилов, купец богатый, посылал потаенно в тотемские леса в монастырь довольно всякого припаса — и крупу, и муку, а иногда баловал монашек красной рыбой и икрой. Вот поэтому в молельной у Вавилова и жила монашка, читавшая псалтырь и следившая за иконами и лампадками. Здесь стоял аналой, и в иконостасе — древние дорогие иконы дониконовского времени. Правительство, которому было необходимо для начавшегося кораблестроительства все, чем торговал Вавилов, ценило купца и по царскому указу наградило высоким титулом торгового гостя.

Антон и Иван Светов учились вместе в трехгодичной московской школе, основанной Ртищевым, хорошо знали граммоту, цифирь и немного греческий и латинский языки.

Совместная учеба сделала их большими друзьями. Рыжий с маленькой бородкой Антон был женат на дочери стрелецкого головы Петра Акимовича Верхоянца. У молодых был сын Прохор, которого дед заранее приучал к своему торговому делу.

Вот к этому Антону и пришел поделиться своей тоской Иван.

— Что ты печаль на себя напускаешь? — сочувственно говорил Антон. — Все у тебя есть — и дом, и семья, и хорошая служба: ты ведь на виду у начальства, глядишь, и сам скоро головою станешь. Жениться тебе надо, вот что! Мало ли хороших стрелецких и дворянских девиц в Москве! Да и купеческих дочек полнешенько.

— Эх, Антоша! — вполголоса сказал Иван другу. — Замучила меня тоска! И исходу ей нет! С чего это? Никак не выкину из головы одну монастырскую послушницу. — И еще тише: — Раскольница она, при мне ее истязали в вологодском приказе, ни слова не пропро-

шла. Помог ей вместе с сестрой палача бежать. Несколько слов промолвил с нею... Зовут ее Натальей, бледная, едва дышит, а глаза! А голос! Настолько овладела моим помышлением, что больше ни о ком и мыслить не могу.

— А в каком она скиту?

— Не знаю, где-то в тотемских лесах. Туда мне ходу нет, я ведь не раскольник и все почитаю одним недоумением.

— Скажи, Ваня, кто она — точно послушница или рясофорная монахиня, постриженная в чин?

— По-моему, послушница.

— Да, — сказал Антоша, — трудное дело, у меня батюшка с матушкой сами тайно раскола придерживаются, у нас даже в молельной чтица есть, кажется, из тотемских лесов.

— Как бы на нее взглянуть? — с надеждой спросил Иван.

— И не думай. Туда, где живет она, батюшка никого не пускает.

ИВАН СВЕТОВ И ПОСЛУШНИЦА

Ничего с собой не могла поделаться Серафима, ровным счетом ничего. Молодых парней хорошего происхождения было достаточно, и многие из них готовы были послать сватов к боярину Вельяминову. Несколько свاخ уже беседовали с нянюшкой Архиповной: «Женихи у нас отменные, на хорошем счету у государя, да и домашней рухлядью господь не обидел».

Архиповна не раз разговаривала об этом с Вельяминовым:

— Пора, батюшка боярин, выдавать дочку за хорошего пригожего молодца. Ишь, как она глазами стреляет!

Но отец только отмахивался:

— Рано еще, семнадцать лет, не перестарок, погоди, нянюшка.

Вельяминов чувствовал себя хорошо: и в сенях государевых бывал, и утомившись поцеловать царскую ручку, и быть на боярском совете. И обо всем этом можно было рассказывать дочке — не будешь же слугам про великие дела рассказывать.

— Успеет еще хорошего жениха сыскать, такого, чтоб и ей и родителю не стыдно было.

Все помыслы Серафимы были заняты молодым стрелецким начальником. «Посватался бы, — думала. — Уговорила бы батюшку. Мог бы и в дворцовой страже служить у государя. Всем взял — и умом, и нравом».

А сам Светов стал все чаще и чаще забегать в дом Антона — не увидит ли ненароком послушницу, не знает ли она чего про Наталью. Как в колдовском сне стояла та перед его глазами.

Но вот однажды Антон, улыбаясь, молвил стрельцу:

— Ну, Ванюша, уезжают родители с сестрой в гости, всяко дня два-три пробудут. Вот тут и расспросим монашку — где твоя Наташа обретается.

Обрадовался Светов.

— Обязательно к тебе загляну.

И заглянул.

Послушница стояла у аналоя и читала нараспев акафест святому великомученику Георгию. Ее тихий ласковый голос услышал Иван Светов и вздрогнул, но войти в молельню не решился: это было особое место, только для посвященных — никонианцам тут делать было нечего, его присутствие только бы осквернило келью. Попросил Антона:

— Кликни, ради бога, чтицу, близка она мне, Наталья это! О ком страдаю. По потаенности прошу тя. Дай возможность поговорить с ней наедине, но только не в молельной.

— Так я ее, — сказал Антон, — позову в прихожую, мол, по делу.

Он поднялся в молельную, проговорил: — Господи Иисусе Христе, помилуй мя.

— Чего тебе, Антон Ануфриевич? — спросила послушница.

— Сделай милость, — сказал он ласково, — спустись пониже, с тобой один важнецкий человек по тайности поговорить хочет. — И сам ушел.

Сердце у Ивана затрепетало. «Сейчас увижу, и развеются чары, уж больно исстрадался я».

Легкие шаги, такие легкие, что стрелец их не сразу услышал. И вот она перед ним.

Ах, зачем он ее снова увидел! Еще глубже стали глаза у Натальи, еще пунцовее губы, и вся она как птица — вспорхнет и не удержит.

Увидела Светова. Вздогнула. Тот поклонился низко, как не кланялся и воеводе.

— Зачем пришел? — шепотом спросила она.

— Чтоб тебя увидеть, чтоб узнать, приняла ли ты монашество, али нет?

— Я смиренная послушница, — прозвучал ответ. — Тебя помню и богу молюсь, чтобы соединил он тебя с нашей истинной православной верой. А пока будь здоров, спасибо, что от смерти спас. — Поклонилась поясным поклоном и легкой тенью исчезла, прошептала: «Да хранит тебя богородица».

ПРИ ДВОРЕ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА

При дворе царя Федора Алексеевича приезжавших в кремлевские палаты бояр — их сначала пускали для частных разговоров в царские сени — всегда было множество. И боярин Василий Вельяминов мало-помалу свыкался, слушал всякого рода речи, а иногда даже пытался вставить словечко.

Обидно, конечно, что не тот был двор, не чинный двор со знаменитыми фамилиями, как при Рюриковичах. Тут нередко можно было видеть господ из низших званий и сословий. Особенно много в московских палатах находилось русских, одевавшихся в польскую шляхетскую одежду. Иногда даже поляки и литовцы посещали Кремль. Вельяминов на них смотрел с подозрением, не нравилось ему, что польские паны и ксендзы преследовали православных украинцев, называя их быдлом.

«Ну времена, — думал Вельяминов, — господи, помоги!»

Однажды пригласил его к себе вельможный князь Василий Васильевич Голицын. Чего только у него не было! И ковры, и диваны атласные, и под стеклом всякие дорогие диковинки, а на стенах фривольные, писанные маслом картины. Да и сам князь был в чулках, в иноземном кафтане, усы нафабрены, а на рукавах — манжеты.

Боярин Василий в душе плевался на новое, но все же князь Голицын тезка, вхож в царский дом, и по родовитости знатнейший человек, из настоящих Гедиминовичей.

Разговаривали в гостиной палате. Боярин Вельяминов сидел в креслице, столяр тонко сделанном, что бо-

ялся, как бы ненароком не сломать его, дабы не вышло смехотворно.

Князь Василий Васильевич в разговоре похвалил украинцев, которые по русско-польскому мирному договору остались на правобережной Украине под властью гетмана Богдана Хмельницкого.

— Жаль левобережных, что под панами, — сказал Голицын.

Говорил также Василий Васильевич и о том, что на вновь отстраиваемой немецкой слободе очень богато живут иностранцы. Там имеются лютеранские кирки, реформатская церковь, школы новые с музыкой и вежливыми танцами, аустерии* и даже аптеки — и от этого в слободе одно лишь наслаждение.

Слово «наслаждение» боярин Василий слышал в первый раз, что оно означает, не знал, но, видно, что-то хорошее, и потому, выпив бокал вина, изрек:

— Зело отменно там живут и немцы, и голландцы, и прочие люди.

Вечером Серафиме рассказывал, что гостевал у князя Василия Васильевича, кое-что порицал, как истинно русский человек, но кое-что и похвалил — ведь у князя был, а не у какого-нибудь проходимца.

— Я бы не прочь, дабы к тебе кто-либо из такого знатного рода посватался, — сказал он как бы ненароком, на что Серафима гордо ответила:

— Без вас, батюшка, знаю, за кого мне выходить.

— Да это не к спеху, — отвечивал боярин, — ты, Серафима, еще младшенька, я к тебе всем сердцем привязан, годика еще два-три гулять можешь. — Широко зевнул и перекрестил рот.

А в это время, когда в Кремле зажигали свечи и слуги в нарядной одежде, в мягких сапожках (упаси боже потревожить государя), убирали сор, что нанесли с собой бояре, в опочивальне Федора в молчании сидели государевы любимцы.

Сегодня в полдень мужиковатая, широкая в кости царевна Софья разговаривала с лекарем Джексонем, который сказал по секрету (Софья его за это одарила дорогими вещами):

— Ваше высочество, государя я обследовал тщательно, вряд ли он долго протянет.

* Трактиры.

— Как долго? Ты, Джексон, его жене-царице докладывал? — тревожно спросила Софья.

— Ну как можно, принцесса, — пожал плечами Джексон, — у нас, английских лекарей, данное слово, что алмаз. Никто ничего, конечно, не знает, жить его величеству не более двух месяцев, а может быть, и месяц... Ноги опухли до бедер, сегодня я спускал воду. Тяжело Федору Алексеевичу, надежды мало.

Разговор велся по-латыни.

В палату вошли двое приближенных. Лекарь сделал по ришпекту поклон и вышел. Софья стояла у окна и думала, думала.

ИВАН СВЕТОВ НА РАСПУТЬЕ

Иван Светов бросил писать дневники, и теперь до спора раскольников с никонианцами ему было мало дела.

Он с нетерпением ждал прихода своего приятеля Антона, и когда дня через три утречком Антон зашел к нему, Светов дрогнувшим голосом спросил, как там Наталья.

Антоша сел на лавку и, не глядя на Светова, проговорил:

— Ничего у тебя, Ваня, с ней не выйдет — уехала она в тотемские леса. В моленной ее заменила другая послушница, тоже молоденькая, а с Натальей отец отпустил подарки: продовольствие разное.

— А где тот скит? Скажи за ради бога!

Антон усмехнулся.

— А кто его знает, где тот скит. Довезет ее в Тотьму наш возчик, сложит продовольствие у знакомого отцу купца и обратно. А купец уже направит Наталью в скит. О том с большой оглядкой знают.

— А отец не ведает? Он-то тебе доверяет.

— Куда там! — махнул рукою Антон. — Даже и не думай, все в потаенности, отец ничего не скажет. Я к нему в душу не лезу. Зачем? Для ча? Нет, уволь, братец. Я, как и ты, считаю сии богословские дела поповскими и начетническими.

Посмотрел на Ивана, погладил по мягкой шерстке сидевшего возле него Ивасика.

— Редкостный котенок. — Помолчал и предложил: — Ты не сердись на Наталью, ей-бо. Она, пока

наши с богомолья не приехали, говорила со мной: «Кланяйся стрелецкому начальнику. Передай ему земной поклон. Люблю не плотской, мол, любовью, а как брата во Христе. Молюсь за него, чтоб воспринял истинную веру, что отец Аввакум проповедует, а я, мол, постриг принимаю и буду верою служить отцу нашему небесному...»

Проговорив такую длинную речь, Антон выпил залпом кружку кваса, что стоял на столе в жбане, и взялся за шапку.

— Рад был тебе, Ваня, послужить, да не вини, что не вышло, не горюй, а лучше осемейся. Возьми какую полковничью дочь или дворянскую, свадьбу сыграй и все позабудь.

Он вышел из горницы. Иван сидел пасмурный. Кот было замурылкал, попросился на руки, но Иван невежливо отодвинул его в сторону. Кот удивленно зыркнул глазом и спрыгнул не спеша с лавки.

Иван встал, накиннул на плечо перевязь сабли, поправил на голове высокую стрелецкую шапку, перекрестился и вышел из дома.

На улице грязь, серое небо. Прошел продавец с лотком пирожков. Увидев стрельца, закричал во весь голос:

— А вот пироги пудовые! Купи, стрелец!

Иван только отмахнулся. Мысли в голове путались. Что теперь делать?

У Флора и Лавра дьячок на звоннице проверял колокола. Они звенели простуженно, невесело.

Меся грязь, навстречу Светову шел какой-то протоп, борода длинная, кудлатая, а сам как малолеток. Посмотрел на стрельца строго, требовательно.

Иван поздоровался.

— И ты будь здоров, — ответствовал поп.

Простуженно хрипели колокола. С неба стал накрапывать дождь.

ЗЕМЛЯНАЯ ТЮРЬМА АВВАКУМА

Протоп Аввакум сидел в земляной тюрьме на узкой необструганной скамье. На его заросшей седой щетиной груди болтался на тонкой веревке деревянный осьмиконечный крест. На плечи был накинута замызганный козлиный армяк. Он писал на столе на не-

весть как добытой бумаге огрызком гусиного пера послание к царю Федору. В нем он издевался над живыми и покойными царями, сановниками церкви, Алексеем Михайловичем, пребывающим, по его мнению, в аду:

«А что, государь-царь, как бы ты дал мне волю, я бы их, что Илия пророк, всех перепластал во один час. Не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю. ...Перво бы Никона, собаку, рассекли на четверо, а потом и никониян. ...Бог судит между мною и царем Алексеем. В муках он сидит, слышал я от Спаса; то ему за свою правду».

— Пишешь, протопопище? — пробормотал огрубевшим голосом союзник поп Лазарь, которому резали язык. Он сидел, поджав ноги, на полатах, ибо вода в яме заливала по щиколотки.

— Видишь сам, свет, пишу царю Федору, да толку в том, отче, не вижу.

Соловецкий инок Епифаний, худой, плешивый, в струпьях, и дьякон Никифор — в глазах тоска, смотреть невозможно, — молчали, закутавшись в свои дырявые вонючие зипуны. Сильно они воняли, не обработаны были, и стрельцы, спускаясь в яму, воротили носы.

О попе Лазаре и Епифании, благословенном старце соловецком, и писал Аввакум. Их взяли по приказу Алексея Михайловича, после того как они отказались крепко и твердо от новоисправленных книг и трехперстного креста: «Скоро прискочил человек стрелецкий Василий Бухвостов со стрельцами, ухватили священника Лазаря и старца Епифания и помчались скоро, скоро и зело немилостиво и безбожно... Лазарю и Епифанию повеле царь благословенная их языки отрезать... у Лазаря кровь единым временем вся и много истече; у Епифания же по лицу довольны дни капаше... Аз же грешный Аввакум, не сподобился такового дара, но плакав над ними. Их кровавые уста целовал, благодарив бога я сподобился видеть их мучения в наши лета, и зело утешихся радостью великою о неизгладимом даре, яко отцы и братья моя пострадали Христа ради и церкви ради. Хорошо так и добро запечатлели кровью церковную истину. Благословен бог изволивый так. Ну, светы мои, молитесь о нас, а мы елико можем о вас!!»

И писал также Аввакум о дьяконе Никифоре, которому палач урезал язык.

Много писал Аввакум челобитных и писем, а кто доставлял ему чернила и бумагу, знал он да господь бог. И было это в далеком и холодном Пустозерске. И все писания Аввакума, как ни мучили его царские власти, как ни издевались над ним, все же тайно расходились через стрельцов, староверов и людей божьих неведомых по всей Руси. Тайный распространитель челобитных и писем Аввакума старый стрелецкий урядник Пахемыч спал по ночам плохо. Их казенная изба стояла почти рядом с ямой, и он, глядя на образ пречистого Спаса, просил у бога: «Един ты ведаешь сердца наши, помилуй и спаси сих невинных узников».

Кренко аввакумовское слово входило в головы людские — так крепко, что и через сотни лет живо было еще в народе. И когда вспоминаешь об этом, приходит мысль: пусть староверы не правы, пусть они исповедывали давнее и старое, но в них — в боярыне Морозовой и княгине Урусовой, в сотнях лишенных сана и замученных распопов и расдьяконов — чувствуешь истинную крепость духа, идущую от сознания причастности к родной державе.

И так сидели они, верные дети державы русской, сидели и мучились, и слова свои берегли, силен был в них дух протеста против несправедливой власти: сжигались сами, сжигали их, а вот сломить было трудно, как Соловецкий монастырь, где сплотился всякий народ; были и староверы, и разинцы, и беглые крестьяне.

КОНЕЦ ПУСТОЗЕРЬЯ

Пустозерье. Избушки по-черному у крестьян, несколько побогаче у никонианцев. Стрельцы на страже строгие, но среди них есть и добрые сердцем. Посреди городка плаха для казни, чтобы острым, как бритва, топором резать языки. Мороз. Даль дальняя. Глухомань.

Аввакум записывал последние дни своей жизни — и как записывал: читаешь и невольная дрожь охватывает тебя!

«Посем той же полуголова Иван Елагин был и у нас в Пустозерье, приехав с Мезени, и взял у нас

сказку. Сиде реченно: год и месяц, и паки: «мы святых отец церковное предание держим неизменно, а... патриарха Паисея с товарищи еретическое соборище проклаинаем». И иное там говорено многонько... Посем привели нас к плахе и, прочет наказ, меня отвели, не казня, в темницу...»

И когда пустозерские отписки пришли в Москву, в Кремль, в царские палаты, Федор Алексеевич с нескрываемой злобой проговорил:

— Скольки мы их допрашивали, скольки пытали, а истинно правдивого ответа от сих пасквилянтов не получили. — Он взглянул на стоявшего неподалеку почтительно изогнувшегося боярина. — Покойный батюшка Алексей Михайлович не восхотел, дабы Аввакуму язык резали и пыткам предавали, посему оставить его без мучениев, а к остальным пытку применить и отписать в Пустозерск, дабы предали их всех огненной казни.

Он вздохнул, перекрестился и пошел к себе в опочивальню.

Долго шло приказание Федора Алексеевича. И когда у измученных Аввакума и его соузников остались только одни огненные слова, полковник Иван Елагин, сам ужасаясь и чуть не плача, зачел приговор царя, гласивший:

«Аввакума, Лазаря, Епифания и Федора посадить во един сруб и сжечь за великие на царский дом хулы».

Четырнадцатого апреля 1682 года пустозерские узники были казнены.

Так закончилась жизнь протопопа Аввакума. Вечная будет ему память в народе, а слова его — слова великого русского писателя — навсегда останутся в русской литературе.

ЕВДОКИЯ-ЛАПОТНИЦА

Посвящается Н. В. Железняк

ВСТУПЛЕНИЕ

Меня давно интересовал старинный портрет «неизвестной» конца семнадцатого — начала восемнадцатого века в экспозиции Вологодского областного краеведческого музея в историческом отделе, которым я когда-то заведовал. Такие портреты маслом на холсте, наклеенном на доску, парсуны, попадали в музей в первые годы Советской власти из помещичьих усадеб и упраздненных монастырей.

С портрета смотрит круглолицая красавица с выразительными, чуть-чуть выпуклыми глазами. На плечах — парчовая шубка, отороченная соболиным мехом. На голове — шапочка, бывшая в моде при матери царя Петра Наталье Кирилловне Нарышкиной. И хотя портрет писан в несколько условной манере той эпохи (плоскостной, почти отсутствует воздушная среда), он привлекает внимание удивленно поднятыми тонкими бровями изображенной и по-детски сжатыми пухлыми ее губами. Зрителя заинтересует и алмазный знак на груди молодой особы. Ведь такие знаки жаловались только членам царской фамилии или за исключительные заслуги.

Я беседовал с историками и искусствоведами. Стало ясно, что были правы художник-реставратор А. И. Брягин, доцент-историк А. И. Федоров и я, предполагая, что это портрет Авдотьи — Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены царя Петра и последней царицы из русских боярышен.

Царевна-правительница Софья презрительно говорила: «Авдотья в убогой отцовской деревеньке в лапотках бегала».

После опалы, постигшей Евдокию, ее родня была выслана в разные города и один из Лопухиных попал в Тотьму. Не потому ли портрет Евдокии оказался в Тотьме, а затем в Вологде?

Я давно мечтал написать об этой русской жемчужине с необыкновенной судьбой. Сначала я ограничился статьей в сборнике «Отзвеневшие шаги», а теперь предлагаю вниманию читателей повесть.

I

Лопухины давно в долгах. Все заложено и перезаложено. Деревеньки — одно название, в каждой по пять-шесть курных избышек. Боярышня и та ходила летом и в осеннее ненастье в лапотках — и удобно и тепло. Конечно, при гостях — в козловых башмачках, а зимою в катанках. Боярышня была необыкновенно пригожа — и цвет лица, и густая коса до пояса, и глаза добрые, немного наивные, и голос мягкий, напевный. И еще всем на удивленье читала, писала и науку арифметику знала, а в то время и многие бояре свою фамилию крестиком подписывали — были неграмотные.

Ах, если бы к этому прибавить богатое приданое: земли, крестьян, хороший боярский дом и прочее — Евдокия (домашние звали ее Евдохой) была бы завидной невестой.

Правда, род Лопухиных старинный, но захирел, и сказки-предания о том, что «мы-де еще при татарских ханах да московских великих князьях ведали городами», никого не убеждали. Были, мол, да сплыли:

В это время царица Наталья Кирилловна Нарышкина прискивала для сына Петра жену.

А кто из богатых да сановитых захочет иметь его зятем? Во-первых, неизвестно, будет ли когда Петр настоящим царем: есть не любящая его сестра Софья со своим фаворитом, европейски образованным князем Василием Васильевичем Голицыным, который метит в мужа правительницы всея Руси, есть флегматичный и вялый старший брат царь Иван. Когда-то очередь дойдет до Петра? И не люб Петр боярству и столичному дворянству пристрастием к иностранцам, к Немецкой

слободе, к господину Лефорту, игрой в солдатики. Вот набрал целый полк преображенцев из простолюдинов и служителей и надел на них иностранные мундиры. Смех да и только. Нет! Не бывать ему царем-государем на Руси! Ростом с каланчу, глаза выпучит — никакого царского поведения! Кому из родовитых бояр такой нужен? Хотя, конечно, они понимали, что все же это Романов, на престоле с братом старшим сидит и послов принимает.

А Евдокия была скромна и почтительна к государыне Наталье Кирилловне. Так ей велели отец и все родственники... И к ней благоволила царица Наталья.

Сама осмотрела в бане Евдокию. Изъяна никакого не нашла, и стала та невестою Петра Алексеевича.

II

Когда царица Наталья Кирилловна предложила Иллариону Лопухину: «Отдай в жены Петруше свою девушку», — Илларион от такого счастья расплакался, как баба. Подполз на коленях к креслу царьцы и, обливая ее пухлые ручки слезами, ответил:

— Матушка царица, вернее жены, чем Евдоха, Петру Алексеевичу не видать. Евдоха станет ему ноги мыть.

Князь Василий Васильевич Голицын сказал Софье Алексеевне — правительнице:

— Ты бы, Сонюшка, приласкала Лопухиных. Для политики нужно.

Софья, блестя желтоватыми зрачками, упрямо возразила:

— Ну пусть называется Илларион Федором. Подыщем воеводство, а насчет венчания в соборе — извини, Вася, — хватит и церквушки придворной. Я этого Петрушку опасаюсь, чую, Вася, враг он нам. А брат Иван — хорош. Молчит, хворает и с женою ни в какие дела государственные не входит, больной он, умрет скоро, и сбудется наше желание...

Василий Васильевич заулыбался:

— Сбудется, только молчать надо.

Приглашенные на царское венчанье гости удивлялись: очень уж простовато.

Борис Голицын, двоюродный брат Василия, выпив три больших кружки мальвазии, сказал Петру громко:

— Счастья тебе, Петр Алексеевич, и царства великого!

И этим вызвал недовольство знатных бояр.

— Допился Борька до глупости. Какого великого царства для Петра-то захотел? — усмехнулся Шаховской. — Правительница сама царство крепко держит, не отдаст никому.

— Василь Васильевичу готовит, — засмеялся Митька Щербатов.

Пили и ели петровское, что наготовили на кухне Натальи Кирилловны, а над Петром издевались.

Невеста была настолько красива, что и придаться никто не мог, только боярыня Мирославская фыркнула:

— Лапотница!

Евдокия Федоровна это услышала, но промолчала.

И все же свадьба понравилась Евдокии. Понравилось и то, что теперь во всех православных храмах с амвона дьяконы и протодьяконы стали провозглашать ее среди царской фамилии и выделили ей в свиту несколько боярышен, угодливо именующих ее матушкой царицей, хотя этой матушке царице было всего шестнадцать лет.

III

Огорчало ее только то, что Петруша мало сидел дома.

Евдокии думалось, что ничего красивее и трогательнее великопостного богослужения нет, тропари и кондаки приводили ее в восторг. Она могла часами смотреть на святые лики. Иконы Евдокия понимала и ценила как истый изограф и могла определить, какая икона бежественная, а какая создана в мастерской несколькими живописцами по частям, просто так, без чувства, без души, сделана для заработка.

Откуда такое знание у молоденькой царицы? По наитию? Конечно, и по наитию, и потому, что дьякон Иван, старый, еле-еле бродивший по дому Лопухиных с батожком, обучал ее не только грамоте, но еще и пониманию иконописи, рассказывал ей о святом изографе киевском Алипии и московских зело искусных и проникнутых верою и вдохновением Даниле Черном, Андрее Рублеве, о создателе стенописи в Ферапонтове Диони-

сии и о других. Дьякон Иван, самозабвенно указывая на иконы, твердил:

— Запомни, отроковича, и не забывай, како следует служить красотой богу.

Умер в прошлом году Иван. Записала его Евдокия в свой поминальник и не забывала его слов.

Лаской и покорностью она хотела заслужить любовь Петра.

Какие письма писала она мужу, какие трогательные слова находила: «Государю моему радости царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, свет мой, на множество лет. Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам не замешкав. Женишка твоя Дунька челом бьет».

А Петру нужны были для испытания каравелл и бригов большие озера, учителя корабельщики и еще кокетливая Анна Монс из Немецкой слободы и верный друг Лефорт, и веселые рассказы, сдобренные кружкой пива.

IV

Пока Петр разъезжал, правительница Софья Алексеевна подготавливала переворот, чтобы объявить себя самодержавной царицей при помощи стрельцов и содействию именитого боярства. Перебить преобразенцев и покончить с Петром.

Седьмого августа 1689 года, в ночь, должно было произойти стрелецкое восстание. Двое верных Петру стрельцов примчались в Преображенское:

— Спасайся, государь, стрельцы кончат тебя по-решили.

Петр успел скрыться с небольшим отрядом в Троице-Сергиев монастырь. На другое утро туда приехали Наталья Кирилловна, Евдокия, оставшиеся преобразенцы и патриарх.

Монастырь стал центром, куда потянулись и смирившиеся стрелецкие полки с повинной. Софья Алексеевна присмирела. Василий Васильевич был с позором выслан вместе с сыном на Север. Софью поселили в Новодевичьем монастыре.

Цари Иван и Петр стали править государством. Вернее, правил один Петр.

18 февраля 1690 года Евдокия родила мальчика, объявленного наследником престола. Нарекли его Алексеем.

Петр снова разъезжал по Руси. Строил корабли. А когда был в Москве, проводил время в Немецкой слободе. Евдокию он совсем разлюбил.

В 1696 году по совету своих друзей Меншикова и Лефорта он решил сослать жену в монастырь, а сам уехал за границу учиться корабельному делу. Царством стали править бояре Ромодановский и Нарышкин.

В письме из Лондона боярам Стрешневу и Льву Нарышкину Петр велел уговорить Евдокию Федоровну постричься в монахини.

— Надоела Евдоха хуже горькой редьки, — сказал он Меншикову, — пусть там в Суздальи забавляется обеднями да иконами.

Евдокия горько улыбнулась, когда бояре стали ее уговаривать. Натальи Кирилловны, которая хоть и не любила ее, но защищала, уже не было, и спасти молодую царицу никто не хотел, зная бешеный нрав Петра.

— Эх, господа бояре, — сказала Евдокия, — подожду, пока государь приедет из заграницы, тогда и порешим с ним сие богопротивное дело, видит господь, что была ему женою верной и преданной.

Оставалась единственная радость — царевич. Ласкала его, пела песенки про кота-буркота, сороку-воровку, по вечерам читала духовные книги, а в постели думала о муже, который где-то вдали носил голландскую куртку и работал на корабельной верфи.

V

Петр приехал из заграницы раньше времени: Софья и ее приспешники подняли бунт в стрелецких полках. Петра открыто называли антихристом, подменным царем, и все симпатии отданы были бывшей правительнице.

Князь Ромодановский и другие Петровы сторонники вели кровавое следствие. Петр был рассержен, встревожен и не щадил стрельцов. Казни над ними проходили на Красной площади. Почти через два столетия эти события отразились в картине Сурикова «Утро стрелецкой казни».

...Петр был в гостях у почтмейстера Виннуса, куда пригласил и царицу Евдокию. Говорил сурово, смотрел исподлобья. Разговор был наедине.

— Пойми, Евдокия, какая ты мне жена? Все твои помыслы в старой Руси живут: тебе любы попы, монахи, читаешь ты только жития святых, а мне душно, простора хочу, не бородатую Русь, не курные избы с тараканами, не нищих и убогих, а новую Россию, — пойми, Евдокия, — Россию с большим флотом, с преданными солдатами, а не стрелецкую вольницу староверную; русских чиновников — бритых, в немецких камзолах, обученных по-немецки и голландски.

Он плюнул на ковер.

— Уйди в монастырь, Евдокия, ты мне как чирей. И уже грозно: — Собирайся, Евдоха, там тебя монахини прокормят, там тебя и посвятят в ангельский чин иноческий. — Криво усмехнулся. — Ты на ангелицу лицом схожа, Евдоха. А за Алексеем сестра Наталья присмотрит. Возьму парнишку от тебя.

Евдокия как бы умерла: ни слезинки, ни вздоха.

Встал, гремя палашом и шпорами. Подошел к сидевшей в кресле царице, холодно поцеловал в лоб.

Пахло от него табаком и пивом.

— Авось больше не увидимся, Евдокия. Только помни, что ты была царицею. Не нарушай завета брачного даже в разводе. Знаю я, какие такие монашки бывают, ой-ой!

Обернулся к двери.

— Эй, Алексашка!

Дверь деликатно отворилась, вошел Александр Данилович Меншиков. Одет по-иностранному, на голове шляпа с пером петуха, на ногах красные чулки и такого же цвета ботинки, чтобы при допросах не было заметно крови. За ним еще двое офицеров в зеленых с красными отворотами мундирах, пьяные вдрызг, еле на ногах стоят. И еще старый, лысый, не то священник, не то монах смотрит на царицу кособоко.

Меншиков снял шляпу перед царицей, поклонился.

— Приветствую вас, сударыня!

Петр заговорил медленно, торжественно:

— Господа, посмотрите на царицу в последний раз. Евдокия Федоровна скоро будет инокиней. Вот батюшка — перст монастырский, — отвезет былую государыню в Суздаль, а для охраны два офицера. Завтра поутру в шесть часов посадят царицу в кибитку и — с богом! — Посмотрел на офицеров строго: — Господа прапоры, ежели будете под бахусом, то заменю дру-

гимн, а вас велю отлубцевать батогами, чтобы помнили... — Деревянно посмеялся.

Евдокия Федоровна сидела, не меняя позы, и молчала.

VI

Двадцать восьмого сентября 1698 года царицу Евдокию в простой дорожной карете отвезли в суздальский Покровский девичий монастырь.

В мае следующего 1699 года в монастырь приехал по строгому петровскому наказу окольный Языков. Прожил несколько недель в подмонастырской слободе, вел переговоры с архимандритом и тайно привел монаха нерея в келью казначей Маремьяны, где жила царица. Там за занавесью Евдокию постригли (она молча покорилась). Даже казначея не видела пострижения Евдокии Федоровны в инокиню Елену.

Это было противозаконным деянием Петра: постричь царицу, верную дочь православной церкви, без патриаршего суда было нельзя. Когда-то Василий Третий постриг Соломонию с думского и митрополничьего разрешения за бесплодие — и то народ осуждал царя. А тут был и наследник налицо, и поэтому пострижение сделали тайно.

И осталась жить в монастыре царица-инокия. Жить скудно, бедно, в келье казначей. В монастыре не знали, как к ней относиться, почему приехала. Монахини были в страхе. Кормили Евдокию сначала монастырской трапезой. Иногда присылали на ее имя посылки с продовольствием и деньгами родичи Лопухины. Но вот как-то Евдокия сказала Маремьяне:

— Знаешь, мать казначей, печаль мою?

И вся в слезах рассказала, что с ней произошло по воле Петра.

И тогда Маремьяна поклонилась ей в ноги:

— Матушка царица, прости мя, окаянную, не знала твою судьбу, не ведала, кто ты есть.

С тех пор слухи о невинно сосланной в монастырь истинной русской царице распространились по всей округе. И от богатых бояр, от купечества, от монастырей начали поступать большие денежные пособия царице. Имя Евдокии Федоровны стало дорого многим людям.

Запросили Петра: дозволит ли государь построить достойные обширные кельи для Евдокии?

Петр ответил: стройте хоть дворец, но на свои монастырские деньги: я вам, чернохвостицам, ни копейки не дам.

Построили кельи над святыми воротами, да такие, чтобы молодой женщине было удобно.

— Ах, горе, мое горе, — печалилась Евдокия, — тяжело из царских чертогов перейти в кельи, несчастная я, горемычная! Любила я Петеньку, ах, что мне делать?

К ней, к монахини Елене, одетой в черное платье, относились с великим почтением. В церквах с молчаливого согласия суздальского епископа с амвона возглашали ее имя как царицы Евдокии Федоровны.

Как-то ей сказали, что в одном из мужских монастырей живет архимандрит Досифей, обладающий дивным даром предвидения, человек почти святой. Он-де предсказал Меншикову, бывшему в то время в опале, что все пройдет и судьба Александра Даниловича поправится. Так и случилось. Меншиков получил после Полтавы княжеское звание и новые награды. И, конечно, Досифей был не забыт князем, получил большое денежное подношение.

Досифей принял Евдокию с почетом и предсказал ей:

— Дщерь моя! Придет время, и призовет тебя государь в Москву. Верь крепко — будешь в царских палатах.

Царица поблагодарила архимандрита, а так как о ее пострижении в инокини знали немногие и хранили тайну, приехав в свой монастырь, скинула черную одежду, переменяя ее на пышные цветные платья и сарафаны. Опять молода, опять красива!

Евдокия и повела себя царицею. Из Москвы прибыл преданный ей умный карлик Иван Терентьев. Было увеличено число прислуги. В большие праздники и в день рождения царя и царевича в Покровский монастырь из Суздаля приезжали сам владыка архиерей и светские власти — воеводы и ландраты (чиновники высшего класса).

После молебна царица приглашала их в свои кельи и угощала вином, пирогами, рыбными блюдами.

Сельские бурмистры стояли во время празднеств во дворе монастыря. Они приносили красную рыбу, но

царица не допускала их в свои кельи, их кормили за отдельными столами во дворе монастыря.

Посещала в новой карете Евдокия Федоровна близлежащие монастыри и церкви, раздавала милостыню. Оконца в карете были задернуты шелковыми занавесками. Не всем показывалась Евдокия Федоровна.

Но суздальские почести ее не радовали: ждала, когда пригласят в Москву.

Вести же из Москвы были нерадостными. Алексей рано женился на австрийской принцессе, завел русскую девку любовницу, окружил себя староверами, открыто порицал отца и вынужден был бежать с любовницей в Италию.

Петр одерживал победы над шведами на суше и на море, не забывал Анну Монс, но присматривался к экономке Меншикова литовке Екатерине Скавронской.

Пришло время и для Евдокии. Небывалая любовь посетила ее сердце, и так посетила, что Евдокия целиком, как пловец бросается в воду, отдалась ей. Это была любовь к молодцеватому офицеру, майору Степану Глебову, прибывшему в 1710 году в Суздальское воеводство для набора рекрутов. Это была самая чарующая и самая страшная любовь, недолгая, но оставившая след в лирических письмах Евдокии.

VII

Евдокия, выросшая в очень небогатой семье Лопухиных, и в первые год своего замужества — при Петре — жила в довольно стесненных обстоятельствах. В монастыре же, тратя бессчетно монастырские деньги, преобразилась.

Из семи царицыных келий можно было пройти прямо в церковь. А какое великолепное особое закрытое место со слюдяными оконцами было там! Царица, отодвинув бархатные занавески, могла видеть церковную службу.

Евдокии показалось мало одного повара. Их стало два, один готовил мясные кушанья, другой — рыбные. Для посылок из монастыря ежедневно наряжалось шесть человек дневальных только для различных домашних поручений. Из поварни дневальные торжественно носили кушанья до сенной кельи. Молодые монастырские девицы-послушницы из хороших дворян-

ских фамилий принимали кушанья и подавали их с почетом царице.

Евдокия Федоровна, сидя в мягком сафьяновом кресле (кресло было с высокой спинкой), в присутствии послушниц и приближенных монахинь изволила кушать великолепную наваристую уху и разварного осетра под хреном. Все это она запивала из серебряной чары хорошим рейнским вином, за которым специально ездили в Ростов Великий. И опять-таки вино бралось из митрополичьего винного погреба.

Как-то Евдокии Федоровне захотелось, чтобы на обед подали седло дикой кавказской, или, как ее называли знатоки, араратской, козы. Ростовский архиерей послал двух егерей в кавказские пределы, и они через две недели привезли тушу горной козочки.

Царица потребовала жареное ребрышко, а остальное мясо отдала своим приближенным. В архиерейской расходной книге была сделана запись: «Куплено для царицы на Кавказе редкая рыба форель», так как вкушать мясное запрещалось.

Поступала так царица только ради одного: чтобы не уронить достоинства, она очень дорожила своим саном.

И вот однажды в церкви увидела красивого молодого майора. Офицер без стеснения заглянул в окошечко потайной комнаты и улыбнулся. Евдокия закрыла занавеской окошечко, ее поразили глаза офицера — они смотрели ей прямо в душу.

Она спросила свою доверенную монахиню — мать Марфу:

— Кто это?

Та шепотом сказала:

— Майор из коллегии, для набора рекрутов приехал. Богатейший офицер, денег у него бессчетно.

На майора Степана Глебова царица произвела неизгладимое впечатление. Ее овальное личико, глаза с поволокой, пухлые губы, а главное, сознание, что она — царица, заставили его во чтобы то ни стало добиться знакомства с Евдокией.

Духовник царицы протопоп отец Федор обещал Степану познакомить их.

— Сколько возьмешь, отче, за сию услугу?

Протопоп погладил бороду и медленно ответил:

— Уж больно государыня боязлива, тиха и скромна. Сие будет уладить трудно, господин майор.

— Мне иметь плезир с государыней лестно, еще никогда к таким персонам не приближался. Не могу терпеть, нрав весь взыгрался во мне, пойми, отец Федор. Каких лет Евдокия Федоровна?

— Да уж не больно молода, — ответил протопоп, — в нынешнем году исполнится государыне тридцать осьмой. А тебе, поди, господин майор, и тридцати нету? Знакомить ли?

— Прошу тебя, отче, ничего не пожалею. — Глебов сунул три золотых монеты в руку священника.

— Ин ладно, попытаю, а ты припасай подарки. — С этими словами он отправился к царице.

VIII

Евдокия сидела в кресле, опустив голову, надвинув на глаза ажурную наметку: ей было очень нехорошо. Она думала об Алексее — Алеше, Алешеньке, кровинушке. Она думала о Петре Алексеевиче, что сейчас наслаждался любовью с Екатериной. Тяжело ей было. И в это время вошел в келью отец Федор. Лицо его светилось улыбкой, он поклонился Евдокии и ележно проговорил:

— Да благословит тебя господь бог, царица благоверная. С чего ты закручинилась, ясное солнышко наше?

— Скучно, отец Федор, лучшие годы прошли, а что я кроме монастыря вижу? Веришь ли, смотреть не могу на черные рясы, голову кружит. Скажи, отец Федор, как мне быть?

Протопоп присел на край скамьи и добродушно спросил:

— О ком думала, государыня?

— О кровиночке, своем Алешеньке, где он теперь? Поди, и ему тяжело, вон какие выкрунтасы выделяет родной отец...

— А я тебя, царица, хочу утешить, познакомить с благородным кавалером, молодым и богатым... Смотреть на тебя прискорбно, как скучно твои года проходят... Познакомлю тебя с майором Глебовым.

Царица вздрогнула.

— Это не тот ли офицер, что в церкви был? Он на

меня смотрел, поди, и службы церковной не замечал. Спасибо на добром слове, батюшка. Но вот мой сказ — не надо мне никакого кавалера, не знала я и не ведала, что есть любовь, замужем за Петрушей была — ни дня счастья не видела. — Она закрыла руками лицо. — Не любил меня царь, все в отъезде, и любовь его мимоходная, неразговорчивая, грубая любовь. Спервоначала я к нему, Петруше-то, и письма писала, себя Дунькой величала, унижалась, а что? Придет, грубо обнимет, повалит, и вся любовь! А свекровь Наталья Кирилловна твердит: «Не отлучай мужа от дома». Да с ехидцей: «Значит, не гожа ты для Петруши, не имеешь для него привлекательности». И зачнет о себе рассказывать, как ее в молодости муж любил...

Евдокия помолчала.

— Так вот, батюшка, не знаю я, что такое любовь. Слова такого не сыскала. А в мечтаньях снилось, что кто-то придет, обнимет ласково, и буду я для него, яко бирюза.

— Бедная ты, государыня, а все ж я на душу грех приму и представлю тебе майора, без ума от ты парень, без ума.

Царица вздохнула.

— Пойми, отец Федор, выдумала я про козу казскую и про иные яства... К чему мне они? А ежели напрямик говорить — так с дурусти, с тоски то. Ведь меня, отец Федор, Петруша величал дурыней, а свекровь последние годы все говорила: «Глупа ты, дочка». А я ей руку целую: «Правда то, матушка». Она все ж меня, бывало, и защищала... А как умерла — совсем плохо стало, отбился Петруша от рук: все к Монсихе, все к Монсихе, в Немецкую слободу... Да пропади она пропадом, та Немецкая слобода!

— Подожди, государыня, все образуется, будет и на твоей улице праздник, а кавалера хучь для прилику прими...

И он вышел по ковровой дорожке из кельи.

IX

Корыстолюбивый отец Федор наедине сообщил Глебову, что государыня его примет для потаенного разговора.

— Ты ей, господин майор, и выскажи свои чувства,

да и выложи припас — подарок богатый. Скажи: «К ножкам твоим, государыня». И образуется дело-то приветное.

На другой день Степан Глебов в новом мундире при шпаге постучался в келью царицы. За ним шел солдат и нес большой лиловый короб.

— К вашему царскому величеству! — сказал Глебов, падая на колени и целуя протянутую ручку Евдокии. — Прохор, выкладывай, что есть в коробу.

Солдат медленно стал вынимать богатые презенты: меха песцовые, соболиные и сорок соболиных хвостов.

— Для ча мне, монахини, столько добра? — спросила она ласково.

— А чтобы вы, ваше величество согревали свои ножки и ручки, чтобы никакой холод вас не мучил...

— Ну благодарствую, — сказала Евдокия.

Они были одни, солдат вышел. Монахини сидели в прихожей, чтобы не мешать царице и Глебову.

Он тихо подошел к ней, обнял за талию. Она, как замороженная, не шелохнулась.

Он поцеловал ее в губы. Губы были у него горячие, сухие, насквозь прожигали. Он поднял Евдокию на руки, она слабо охнула, и понес ее к закрытой пологом пышной постели.

Х

Как в омут головой, кинулась в эту любовь Евдокия. Ничего не соображала, ничего не замечала, только одно знала — любимый бесконечно Степан, Степушка. Отдавалась ему со всей запоздалой страстью. Ходила легко, присаживалась воздушно, чувствовала себя девочкой. А майор Глебов первое время действительно увлекся Евдокией, ему льстило, что царица-монашка, неприступная с виду женщина, так его возлюбила.

Своему приятелю поручику Скрынину говорил:

— Сия любовь не только утешительна, друг мой, но и умилительна. Нам, военным кавалерам, что надо?

— Надо нам, — перебил поручик, — помарьяжить с бабою, а там на новое место переедем, и опять кралю завести. Ты, господин майор, слишком уж ублажаешь царицу, а ежели разобратся, то что в ней особо привлекательного? Ну, конечно, царица, телом нежная,

а зато все время думай, как бы обида какая ей не вышла, а потом смотри, Степан, коль визнает государь Петр Алексеевич, так не поздоровится, тебя не только чина лишат, а батогом запорют, ей-ей!

— Наплевать, — говорил Степан, — ничего не боюсь я.

Глебов из молодечества афишировал свою связь с царицей.

Однажды Степан явился в монастырь на коне, выпивши, и, шатаясь, взошел на паперть Благовещенской церкви во время заутрени. Мать-казначая Маремьяна приказала послушницам вывести майора за монастырские ворота. Степан рассердился, забушевал, с трудом его удалили. А Евдокия накричала на Маремьяну:

— Черт тебя спрашивает, уж ты и за мной примечать стала...

По ночам Глебов без всякой предосторожности прихаживал к царице. Об этом знали все, даже архиерей, и молчали:

Евдокия писала Степану: «Забыл скоро меня. Не умилостивили мы тебя здесь ничем. Мало знать лицо твое и руки твои, и все члены твои, и суставы рук и ног твоих, мало слезами моими не умею угодное сотворить. Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя, знать, уже злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться. Лучше бы мне, душа моя с телом рассталась. Ох, свет мой. Как мне на свете быть без тебя? Как живой быть? И так бог весть каково ты мне мил. Уж мне нет тебя милее, ей-богу, ох, любезный друг мой. За что ты мне таково мил...»

Глебов эти письма показывал поручику Скрыннину и хвастал:

— Она у меня и руки целует, и ноги.

Евдокия ничего не жалела для Глебова. В лучшей мастерской Ростова Великого она заказала сделать кольцо с сапфиром и бриллиантами.

При отсылке кольца писала ему: «Носи, сердце мое, мой перстень, меня люби, а я такой же и себе сделала».

В другом письме она заклинала его: «Я тебя до смерти не покину, никогда ты из разума не выйдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, я тебя ни на час не забуду».

Глебов не приходит на свиданье.

И опять обезумевшая от любви женщина пишет: «По-

слала я к тебе галстух, носи, душа моя. Ничего ты моего не носишь, что тебе ни дам я. Знать, я тебе не мила».

Степан получил предписание из Московского военного комиссариата о переводе в другую местность. Он с притворным горем сообщает об этом Евдокии.

И опять она пишет ему: «Как мне будет свою любовь забыть, как жить мне без тебя, душа моя. Что ты меня покидаешь, кому меня вручаешь, ох друг мой, ох свет мой!»

Это было в 1712 году. Степан Глебов покинул Евдокию навсегда.

Евдокия несколько дней пролежала в постели и никого не пускала к себе.

XI

Время — лучший утешитель. Царица преодолела, поборола свою любовь. Лежала в постели и думала о своей любви к Степану. Думала, но слез уже не было. Она поняла не умом, а каким-то шестым чувством, что никогда Степан Глебов ее не любил. Она ему нужна была не только как любовница — она подчеркивала его значимость перед другими офицерами, перед всеми, кто ее знал... Как же! Простой майор, не знатных кровей, а любовник самой царицы, матери наследника, женщины древнего боярского рода. Чем мог кичиться Глебов? Богатством? Да, он богат, но богатых людей было в Московии много, дельных офицеров еще больше.

Наваждение, сатана на грех навел! И лет ей уже сорок! Все!

Скрипнула зубами, встала в одной рубашке с постели.

— Грешница великая! — Ударила себя в грудь. — Грешница великая! — упала на колени перед киотом.

И смотрел на нее Иисус Ярое Око. Глядел с осуждением.

Она билась головою о пол.

— Прости меня, великую грешницу.

Мерцающие лампы освещали келью, и слабело горе, и плакала Евдокия уже другими, облегчающими слезами.

С тех пор она больше не вспоминала Степана, ста-

ла прежней Евдокией, царицей Московской, венчанной женой государя Петра Алексеевича.

И счастье посетило ее.

Стоял октябрь. В печке горели березовые дрова. Евдокия сидела в кресле, перебирая четки. В дверь кельи постучали. Послушница робко пропела обычное: «Во имя отца и сына, и святого духа!»

— Аминь, — проговорила царица. — Чего надобно?

— Московский купец Иван Митрич Козаков до вашей милости.

— Пусти, — приказала Евдокия.

Вошел дородный купчина, и бух в ноги.

— Радость великая, государыня. У сына вашего царевича Алексея Петровича родился наследник, и нарекли царевича Петром, как деда. Вашей царской милости братец Абрам Федорович Лопухин приказал вам сообщить.

Евдокия перекрестилась.

— Слава богу, сподобил господь Алешеньку, царский корень умножается.

Она позвонила в колокольчик, стоявший у постели.

Прибывшим монахиным велела ударить благовест и собраться в церкви.

Отправилась в соборную церковь. Шла невидимая, огражденная красными сукнами балдахина, который держали над ней монахины...

Теперь еще большим почетом окружили ее в монастыре. Еще больше пожертвований поступало от богатых людей, от монастырей. Вокруг Евдокии Федоровны образовалась как бы партия приверженцев царевича Алексея. Мечтали: случится что-нибудь с Петром, померет государь, и воцарится на престоле Алексей, сын Евдокии, и будет она вместе с ним управлять государством. И воссияет древнее благочестие над русской землей.

Связь с Москвою, с Кремлем Евдокия держала через юродивого Михаила Босого, который часто бывал в суздальском монастыре, носил подарки от брата Абрама Лопухина, от царевен Марии и Екатерины Алексеевны и от вдовствующей царицы Парасковьи Федоровны, жены старшего брата Петра — царя Ивана V.

Особенно дружна была Евдокия с царевной Марией Алексеевной, посылавшей ей то соболью шапку, то деньги, то сладости. Евдокия благодарила ее через того

же Босого. В 1716 году Евдокия от него узнала, что царевич Алексей Петрович бежал за границу.

ХИ

Царевич Алексей жил в Италии во владениях своего тестя — австрийского императора священной Римской империи. Вместе с ним его любовница, которой он беспрекословно подчинялся.

Петр во избежание международных осложнений послал в Италию к царевичу своего уполномоченного — хитрого и бессовестного сановника графа Петра Андреевича Толстого. Тот уговорил любовницу царевича, обещав ей хорошую и богатую жизнь в России, и склонил Алексея вернуться обратно к отцу.

Петр Андреевич сулил молодому вдовцу царевичу спокойную жизнь в Москве вместе с любимой женщиной.

В феврале 1718 года граф Толстой привез Алексея в Москву.

На другой день по приезде царевич торжественно отрекся от престола.

Вскоре начался кровавый розыск по делу Алексея.

Его обвинили в замыслах против отца, приписывали желание совершить государственный переворот, убить Петра и вернуть государство к старине. Десятки виновных, а также и невиновных были подвергнуты ужасным пыткам и казням. Раздраженный Петр созвал Сенат для вынесения приговора Алексею как изменнику России.

В июне 1718 года в Санкт-Петербурге Сенат вынес большинством голосов смертный приговор царевичу.

Петр, после долгих колебаний, подписал приговор. Чтобы не предавать царевича казни через руки палача, он повелел Меншикову, Толстому и другим приближенным задушить царевича в Алексеевском рavelине.

Это было исполнено. Алексея задушили подушками.

А царица Евдокия ничего не знала о кровавых событиях и спокойно жила в монастыре, щеголяя в нарядах.

Когда в феврале 1718 года Алексей, переведенный в Петропавловскую крепость, давал свои показания перед разгневанным отцом, в Суздале Евдокия все еще надеялась, что она будет снова призвана к власти.

Царевна Мария Алексеевна, узнав о петербургских допросах, послала к ней Михаила Босого с известием о том, что произошло с царевичем.

Босой с посохом, с ведром лимонов, московским подарком, спокойно шествовал в Суздаль. По дороге, чтобы согреться, он заходил на постоянные дворы, где его угощали вином и обедами. Почти у самого монастыря он вдруг увидел, что его обгоняет большой конный отряд гвардейцев под командой капитан-поручика Скорнякова-Писарева. За отрядом спешили конные подводы.

Босой понял, что идти в монастырь уже нельзя, и он, наняв лошадь, приехал в деревню брата царицы Степана Лопухина, где его через несколько дней поймали.

Виною этому был допрос царевича восьмого февраля. Под пыткой несчастный показал, что при встрече с теткой Марией Алексеевной та ему поведала: «...отец твой будет болен и во время болезни его будет некое смятение, и придет-де отец в Троицкий монастырь на Сергиеву память, и тут мать твоя будет же и отец исцеляет от болезни и возьмет ее к себе и смятение утешится».

Этого показания было достаточно, чтобы возбудить в Петре гнев против Евдокии. Ему сказали, что царица давно скинула монашеское платье и ходила в светском. Об этом Петр узнал в допросе по суздальскому розыску: «А по некоторому известно царскому величеству явилось, что она, бывшая царица, монашеское платье с себя скинула и ходила в мирском».

При обыске у царицы капитан-поручик Скорняков обнаружил документы, изобличавшие Евдокию в связи с приближенными царевны Марии Алексеевны. Всех живших в монастыре и весь церковный причт, и некоторых светских лиц Скорняков отправил в Москву.

С дороги Евдокия писала Петру:

«И ныне я надеюсь на человеколюбие вашего величества и щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия того моего преступления, о прощении, чтоб мне безгодною смертью не умереть. А я обещаюсь по-прежнему быть инокою и пребыть в иночестве до смерти своея и буду бога молить за тебя государя. Вашего величества нижайшая раба бывшая жена ваша Авдотья».

Сидя в кибитке, Евдокия думала, что это письмо смягчит сердце ее бывшего мужа, но она не догадывалась, что в эти часы Петру докладывал Меншиков после допросов приближенных Евдокии о ее связи со Степаном Глебовым.

Петр был возмущен. Петр был взбешен. Он бегал по судебной палате, топал ногами, приказал привести Евдокию на очную ставку с Глебовым. Забыв о том, что Евдокия была его женой, он извергал на нее потоки грязных выражений. Называл ее всякими позорными прозвищами.

— Слушай, Дунька, — кричал он на стоявшую на коленях жену, — сучка приبلудная, напиши признание, что со Степкой блудно жила.

И она писала.

«Февраля двадцать первого дня я, бывшая царица старица Елена, привожена на Генеральный двор и с Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила, в то время, как он был у рекрутского набора: и в том я виновата. Писала своею рукою я Елена».

Написав, Евдокия упала в обморок. Петр приказал облить ее водой и не давать ей перемены белья. Обесилевшую, ее отнесли в тюремную камеру.

ХІІІ

В это страшное для Евдокии время она окаменела. Понимая происходящее, она внутренне застыла сердцем. Тихо отвечала на вопросы вельмож, кланялась, но вот диво-то какое — ничего не ощущала, кроме пустоты. Ничего не страшилась. Ей было все равно: пусть холод, голод, боль.

В начале марта 1718 года высшие духовные особы: архиереи и архимандриты, а также господа министры, князь Ромодановский, генерал-фельдмаршал Борис Шереметев, граф Иван Мусин-Пушкин, адмирал Апраксин и другие сановники подписали приговор по Суздальскому делу, утвержденный косым росчерком государя: «Быть по сему Петр».

Архиерей Ростовский и Суздальский Досифей и монастырский ключарь Федор Пустынный казнены. Степан Глебов посажен на кол. Игуменью Марфу и старицу Каптелину били кнутом и сослали в тюрьму

Александровской слободы, царевну Марию Алексеевну отослали в Шлиссельбургскую крепость.

Царицу Евдокию провели мимо места казни. Два преображенца держали ее за руки. Она видела плаху с отрубленной головой Федора, отрубленные, ровно мясником, руки и ноги архиерея Досифея, и самое ужасное, выведшее ее из прострации, — высокий деревянный кол и на нем окровавленное тело Степана с выпученными глазами, из которых сочилась кровавые слезы. Он был еще жив.

Евдокия закричала дико, и в глубоком обмороке была посажена в кибитку.

В середине апреля 1718 года Евдокию, которую теперь называли былой царицей, монахиней Еленой, доставили в бедный разоренный девичий монастырь.

В больной поседевшей женщине в грубой черной рясе нельзя было узнать прежнюю красавицу Евдокию Федоровну Лопухину-Романову.

Когда ее привели в маленькую холодную келью настоятельницы, она упала на колени перед убогим деревянным иконостасом и промолвила:

— Господи, прости меня, грешную.

Из всех монастырей вряд ли был более жалкий, чем Ладожский. Ограда и забор сломаны, через монастырь проложена проезжая дорога. Капитан Семен Маслов, ответственный за Евдокию, не знал, как ему быть. По инструкции, данной ему в Петербурге светлейшим князем Меншиковым, двенадцать преображенских солдат должны были денно и ночью охранять Евдокию, ходить караулом вокруг монастыря. Денег же на содержание ее Петербург не выслал. Первые месяцы Маслов из собственного жалованья кормил былую царицу. Однажды Евдокия, дрожа от озноба (в келье она замерзала), попросила у офицера:

— Господин капитан, вели принести мне суконные портянки и лапти, дабы я ноги распухшие свои могла согреть.

И жалобно заплакала.

XIV

Монахиня Елена, или «известная персона», как именовали в казенных бумагах царицу, теперь заботилась только о своем существовании.

— Мне бы, господин капитан, дожить спокойно, — говорила она капитану Маслову искренне. — Только бы увидеть, когда внучонок мой Петруша Алексеевич на престол дедов сядет.

На что Маслов возражал:

— Не след вам, монахиня, о сем мыслить. Я-то, вас жалеючи, не донесу, а как бы другие ябеду не послали в Сенат.

Елена отвечала, низко кланяясь:

— Спасибо вам, я, грешная, лишь с вами от души говорю. И за вас матушке царице небесной молюсь.

И действительно, капитан, как только мог заботился о своей подопечной.

Он привязался к этой женщине, так много пережившей, и неоднократно просил Меншикова, чтобы улучшить положение Елены, о постройке для нее теплой кельи: «Потому, что в сие зимнее время от стужи и от угару zelo изнуряется и одержима сильною болезнью».

Елена была религиозна, но ходить в монастырскую церковь не могла — служить там было некому: два старичка-иеромонаха умерли. «От великих ветров в церкви отвалилась кровля и во время дождевое над святым престолом и жертвенником бывает великая течь», — писал Маслов в Петербург и требовал присылки священника для церковной службы.

Только в 1723 году кое-как отремонтировали церковь и прислали иеромонаха.

— Спасибо вам, батюшка, — благодарила капитана Елена, — только вашей милостью и живу.

Она теперь стала спокойнее. Император Петр Первый скончался от простуды в 1725 году.

Из монастыря, что совсем разорился от бедности, Елену перевели в более сносные условия — в Шлиссельбургскую крепость.

Екатерина Первая, недалекая, но добрая императрица, захотела облегчить участь бывшей жены Петра Первого, и в 1726 году тому же капитану Маслову приказано было для «известной персоны» покупать муку крупчатку и к столу подавать папошники и пирожки и прочие кушанья ежедневно хорошие.

Екатерина, сама любившая, видимо, поесть, интересовалась, имеется ли при особе добрый повар. Те-

перь на содержание отпускали тысячу рублей в год — Елене, иеромонаху и двум келейщикам.

— Поблагодари, господин Маслов, Екатерину Алексеевну за ее милости ко мне, бедной инокине, и напиши, что я, грешница, прошу у ее императорского величества, чтобы назначаемые мне на содержание денежные суммы выдавали на руки.

Вечерами Елена беседовала с иеромонахом и Масловым, угощая их горячим сбитнем, читала вслух божественные книги и говорила об иконах — почему одни хороши, а иные не так. Спать ложилась рано. Но часто ночами спала плохо. Шлиссельбургская крепость все же есть крепость: и часовые ходят дозором, и надоедливо звучат стук ружей при смене караула и монотонные возгласы: «Слушай, слушай!»

XV

В Российской империи кроме правительствующего Сената при Екатерине Первой был еще утвержден Верховный тайный совет. В сущности совет и управлял всей державой. В нем были две правящие дворянские группировки. Светлейший князь Меншиков стоял во главе того молодого дворянства, которое вышло вперед при императоре Петре Великом. Во второй были древние дворянские роды: князья Долгорукие, Голицыны...

При Екатерине самым всеильным был Александр Данилович Меншиков. Императрица подчинялась всем желаниям фаворита и подписывала указы только с его ведома и согласия.

Больная почками императрица вскоре скончалась, и на трон вступил император-подросток, сын Алексея Петровича — Петр Второй.

Живой, вспыльчивый, он подчинялся только своей любимой сестре Наталье, красивой и своенравной девушке. Естественно, что и Меншиков, и Долгорукий стремились привлечь их на свою сторону

Победил Меншиков. Он вошел к ним в доверие и сумел свою младшую дочку сделать нареченной невестой государя. Во всех церквах теперь возглашали о здравии государя, его сестры и благоверной княжны-невесты.

Князья Долгорукие негодовали. Сын старого Василия Лукича Долгорукого был приятелем императора. Веселый транжир и кутила, он дурно влиял на Петра.

В Шлиссельбургской крепости по-прежнему тихо живет монахиня Елена. О ней все забыли. Как она верила, как ждала того момента, когда Алешин сын, ее ненаглядный внучонок, станет императором! Неужели он не вспомнит о ней, своей родной бабушке? И когда это будет?

От капитана Маслова она знает, в какой силе находится Меншиков.

— Забыл меня Петенька, да где ему, мальчику-то, вспомнить о бабушке. Пиры и забавы голову вскружили! Да и невеста тут же рядом! О, господи! Невеста-то кто? Дочь Меншикова! Горестно мне, тяжело мне! Но что же делать? На старости в крепости сидеть? Нет, перекрещусь, подавлю гордыню, напишу!

И вот стареющая «известная особа» пишет письмо своему врагу, принимавшему непосредственное участие в ужасной судьбе сына и виновнику ее бедной жизни в Ладожском монастыре.

Вечер. Свеча оплывает, да и без свечи видно — июнь, белая ночь. У свечи жужжат надоедливо комары и мошки. Они не дают покоя. Она их отгоняет, но они садятся на руки, на лицо... Сыро тут, кругом вода, вот и развелась эта нечисть.

Письмо Меншикову образец эпистолярного стиля. Оно написано уважительно, с чувством собственного достоинства.

«Генералиссимус, светлейший князь Александр Данилович. Ныне содержусь в Шлиссельбурге, а имею желание, чтобы мне быть в Москве Новодевичьем монастыре: того ради прошу предложить в Верховном тайном совете дабы меня повелено было в оной монастырь определить и определено бы было мне не скудное содержание в пище и в прочем и снабдить бы меня надлежащим числом служителей, и как мне, так и определенным ко мне служителям определено бы было жалование, и чтоб оный монастырь ради меня не заперт был и желающим бы ко мне свойственникам моим и свойственницам вход был не возбранный.

Вашей высококняжей светлости богомолица монахиня Елена.

Июля девятнадцатого дня тысяча семьсот двадцать седьмого года».

Положение Александра Даниловича в Верховном совете становилось шатким. Его обвиняли как главное лицо в деле царевича Алексея.

Молодой император зло косился на светлейшего, нехотя разговаривал со своей невестой.

Князь Василий Лукич Долгорукий на заседании совета вежливо спросил:

— Любезнейший Александр Данилович, дошли до нас слухи, будто первая супруга блаженной памяти императора Петра Алексеевича в Шлиссельбурге в великой нужде живет.

Александр Данилович, невысокий, кареглазый, с большой Андреевской звездой на камзоле золотого шитья, в парике, обсыпанном серебряной пудрой, поднялся с кресла и ответил также вежливо.

— Князь Василий Лукич, монахиня Елена живет без нужды в тепле и холе, а ныне изъявила свою волю — просить Верховный совет перевести ее милость в келью Новодевичьего монастыря, о сем она мне слезницу подала.

Меншиков зачитал письмо Елены.

Вице-канцлер барон Остерман, хитрый худощавый немец в коричневом камзоле, сделал вид, что зело удивлен.

— Какое ужасное событие! Я прямо уязвлен в самое сердце: бабка нашего всемилостивейшего императора проживает в крепости, аки преступница!

Совет постановил с почетом перевести бабку государя, ее величество царицу Евдокию Федоровну, а ныне монахиню Елену, в Новодевичий монастырь, отпустив для переезда тысячу рублей, и переезд поручить бригадиру Буженинову.

Письмо монахине отправил и князь Меншиков, составив его в самых почтительных выражениях с обращением: «Государыня моя святая монахиня» — и заканчивая: «От всего моего сердца желаю вам с помощью божией в добром здравии прибыть в Москву и там бы ваше монашество видеть и свой должный отдать поклон».

Монахиня Елена второго сентября приехала в Москву и остановилась в Новодевичьем монастыре в палатах, где жила царевна Екатерина Алексеевна.

Меншиков в эти дни смутно чужал беду. Вице-канцлер Остерман первого сентября не явился на его зов, хотя в совете и присутствовал. Третьего сентября тот же Остерман на повторный вызов прислал с лакеем записку: «Почтеннейший Александр Данилович, я заболел подагрой и посему явиться лично не могу».

Александр Данилович назвал его сукиным сыном. Пишет немец «почтеннейший», а не именует, как полагается, «ваша светлость». Тут что-то недоброе кроется. Да, именно недоброе. Да и князь Василий Лукнич Долгорукий вчера спрашивал в Верховном совете: «Как ваше здоровье, сударь? Опять-таки не «светлость»...

Меншиков ходил по своему обширному кабинету, грузно вдавливая каблуки модных туфель с изумрудными пряжками в пушистый ворс чудесного персидского ковра, что ему преподнес бухарский купец Сафар. Томило светлейшего предчувствие. Верил в предчувствия Александр Данилович.

Мысленно ругал себя: не мог заранее бабке государя устроить доброе житье. Вспомнил, как при минхерце Питере держал бывшую царицу в холодном Ладожском монастыре, не отпускал денег на ее содержание. Плохо сие, мерзко, гадко.

Вытащил из камзола золотую с бриллиантами табакерку. Взял щепотку тертого с фиалками табака, нюхнул, но удовольствия не восчувствовал...

Обвиняют враги в казни царевича Алексея Петровича. Нашептывают молодому государю, что это дело его рук, его — Александра Даниловича. Да! Сие страшное дело исполнял он и другие ближние вельможи по приговору об измене царевича, измене России.

Да, он, Меншиков, пусть и вор, и наградил имущества больше головы, миллионы у него на руках, но он все же не изменник, нет! Ежели надобно сие повторить, то хоть и тяжко, а он повторит — за Петра и Россию. Кровь пролить за сие ежечасно он готов.

Слуга внес канделябр с красными восковыми свечами.

Свечи горели благородно, не дерьмо какое-нибудь, не сало собачье, что воняет, а воск пчелиный, и запах от них тоже благородный.

За окном оклики, скрип колес, конский топот.

Взглянул в окно.

Подводы. Солдатский конный эскадрон. Шум.

В двери стук, лязг. Разговор вольный, громкий.

И входит без почтения, бряцая шпорами, знакомый полковник лейб-Семеновского полка. В руках бумага с печатью, и читает ее во всеуслышанье. За ним солдатские лица.

— Ты, Александр Данилов сын Меншиков, — читает полковник, — за свои гнусные и богомерзкие дела подлежишь ссылке и по воле его императорского величества Петра Второго и указу Верховного тайного совета сего восьмого дня сентября лишаешься всех званий, дворянства, орденов и чинов, поместий, двorcов и всего имущества. Ссылке тоже подлежит вся твоя семья.

Меншиков стоял молча, а на него с большого парадного портрета смотрел сурово друг его и повелитель Петр Первый. И колебались ярким пламенем восковые свечи в канделябре.

XVII

В кельях Новодевичьего монастыря было тепло, уютно, пахло ладаном.

Евдокия отдыхала, спокойно вкушала смешанное с водой церковное вино, закусывая рассыпчатой просвирой.

— Отлились волку овечьи слезки, — тихо сказала, узнав от келейницы Василисы о судьбе Александра Даниловича.

Перекрестилась.

— А семейство ихнее по-христиански жалко, ни в чем оно не повинно. Ни девушки, ни парень. Господи! Вчера в князи, а ныне в грязи...

За последнее время Евдокия несколько огрузнела, как говорили монастырские власти, «изволила стать телом повальяжнее».

Вице-канцлер Андрей Иванович Остерман получил из Москвы от монахини Елены письмо, в котором она просила устроить ей свидание со внуком.

Остерман доложил об этом императору и великой княжне Наталье Алексеевне и через последнего курьера из Петербурга цветисто писал монахине Елене, что «об ужасном и неслыханном прежнем содержании ее в Шлиссельбурге докладывали императору и великой княжне и оные купно со всеми добрыми людьми

от всего своего сердца сожалеют и будут стараться, дабы ваше величество всеми возможными образы паки обрадовать».

Юный государь и великая княжна распорядились выдать бабке десять тысяч рублей и послали ей свои портреты. А Наталья Алексеевна еще и презент изящный — в кожаном переплете молитвенник.

И вновь, когда Евдокия обрела прежнее величие, к ней вернулось спокойствие. Это была уже не та Евдокия, что в Суздальском монастыре мечтала о власти. Нет! Хотя она держалась, как царица, но говорила со всеми ровно, доброжелательно, к какому бы рангу люди ни принадлежали.

Внука отблагодарила вышитой золотыми и серебряными нитями звездой и лазоревой лентой. «Носи, мой свет, — писала она, — на здоровье, не покручинься, мой батюшка, а я, грешная, низала своими руками. Будь над тобой милость божия и мое благословение».

Наталье тоже послала звезду своей работы, но не лазоревую, а красную.

XVIII

Все, что произошло с царицей-бабушкой, напоминало сказку из «Тысячи и одной ночи».

Четвертого февраля Петр Второй прибыл в Москву для коронации. Русские цари короновались только в первопрестольном граде — Москве.

В подмосковном доме грузинской царицы юный государь еще до въезда в столицу свиделся с царицей-инокиней. Петр Второй, одетый в парадный костюм, с белым лицом, на котором выделялись яркие губы и голубые глаза, прикрытые удивительно густыми ресницами, при виде бабки почтительно встал на одно колено и поднес ее руку к губам.

Он удивился тому, что бабка, несмотря на полноту, ходила легкой, грациозной походкой и глаза у нее были живые и даже веселые. Петру приятно было, что держалась она как истая аристократка — просто, вежливо и добродушно.

— Здравствуй, внучек. — Поцеловала его сначала в лоб, а затем по-родственному в щеки и губы.

— Бабушка, великая государыня, — сказал он дрог-

нувшим мальчишечьим голосом и прижался головой к ее груди.

И во время приема она сидела в кресле, а он почтительно стоял.

Девятого февраля 1728 года в журнале Верховного тайного совета в Москве записано: «Его величество на месте своем садиться не изволил, а изволил стоять и объявил, что его величество по имеющейся своей любви и почтении к ее величеству государыне-бабушке своей, чтоб ее величество по своему великому достоинству во всяком удовольствии содержана была».

Об ее здоровье теперь с уважением ежедневно спрашивали правители государства Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын. При царице был утвержден штат с гофмейстером генерал-майором Измайловым, на содержание которого отпущено шестьдесят тысяч рублей ежегодно. Но царица, испытавшая в жизни много горя, ничего, кроме покоя и общей любви за помощь бедным, не желала.

Она никуда не выходила и только прогуливалась по монастырскому саду.

Вместе с внуком она оплакивала преждевременную кончину Натальи Алексеевны в конце ноября 1728 года, смерть, глубоко потрясшую Петра. Он грустил и никогда не забывал сестры.

Бабке сказал:

— Наташа была единственная у меня и радость и счастье.

Его заставили согрешить с дочкой Василия Лукича, вернее, подставили девушку императору в минуту его опьянения. И объявили ее невестой государя.

На этом обручении присутствовала и государыня-бабушка.

— Напрасно, светик мой, — сказала она внуку, — коль особой любви нет, — напрасно!

— Не могу, бабушка, — ответил Петр, — не могу, обязан как честный человек.

Ему было тогда всего пятнадцать лет.

Долгорукие правили Россией. Долгорукие вершили ее судьбой, предоставив государю вольную и кутежную жизнь.

В январе 1730 года Петр Алексеевич занемог. У него открылись оспа и горячка, и двадцать девятого января

юный император скончался, все время вспоминая свою сестру.

Семью Долгоруких при вступлении на престол племянницы Петра Великого вдовствующей герцогини курляндской Анны Ивановны постигла судьба Меншиковых.

Как известно, Долгорукий и Голицын составили особый документ, с «пунктами», ограничивающими власть Анны Ивановны в пользу аристократии, который она подписала.

При содействии гвардии Анна Ивановна условия нарушила, документ разорвала и предала ссылкам, пыткам и казням верховников. Верховный тайный совет был уничтожен. Власть перешла к фавориту Анны Эрнсту Бирону.

К царице-инокине Елене, присутствовавшей при коронации, Анна Ивановна отнеслась с почтением, обнимала и целовала ее, называя государыней-тетушкой, и велела оставить и прежнее содержание и штат.

Вскоре, двадцать седьмого августа 1731 года, скончалась на пятьдесят пятом году жизни и царица-инокиня Елена, в миру Евдокия Федоровна Лопухина, пережив и своего супруга Петра Великого, и сына Алексея, и внука Петра. Похоронена она в Новодевичьем монастыре.

РОССИЯ НА ГАУПТВАХТЕ

Иван Павлов служил в лейбгвардии Павловском полку. Как и подобает павловцам, был курнос, широкоплеч и голубоглаз: таков в полку обычай — все должны быть одного ранжира, цвета глаз и курносы. Император Павел Петрович создал свой полк по образцу и подобию своему, яко господь бог Саваоф.

Когда полк в высоких киверах, темно-зеленых куцых мундирах, белых лосинах вышагивал, а не шел (при государе Павле только вышагивали) по Марсову полю — картина была феерической. Не верилось, что это люди, — так едины поднятые носки сапог; ложись на мостовую, смотри лишь на ноги (ать-два! ать-два!) и не заметишь никакого отклонения — машины, артикулом предусмотренные: носок к носку — линия геометрическая!

Государь однажды самолично изволил прилечь на землю, не пожалел мундира. Дождь моросил, а он, священная коронованная особа, лежа, в подзорную трубу следил за четким журавлиным шагом; и лишь когда весь полк прошагал мимо, он вскочил и в великой радости приспел:

— Хвалю молодчиков! По чарке за мой счет! — И командиру: — Милосдарь! Произвожу вас в генерал-майоры!

Полковник — с коня и государеву ручку лобызать.

— Раб вашего величества до конца дней своих!

Государь обошел фронт. И чем-то понравилась ему физиономия Ивана Павлова. Тот заворуженно большими глазами взирал на императора.

Государь остановился перед ним:

— Кто?

— Иван Павлов, ваше императорское величество.

— Ишь ты! Павлов! — Государь улыбнулся. — Фамилия хороша, вид исправен. Сколь служишь?

— Третий год, ваше императорское величество.

— Осмелюсь доложить, — сообщил шедший сзади Павла Петровича командир полка почтительно, — рядовой Павлов субординарен и грамотен.

— Субординарен? Хорошо! Грамотен? Для солдата лишнее. — Государь постоял минуту, подумал. — В сержанты Ивана Павлова за отличие по фрунту! — И дальше зашагал, поправляя треуголку, только пудренная косичка, засунутая в кожаный футлярчик, подпрыгивала. — Молодцы павловцы!

— Рады стараться, ваше императорское величество!

В казармах новоиспеченный генерал-майор вызвал в дежурное помещение Ивана Павлова. Генерал лично не знал его — разве всех солдат упомянешь? Это дело ротного и фельдфебеля. Рапортовал же он о Павлове, желая сделать приятное государю. Теперь, рассматривая солдата, нашел в нем и субординацию и преданность. Только в одном сомневался, грамотен ли.

— Скажи-ка, братец, грамотен ты?

— Так точно, ваше превосходительство! Мой крестный Востряков — конторщик господ Межаковых — обучил. Писать и считать могу, ваше превосходительство.

И то, что Павлов поименовал его по новому генеральскому чину, привело командира в отличное настроение.

— Поздравляю тебя, господин сержант. В какой роте примешь полувзвод?

— Покорнейше просил бы, ваше превосходительство, определить меня в куаферы и цирюльники.

Генерал поморщился.

— Где сие мастерство приобрел?

— С десяти лет в Москве в мастерской мусью Андре. У господина Межакова служил, его самого, барчуков, барыню и барышню причесывал. Ненароком госпожу опалил щипцами, и сдали меня по рекрутской квитанции. Опосля пожалела госпожа, только я уже записан был в присутствии и не захотел вернуться.

— Не могу, братец. — Генерал посмотрел в окно: на плацу сержанты и капралы учили солдат штыковому

бою.— Не могу. Вдруг государь спросит о тебе? Что я ему скажу? В цирюльниках служит? Он меня не похвалит. Иди в роту.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

Иван Павлов по-установному повернулся — любо-дорого посмотреть! — и, четко отбивая шаг, вышел.

— Хорош сержант! — вслух сказал генерал.

В Михайловском замке в нижнем этаже — апартаменты цесаревича Александра Павловича и его молодой супруги Елизаветы Алексеевны. Они живут в постоянном страхе. Страх липкий, еженощный, именно еженощный. Александр Павлович боится: ночью разбудит его стук прикладов и грубых солдатских сапог — и его по приказу самодержца всея России Павла Первого арестуют, препроводят в крепость, а жену постригут в монахини. В истории государства Российского таких примеров не счесть.

Да, не любит цесаревич своего папашу, не любит. И тот смотрит на сына с подозрением, да и как не смотреть, когда покойная бабка Екатерина только и мечтала, чтобы ее старший внук, минуя отца, стал императором.

Волнуется Александр, плохо спит и просыпается с черными кругами под глазами.

— Плохо, сударь, выглядишь, — говорит ему утром отец, когда Александр приходит в императорский кабинет пожелать доброго утра. — Плохо выглядишь, милосударь. Все небось вспоминаешь, ваше высочество, бабушкину опеку, ась?

— Я, государь, вас почитаю и о вашей здравии молюсь.

— Чего молиться? Я здоров, всегда в заботах об обывателях, об армии. Вам манкировать службой нельзя, я выбью из всех вертопрахов и умников, кои в столице проживают, потемкинский дух!

Павел Петрович приближает к нежному красивому лицу сына грозящий палец.

— Иди, ваше высочество, и помни, что самодержец — я и могу поступить по примеру прадеда, Велико-го Петра.

Александр выскальзывает из кабинета почтительно, в коридоре вытирает батистовым платочком слезы обиды и страха. Он считается командующим петербургской

гвардией, но только считается — он целиком под контролем отца.

Цесаревне, наливающей ему из серебряного кофейника утреннюю чашечку кофе, Александр жалуется тихим звенящим голосом.

— Ох, дорогая Элиз, батюшка опять шпынял меня. Невыносимо!

* * *

Екатерина Вторая любила старшего внука Александра, воспитанного ею, мало сказать — любила, она возлагала на него великие надежды как на преемника. Да и верный ее друг и первый советник Потемкин считал:

— Александр Павлович достоин быть государем и по характеру мягкому, дипломатичному: он, матушка, ваш возлюбленный внучек, мягко стелет, да жестко будет спать. Воспитали его швейцарцы да вольтерьянцы, а он, милый наш баловень, все по-своему делать будет — большой актер! Александр Павлович истинно и по крови, и по нраву ваш внук и царствовать по-вашему будет.

— Да, — Екатерина улыбалась мечте. — Ты всегда, Григорий Александрович, мои мысли угадываешь. Хочу издать манифест о неспособности Павла Петровича править империей и объявить наследником Александра. Пусть Павел живет в Гатчине или Павловске на положении удельного князька, для занятий больше батальона солдат ему не дам, а то камуфляж устроит! — И со вздохом: — А там видно будет...

— А там, матушка... всякое бывает.

— Хорошо бы, Гришенька, от султана Царьград отвоевать и сделать Константина греческим царем.

— Я сам о сем проекте думаю...

Но не успел Григорий Александрович, светлейший князь Таврический, сие исполнить — умер в знойной степи по дороге из Крыма. И умирал он, привыкший к роскоши, лежа на пыльной земле, прикрытый простым военным плащом.

Всякое в жизни бывает...

Екатерина написала все же манифест. Держала его у себя в кабинете в тайнике, но медлила сдать в правительственный сенат для утверждения. И вдруг удар — речи лишилась и правая рука отнялась.

Лежала и смотрела на придворных с ужасом. Зна-

ла, что в опочивальню вошла смерть. А примчавшийся сынок, урод упрямый, наскоро поцеловав у покойницы руку, стуча ботфортами, искал в кабинете документы. Спасибо графу Безбородко — умный хохол: хладнокровно понюхав табачок из золотой табакерки, сказал:

— Не волнуйтесь, Павел Петрович, сей документ, о коем вы изволите беспокоиться, силы не имеет, сенатом не утвержден, а пошукаем мы тамочка...

Видно, знал, где находится манифест. Достал шка-тулку. Павел Петрович взломал ее, нашел бумагу и об-легченно:

— Слушайте, граф, я ваш должник! Оставайтесь на-всегда моим помощником. — И обнял его.

И был прав: Безбородко для государя старался изо всех сил.

Став императором, Павел утвердил закон о престо-лонаследии, чтобы не было дворцовых переворотов, как после смерти Петра Первого. Теперь престол переходил по старшинству, и Александр Павлович стал цесаревич-чем.

Зная о бабушкином проекте, Александр ночами пла-кал от досады. Вот почему с утра цесаревич жил под постоянным страхом отцовского гнева.

* * *

Ивану Павлову в цейхгаузе выдали сержантский мундир с двумя широкими золотыми шевронами на ру-каве. Взял он полувзвод в пятой роте, где раньше слу-жил. Там и ротный капитан Епифанов выслужился из рядовых в офицеры и носил на груди золотую медаль за взятие Измаила, а фельдфебель Глебов был земляком из Кадниковского уезда.

— С тебя, землячок, магарыч причитается, — встре-тил Ивана пятидесятилетний, с нафабранными усами Глебов. — Далекое пойдешь теперича, ишь, сами госу-дарь император изволили тебе улыбнуться.

— С моим удовольствием, только перенесу свой скарб в сержантскую.

— Сам не тащи. — И фельдфебель приказал ново-бранцу перенести вещи господина сержанта на новое место.

* Безбородко А. А. (1747—1799) — выдающийся русский дипломат. С 1797 г. — канцлер.

Для сержантов роты было в казарме особое помещение, и спали они не вповалку на войлоках, а на деревянных кроватях, и у каждой кровати — тумбочка.

Капралы-дядьки находились вместе с солдатами, а фельдфебелю полагался отдельный закуток.

Павлов в приватное время брил и причесывал офицеров роты и делал это не как казенный цирюльник, а по-художнически, чем и снискал уважение ротного Епифанова, поручиков Олсуфьева и Хвостова, прапорщика Гусева, и не только уважение, но и толику денег, так что угостить приятелей Иван мог.

Послали денщика за вином, сайками, солеными огурцами и студнем, благо трактир находился в том же квартале...

В роте была строжайшая дисциплина. Солдаты старались не подводить ротного и фельдфебеля, да и собственные спины берегли: чуть что — и шпицрутены. Никто из рядовых и капралов никогда не выдавал своих начальников, если они были люди, а не звери, как в четвертой роте, где капитан Михалевский и офицеры тиранили солдат.

Вот почему солдаты, проходя мимо фельдфебельского закута, поощрительно косили глаза на дверь.

— Гуляет Ваня с Авксентием Егорычем, шевроны празднуют, прокурат парены!

Заглянули к фельдфебелю капитан Епифанов и поручик Олсуфьев, молодой человек без фанаберии.

...Под вечер зажег сальную свечу Авксентий Егорович и долго сидели они с Иваном, вспоминая с тоской вологодские леса, рыбные озера, рубленные в кряж избы... вспомнили и родичей, фельдфебель — сына, Иванова ровесника, что нес теперь тягло у помещика Поздеева.

— Уж такой скаред, такой мучитель! Чтоб ему в аду гореть, да не сгореть! — сказал в сердцах о Поздееве Авксентий Егорович.

— Да и мои господа не лучше, только повальяжнее.

* * *

У Ивана в селе Никольском, в главном поместье Межаковых, что на реке Уфтыге, осталась любовь — горничная Дуняша, беленькая, худенькая, с льняной косой. Чтобы барышне Наталье Александровне было веселей учиться, гувернантка-француженка учила и Дуня-

шу. Приходский дьякон, семинарист, преподавал девочкам начатки закона божия, письма, чтения и арифметики. Потом барышня уехала в Санкт-Петербург в Смольный институт, и Дуняшу произвели в горничные. Надели серый холстинковый сарафан, повязали белый платочек на косы, и спала она теперь, как солдат, на войлоке у дверей барыниной спальни.

Будучи в добром настроении, когда ее причесывал Иван, госпожа говаривала:

— Жан, подрастет Дуняша — выдам за тебя, определю месячину, поселю во флигеле и даже корову подарю, только старайтесь!

Иван благодарил, барыня смеялась:

— Сын будет — определю в куаферы, а девочка — в горничные. Довольны?

Но стоило Ивану щипцами — уж больно барыня торопилась, муж и карета ждали: надо было поспеть в Вологду в дворянское собрание на бал, — стоило Ивану чуть опалить голову госпожи — боже! — что тут поднялось! Разгневанный барин послал Ивана на конюшню.

— Там тебя, любезный, научат осторожности.

Кучер Федька, любимец Межаковых, коротконогий, силы неимоверной, сам имевший виды на Дуняшу, так выпорол Ивана, что тот больным трое суток пролежал на печи в избе у матери, барской кружевницы.

Тот же Федька и отвез Ивана в Вологду, где по приказу помещика сдал в рекруты.

Барыня через неделю вспомнила об Иване. Ни девушки, ни приезжий кадниковский цирюльник не могли сделать прическу, как надо.

— Александр! — требовала она от мужа. — Ты же потомственный дворянин, тебя знает губернатор, вели вернуть Жана. Если надо, дай исправнику барашка в бумажке.

Межаков поехал в Вологду.

— Иван Павлов — казенный человек, — со вздохом сказал исправник, отказываясь от конверта с деньгами, — ничего сделать не могу. Хлопочите у майора.

Воинский начальник — плац-майор Веретенников посоветовал:

— Уговорите Ивана Павлова подать слезницу губернатору и под ней утвердите свою подпись, но помните в виду, что Иван Павлов по всей сути и комплекции подлежит зачислению в лейб-гвардии Павловский

его величества полк, о сем уже послана в канцелярию полка бумага.

Помещик встретился с Иваном Павловым в присутствии плац-майора. Парень не смотрел на Межакова и отвечал только Веретенникову:

— Никак нет, ваше благородие, к помещику не пойду, буду верой и правдой служить богу, царю и отечеству.

Так ни с чем и уехал Межаков в Никольское.

Пришлось нанять в Москве немца — куафера Франца и платить ему жалованье втридорога. Барыня успокоилась, хотя и не забыла о гордом Иване Павлове.

Вспоминали его мать, кружевница, да горничная Дуняша.

Дуня каждый год на пасху посылала ему через казенную почту письмецо, от своего и материнского имени кланялась и желала доброго здоровья и многих лет жизни.

Только третье письмо барыня перехватила: принесла его старая ведьма Елена Петровна — приживалка противная.

— Подумаешь, какие нежности! — воскликнула барыня. — Переписываются! Кто? Солдат и холопка! — Брезгливо разорвала письмо и надавала Дуне пощечин. — Ты смотри, я тебя, мерзавка, учила не солдатам письма сочинять! Запрещаю впредь это делать! В скотницы пошлю! Выдам замуж за Федьку-кучера, дерзкую!

Дуня плакала, в ноги барыне кланялась. Ничего не поделаешь — сердце гневом кипит, но разве возможно за кучера Федьку! Уж петля лучше! Вот и кланяйся!

— Простите, сударыня, пожалейте сироту!

— В первый и последний раз. — И барыня протянула ручку для поцелуя.

* * *

Обширная Вологодская губерния, утвержденная матушкой Екатериной Второй, простиралась аж до уральских пределов. Уезды по величине все равно что немецкие королевства и герцогства.

Уездов было десять: Вологодский, Грязовецкий, Тотемский, Вельский, Велико-Устюжский, Никольский, Сольвычегодский, Яренский и Устьысольский; кроме старинных городов, еще четыре поселения произвели в

ранг городов уездных: Вельск, Грязовец, Кадников, Никольск.

Крестьянское население разделялось на три части. В восточных уездах преобладали казенные черносошные крестьяне, пользовавшиеся самоуправлением. Экономические жили на бывших монастырских землях: по указу о секуляризации монастырские владения, отнятые у церковников, переходили в ведомство государства — экономического департамента. Крестьяне платили в казну большие подати: рубль пятьдесят, а иногда и рубль семьдесят в год с мужской души. Занимались не только хлебопашеством, но и добавочными промыслами: валили лес, гнали деготь, плотничали, рыбачили, женщины ткали, плели кружева. Многосемейные залезали в долги, продавали свои надель, а крепкие хозяева, для которых подушная подать была нестрашна, расширяли свои земли, брали батраков, выходили в богачи. Несравненно хуже было положение третьей части — бесправных помещичьих крепостных крестьян. Преимущественно барские вотчины находились в Вологодском, Кадниковском и Грязовецком уездах. Помещики накладывали оброки на своих крестьян гораздо большие, чем платили крестьяне казенные. Те же крестьяне, которые ходили на барщину, испытывали неимоверную тягость подневольного труда. Помещики и управители заставляли их работать по четырнадцать часов на барских полях. Когда же помещик строил поблизости от своей усадьбы завод, то крепостным становилось совсем невоготу.

У Александра Михайловича Межакова в Никольском уезде был большой винный завод, дававший в год двадцать тысяч ведер водки. У богача Осипа Алексеевича Поздеева в Архангельском — стекольный. Условия труда у Поздеева были невыносимые: крепостные, работая у плавильных печей, обязаны были также заготавливать для завода уголь и песок. Под новый, 1797, год крепостные в селе Архангельском не выдержали, бросили работу, а семьдесят человек, вооружившись дубинами и поленьями, ворвались в барский дом.

— Кровопивец! Не секи крестьян! Не мучай стариков! Не гони на барщину по воскресеньям!

Прислуга разбежалась, семья помещика схоронилась на антресолях, кто-то из толпы ударил барина кулаком по шее.

Просвещенный масон отставной полковник Осип Поздеев упал на колени:

— Братцы! Все исполню по вашему желанью! Помилуйте только!

— Перекрестись! На икону гляди! Кланяйся пониже! И Поздеев крестился, как дятел лбом стучал об пол. Крестьяне ушли.

— Надо царю писать о барине, просить, чтобы нас в свои дворцовые крестьяне поверстал, — выйдя из ворот усадьбы, переговаривались крепостные.

Старый дьячок Николай Лаврентьев, грамотей и добряк, сочинил слезное прошение государю Павлу Петровичу. Снарядили мужики трех ходоков, снабдив их деньгами и харчами.

— Добирайтесь до самого царя-батюшки!

Но до царя, конечно, не дошли — в Вологде их арестовали, прошение отобрали, в полиции наказали розгами и отослали обратно к помещику.

Поздеев написал генерал-прокурору сената князю Лопухину о дерзком непокорстве крепостных, о том, что угрожали ему смертью и что он надеется на присылку войск для усмирения, потому что «в крестьянах видим явно готовящийся бунт, весьма похожий на пугачевский».

По императорскому указу послали в Архангельское генерала Репнина и пехотный батальон с двумя пушками.

Мужики при виде генерала с солдатами «повинились», и все обошлось без кровопролития — отделались повсеместной поркой.

Вологодский епископ, которому помещик пожаловался на своевольного дьячка Лаврентьева, перевел его с семьею в нищенский приход в Усть-Сысольск, к зырянам, куда Макар телят не гонял.

Вот о каких помещиках вспоминали, сидя в казарме, старый фельдфебель и молодой сержант. Свеча оплывала в медном шандале, в казарме храпели усталые, замуштрованные солдаты и мерной поступью вышагивали дневальные.

* * *

Император был внимателен и всякий раз спрашивал командира Павловского полка об Иване.

— Как поживает мой сержант Иван Павлов?

На что генерал докладывал:

— Старается, государь, изрядный воин.

— Пусть старается, мы его не забудем.

На разводе, когда в нем участвовала пятая рота, Павел Петрович, обходя строй, выкликнул Ивана.

— Всем ли доволен, сержант?

— Покорно благодарим, ваше императорское величество!

— Претензий не имеешь?

— Никак нет, ваше императорское величество!

— А ну покажь, сударик, артикулы своего взвода.

И на плацу взвод Павлова не подвел своего сержанта: ходил в атаку до того монолитно, до того ранжирно, вышагивал парадным маршем так слитно, что государь хлопал в ладоши.

— Молодцы, павловцы! Теперь экзертиции на кобыле.

И на кобыле солдаты экзертиции проделывали точно, словно шутя, брали высоты и после прыжка становились не на пятку, а на носок.

— Удружил, Иван Павлов, ей богу удружил! — Генералу приказал: — Представить сержанта на аттестацию военной коллегии на офицерский патент.

В казарме генерал не решился называть Ивана на «ты».

— Везет вам, сержант, вот что значит милость государя и к тому же примерное старанье.

Аттестацию сержантов проводили в канцелярии лейб-гвардии Преображенского императора Петра Великого полка. Экзаменаторами были три генерала: санкт-петербургский военный губернатор граф Пален, егермейстер граф Кутайсов и генерал-поручик барон Ламсдорф. Патенты выписывал полковник Васильев.

Экзамен держали пять сержантов из полков лейб-гвардии Павловского, Измайловского и Царскосельского гусарского. Канцелярия мрачная, большая, наводящая трепет на присутствующих. На длинном, покрытом зеленым сукном столе — зеркало, символ присутствия самого императора, папки с делами представленных на аттестацию, чернильницы с остро отточенными гусяными перьями, серебряные шандалы с красными восковыми свечами. На стене в золоченой раме портрет Павла Первого.

Генералы сидели за столом в креслах, сбоку полковник Васильев перелистывал патенты, чтоб внести в них чин и фамилию фендрика (младшего офицера).

Для аттестуемого у стола — простой стул.

Перед экзаменом Кутайсов, бывший денщик и кауфер Павла Петровича, предупредил графа Палена:

— Ваше сиятельство, государь изволит особо отличать сержанта Павлова.

— Не обидим сержанта, граф. — Пален достал золотую табакерку с вензелем императора, предложил: — Не угодно ли? Табак тертый, голландский, с фиалкой.

Генералы заложили в ноздри по понюшке голландского с фиалкой, вдохнули и враз громогласно чихнули.

— Прелестный табачок! — похвалил Кутайсов.

Барон Ламсдорф, аккуратный прибалтийский немец, пожелал генералам доброго здоровья.

Генералы утерли носы белоснежными платками, поблагодарили.

— А вы, барон, не желаете?

— Не занимаюсь: и денежкам перевод, и нос краснеет.

У Ламсдорфа нос был, как спелая вишня, и не от табачку, а от чрезмерного пристрастия к рижскому бальзаму.

Полковник Васильев взглянул на большие канцелярские часы.

— Пора начинать, господа генералы. Кого первого прикажете вызывать? — И снял с зеркала шелковое покрывало.

Кутайсов решил:

— Начнем с гусара.

Павел Петрович не жаловал царскосельских гусар, считал их любимчиками покойной матушки, баловнями, вольнодумцами.

Адъютант полковника Васильева, маленький мордастый прапорщик, стоявший у двери, приоткрыл ее и зычно:

— Сержант гусарского полка князь Белосельский!

Позванивая шпорами, держа в левой руке кивер и волоча по полу блестящую саблю, вошел черноволосый юноша в красном с желтыми шнурами мундире, с белым, отороченным мехом ментиком и остановился, на три шага не дойдя до стола.

— Князь Сергей сын Петров Белосельский прибыл по вашему приказу! — отрапортовал он.

— Садитесь, князь, — вежливо указал глазами на стул Пален (он был председателем).

— Ответьте, сударь, что есть субординация? — задал вопрос егермейстер Кутайсов.

— Субординация означает беспрекословное подчинение приказам и распоряжениям начальства. Нарушение сих правил суть преступление, караемое военным судом. Устав воинский должен быть исполняем всеми чинами от солдата до генерала, — отчеканил гусар.

— Перечислите, князь, — ласково попросил барон (он уважал родовитость) священных особ царствующего дома.

— Государь император Павел Петрович, его супруга государыня императрица Мария Федоровна, государь цесаревич Александр Павлович, его высочество великий князь Константин Павлович...

— Довольно, — перебил его Пален, — выйдите.

Генералы посовещались. Пален и барон были за присвоение Белосельскому чина корнета, а Кутайсов — лишь вице-корнета.

Пален все же настоял на чине корнета.

Вызвали Белосельского. Полковник заполнил патент, генералы подписали. Васильев приложил казенную печать с двуглавым орлом. Вручал патент Пален.

— Господин корнет, желаю вам верой и правдой служить его величеству и офицерское звание носить достойно, с честью.

Корнет, ошарашенный патентом, горячо поблагодарил комиссию и, выйдя в коридор, где на скамье сидели сержанты, проговорил:

— Не смущайтесь, господа, комиссия ныне добрая, прошу вас ко мне завтра в воскресный день в Царское: ералаш устрою, друзья.

Сторожу-инвалиду, что проводил его на улицу, он дал полтину. Тот гаркнул:

— За что милуете, ваше благородие?..

Вторым вызвали Павлова.

Пален сесть не предложил, барон смотрел строго, сержант из рядовых — фигура не важная: не князь, не дворянин — пусть постоит, ноги не отнимутся. Кутайсов же был доброжелателен.

— Покажи, сударь, шаг-марш и артикулы.

Павлов отчеканил шаг. Механизм, а не человек. Кутайсов командовал повороты, перебежки... Генералы, люди военные, дивились, хвалили.

Барон умиленно:

— Такой сержант равен офицерам его величества короля Пруссии.

— При чем тут Пруссия? — улыбнулся Кутайсов.

Спрашивали воинский устав. Знал хорошо. Дали читать книгу — прочел с выражением. Продиктовали — писал грамотно, почерком щегольским. Выдали патент офицерский с присвоением чина подпоручика за отличное знание службы.

— Не споткнется — далеко пойдет. — Пален поморщился. — А все же, по-моему, давать офицерство рядовому из крепостных... — и замолчал, понял, что попал впросак: граф Кутайсов тоже из денщиков, турок крещеный... Покраснел. — Я имею в виду, конечно, господа, не всех. Перед нами, например, его сиятельство граф Кутайсов, верный слуга его величества, достойный наш собрат.

Кутайсов сделал вид, что удовлетворен извинением, а сам подумал: «Ну, погоди, граф, аристократ чухонский, погоди!»

Барон Ламсдорф не слушал генеральскую перепалку — был под впечатлением упражнений Ивана Павлова. Какой тут балет сравнится с тем, что показал здесь сейчас новоиспеченный подпоручик. Вот какого бы офицера ему в дивизию!

Подпоручику Павлову выдали деньги на обмундирование, месячное жалованье не в зачет, предоставили двухнедельный отпуск и прогоны на две почтовые лошади.

Всем произведенным в офицеры из податного сословия присваивалось личное дворянство. Когда же офицер дослуживался до майорского чина, он становился потомственным дворянином с правом получения из департамента герольдии герба и записи в родословные книги вместе с женой и детьми.

Иван Павлов теперь жил в комнате офицерских казарм и имел денщика Петра Савельева — старого солдата с двумя медалями, дослуживающего двадцатипятилетний горемычный срок.

— Ваше благородие, — вытянулся он перед Ива-

ном, — не сумлевайтесь, я хочь и старая косточка, но услужу вам с полным усердием.

— Да что ж ты, дядя Петр, величаешь меня? При людях — куда ни шло, а так — зови Иваном Васильевичем, как царя Ивана Грозного, — пошутил Павлов и обнял Савельева.

Фельдфебель Авксентий Егорович навестил Ивана Павлова, и снова выпили по чарке хлебного, и пил с ними вместе дядька Петр Савельев.

— Намедни капрал Нестеров сказывал: осерчал государь на батальон гренадеров, не так, что ли, артикулы ружейные делали, — рассказывал фельдфебель. — Государь скомандовал: «В Сибирь — шагом марш!» — и повернулись офицеры и солдатики и двинулись походным маршем считать версты... К вечеру смилостивился Павел Петрович и послал адъютанта на коне; чтобы батальон обратный ход дал. Так они уже почитай шестьдесят верст по Московскому тракту отмахали!

— Генерал Аракчеев в Новгороде одного егерька до смерти шпицрутенами запарол. До того озверел генерал, что егерек уже не дышит, а его все тянут сквозь строй! — сокрушался Савельев.

Ивану было тяжело слушать солдатские разговоры. Сам знал, каково терпеть под розгами, самого стегали на конюшне до потери сознания, и теперь на спине и ягодицах белые шрамы.

И решил Иван ехать на родину, предстать в офицерском звании перед барином и потребовать сатисфакции. Конечно, хотелось ему и старуху мать и Дуняшу повидать: как там они живут?

Генерал, командир полка, подписал нужные бумаги.

— Рад, подпоручик, вашей фортуны, отдохните на лоне природы. — И генерал пожал Ивану руку.

Не забыл Ивана Павлова и барон Ламсдорф. Уж очень ему приглянулся подпоручик. Съездил в Павловский полк к командиру.

— Не откажите в любезности, генерал, — сказал слащаво.

— В чем, барон?

— У меня в дивизии вакансия ротного командира. Не могу ли рассчитывать, что вы переведете на сию вакансию подпоручика Павлова? Я же вашу доброжелательность не забуду и всегда протекцию окажу. Вы полком командуете, а я через графа Кутайсова походатай-

ствую, чтобы Вам в моей дивизии быть бригадным генералом.

Это было лестное и заманчивое предложение: бригада не полк — в бригаде два пехотных полка, артиллерийская батарея и кавалерийская часть.

Командир павловцев долго думал, дымя из чубука душистым табаком. Перевести Павлова можно — сие в его власти. А коли узнает государь император? Разъярится, закричит: «Так-то вы лучших офицеров бережете — из моего полка в другой переводите!»

— С удовольствием бы, господин барон, исполнил ваше желание, но затрудняюсь — не заслужу ли гнев его величества?

— Не заслужите, генерал, уверяю вас, ведь сие произойдет с согласия государя через графа Кутайсова.

— Ну ежели так, то сами понимаете, без промедления отпущу подпоручика. Всеконечно надежду имею, что заодно государь подпишет приказ о моем назначении бригадным в вашу, барон, дивизию.

На этом генералы и расстались со взаимным респектом и весьма довольные.

* * *

Император Павел издал указ от пятого апреля 1797 года, в котором увещевал помещиков, держащих на барщине крестьян, проявить к ним отеческую заботу, не заставляя работать всю неделю, а три дня на себя, три дня на барина, в воскресенье же ходить в церковь и отдыхать.

Землевладельцы встретили царский указ насмешливо и зло.

— При Великой Екатерине такого безобразия не бывало, господин над крепостными властитель, сам знает, как надобно с мужиками обходиться. На то указ Петром Третьим о вольностях дворянских был дан.

Помещик Поздеев разъезжал по соседям и жаловался:

— Государь обездолить нас, верных слуг, похотел. Не подчинюсь ему.

Александр Межаков, рачительный и жестокий хозяин, насмеялся:

— Я сделаю по-своему: пусть мужичок шесть дней на меня трудится, шесть ночей на себя, а в воскресный

день после обедни на барской усадьбе дров напилил — сие для него полезно.

Мужики горевали. Видать, правду деда сказывали: «До бога высоко, до царя далеко!»

Подневольный труд из-под палки на ненавистного барина не только тяжел, но и не плодотворен. Ежели у Межакова урожаи были хороши, то это шло за счет удобрений с конского завода и скотного двора. У крестьянина же и земля была беднее и удобрений с одного коняги и замухренной буренки кот наплакал, а зерно прорастает в ней иногда не хуже, чем на помещичьих угодьях: она, земля-матушка, — живая, чувствует всем нутром своим заботливые мужицкие руки, да и пропитана мужицким соленым потом. И хотя заставляли управляющие и надсмотрщики крепостных работать не разгибая спин, все равно у многих помещиков урожаи выходили низкие; это злило их, и вымещали они неудовольствие на мужичьих спинах.

У небогатого дворянина-одногодворца, отставного прапорщика Николая Назарова земли всего пятьдесят десятин, семья большая: сам хозяин, трое здоровых сыновей-подростков, двое взрослых дочерей, жена из поповского рода. Скотины — четыре лошади, пять коров, да еще овцы, свиньи, куры и гуси.

Николай Назаров и его сыновья не стеснялись ходить запросто в домотканом. Выезжали на поле — на ногах ступни — и с помощью двух работников и пахали, и боронили, и лес корчевали — работали допоздна не хуже мужиков, а по огороду и дому справлялись хозяйка, стряпуха и дочери.

Назаров водил дружбу с соседними казенными крестьянами, и когда бывало трудно справляться с хозяйством, устраивал «помочи». Крестьяне с охотой помогали, и Назаров устраивал для них обед и ужин: резали овцу, ставили ведро хлебного вина и бочонок пива.

По праздникам семья прихорашивалась. Николай Васильевич надевал коричневый сюртук и кожаные сапоги, сыновья по-купчески — суконные поддевки и красные рубахи, дочери и хозяйка — платья с буфами и козловые туфли.

Помещики глядели на Назаровых свысока, здоровались еле-еле, прикладывая пальцы к шляпе, но не снимая ее, а те только плечами пожимали: «Ну их к ляду, бар-то этих!» Урожай у Назаровых при их скудном вла-

лении высокий, зерно и льны отличные, продают выгодно; сливочное масло нежное и вкусное (от губернатора и прокурора за ним ездили); кони сытые, лощеные. И сами хозяйева — кровь с молоком. Дочери — бесприданницы, но такие хозяйки, такие рукодельницы, что старшую, Ольгу, просватал молодой губернский чиновник, что на виду у начальства. Младшая, Вера, ходила пока в невестах, хотя женихи из Вологды уже наведывались.

К этим однодворцам по пути в Никольское заехал с визитом гвардейский подпоручик, бывший крестьянский сын Иван Павлов. Несколько лет назад он к престольным праздникам из уважения причесывал девиц и хозяйку, и поэтому был встречен не только с большим уважением, но и радостным гостеприимством.

Николай Васильевич Назаров, обнимая Ивана, восклицал:

— Молодец ты, господин офицер, меня, старика, за пояс заткнул — в гвардии служишь! Чем же тебя угощать? Жена! Все, что есть в печи, на стол мечи.

За обедом, обильным и сытным, молчали. Назаров придерживался старомодных правил. Только слышалось односложное: «Попробуй поросенка, молочный, словно масло. Выкушай еще чарочку зверобоя, полезительное, лечебное».

После обеда в комнате хозяина разговорились.

— Не ведомо ли вам, Николай Васильевич, о моей матушке?

— Плетет кружева твоя старушка, не беспокойся. Славная мастерица, господа ею дорожат. Вологодские барыни ее кружева хвалят.

— О Дуняше что слыхать?

— Барышня ихняя Наталья Александровна из Петербурга прибыла. Горда и своенравна, прости меня господи. Ключница Анфиса Петровна у нас была — ездила за чаем и сахаром в город — да и посидела с женой и Верочкой часочек. Тиранит барышня Дуню-то, за косы треплет. Жалко девку, заступиться за нее некому.

— Как бы ей помочь, Николай Васильевич, не посоветуете? У меня малая толика серебром есть.

— Об этом и моя Вера просила. Они с Дуняшей, когда той вольготнее жилось, подругами были. Сам, Ва-

ня, знаешь, Дуняша сублильная, ласковая, к побоям непривычная.

— Я у него сатисфакции потребу, я — гвардии подпоручик, личный дворянин...

— Все справедливо, Ванюша, и гвардион ты, и в милости у генералов, а сатисфакции тебе не будет. Дуэли царем запрещены, это двух месяцев гауптвахты будет стоить, и разжалуют тебя в рядовые. И мыслить о сем не моги! Нам с тобой с вельможами не тягаться!

— В чем же вы, Николай Васильевич, видите спасение?

— В смирении, голубчик, в смирении. Не маши руками, вижу, не монашек, а что поделаешь? Явись к Межаковым с чистым лицом, веселым, забудь про обиду, скажи: на родину, мол, потянуло, мамашу повидать, про службу расскажи, а уж потом о Дуняше. А ты точно ее любишь?

Назаров внимательно из-под седых бровей взглянул на Павлова. Иван закрыл глаза, мысленно представил худенькую Дуняшу, ее тихий, робкий голос... Как тут отвечать? Четыре года прошло, как не видел ее. Да, была когда-то первая любовь, жалость к девушке-сироте. Редкие письма... Вот и все, пожалуй.

— Жалею я ее, Николай Васильевич, насчет же любви — не знаю, но для Дуняши готов, яко для сестры младшей, унизиться перед знатным барином. Мамашу бы да Дуняшу выкупил.

— Коли так, то ступай, господин подпоручик, в Никольское, благо твои почтовые заждались. Не подумай, не гоню, свою бричку бы дал, да опасуюсь — неудобство выйдет, узнает Межаков, что ты гостил у Назарова, а меня господин Межаков не очень жалует. Езжай на казенных, а к нам — милости просим, завсегда рады приветить.

На крыльцо вышли хозяйка и Верочка, высокая черноволосая девица с ясными карими глазами.

— Приезжайте в гости, Иван Васильевич! Дуняше кланяйтесь, вызволите ее, бедняжку.

Ямщик взмахнул кнутом. Отдохнувшие лошади весело побежали по весенней дороге, бойко зазвенел колокольчик.

Александр Межаков в шелковом халате перед сном в кабинете читал присланные ему вологодским полиц-

мейстером «Санкт-Петербургские ведомости». Грузный, с двойным подбородком и большим мясистым носом, с пронзительными серыми глазами, он производил внушительное впечатление.

В дверь постучали. Камердинер Егор Ефимович, согнувшись, словно его сейчас палкой огреют по спине, остановился у порога.

— Что приключилось? Зачем беспокоишь?

— Ваша милость, из столицы Иван Павлов на казенных лошадях прибыл, сидит у своей родительницы.

— Ну и что? Подумаешь, солдат приехал! Документы проверил?

— Они не солдат, они их благородие.

— Какое благородие? Что ты, Егор Ефимыч, несурязицу плетешь?

— И не простое благородие, ваша милость, а гвардейское. «Доложи, грит, барину, что по разрешению начальства в отпуск лейб-гвардии Павловского полка подпоручик Иван Павлов».

— И что еще сказывал офицер? — удивился Межаков.

— «Доложи, что хочу иметь беседу с его милостью», то есть с вами, барин.

— Да, — почесал подбородок Межаков, — маху мы дали, наказали зря из-за жениной прихоти. Только подумать! Офицер первейшего, любимейшего государева полка! Кто знает, может, и до генерала дослужится, примеры тому есть!

— Вы же, батюшка, их наказывали, когда они дворовыми были, то не в зачет...

— Ты, Ефимыч, подпоручика устрой, где гости останавливаются, постель чистую с подушками дай, ужин накрой — ему у старушки тесно и неудобно, — а завтра я его приму с удовольствием.

— Слушаюсь, все деликатным манером устройю.

— Да вот еще что, — спохватился Межаков, — где Федька, кучер?

— В Данилов Ярославский господин управляющий на лошадях отправил отвезти ихнего сынка погостить к тетушке. Там у них усадебка махонькая.

— Отлично. Значит, не будет глаза мозолить офицеру.

Ложась спать, Межаков долго беседовал с женой, та удивлялась, выпрашивала:

— Ой, господи! Куафер — и вдруг столичный офицер... Ты, Александр, непременно его к фриштыку пригласи, любопытно очень.

— Все, матушка, из-за твоих капризов.

— Успокойся, милый, не было бы сего — и Жан по-прежнему бы дворовым служил, у меня даже мысль была поженить Жана и Дуняшку.

— Купил бы офицер Дуняшку... Я продал бы! Мне кучер Федька надоел, просит Дуняшку замуж, а та кричит: «Удавлюсь!» Повесится — убытку рублей на сто серебром!

— Страсти испанские! — Барыня зевнула.

— Покойной ночи, мой друг.

— Спи спокойно, мой ангел.

Межаков задул свечу.

* * *

Барышня Наталья Александровна после окончания Смольного скучала в Никольском.

Дом — что дворец, комнат много, парк тенистый. В оранжерее цветы диковинные, южные плоды. У папеньки библиотека занятая... А все не по нраву. Соседки кажутся дурочками, балы в дворянском собрании убогими. Нет, это не Петербург! И, вымещая свою скуку, Наталья Александровна издевалась над горничной Дуняшей. Никак бедняжка не могла угодить привередливой барышне. Чуть что не так — по щекам. Или хлыстом, с которым на лошади амазонкой ездила, так отлупит, что у Дуняши слезы градом. А барышня еще досадует: «Противная, выводишь меня из терпения!»

Наталья Александровна сухопара, узкоплеча, нос папенькин, глаза большие, серые, глядит на окружающих свысока: «Не понимаете мою возвышенную душу!» А чего тут понимать? Одно у барышни желание — замуж выйти, не остаться старой девой; ах, как это неприятно — старая дева! А ей ведь уже двадцать один год; все ее подруги замужем!

— Дунька! — зовет она и, рассматривая миловидное похудевшее лицо горничной, приказывает: — Рассказывай, что на селе делается.

— Ничего, барышня, все по-прежнему, а сплеток я не слушаю.

— А ты, дура, соври что-нибудь, видишь — скучаю!

— И врать не могу, барышня, не таковская.

Так повторялось почти каждое утро. Но на этот раз Дуняша была взволнована. Румянец на щеках, а руки, надевавшие на барышнины ножки чулки, дрожали.

— Барышня, Иван Васильевич приехал из Петербурга.

— Какой Иван Васильевич?

— Помните Жана — куафера, которого в солдаты ваш папаша сдал?

— Помню, и что с ним?

— Лейб-гвардии офицером Жан сделался. На неделю сюда прибыл, не узнаете его, барышня, красавец в мундире.

— Ты-то чего, дурица, разыгралась? — Барышня ловко носком туфли ударила под подбородок склонившуюся Дуняшу.

Та промолчала.

Наталья Александровна дольше чем обычно просидела у трельяжа. Она в Смольном наслышалась о превратностях судеб придворных: сегодня ничтожество, а завтра князь. При матушке Екатерине и императоре Павле это никого не удивляло.

Лакей Петр пригласил барышню на фриштык в малую столовую. Там, держась руками за спинки стульев, уже стояли отец и мужественный молодой офицер в щегольском мундире, белоснежном жабо, чисто выбритый, в буклях по форме, золоченые пуговицы сверкали.

Отдавая रिшпект, офицер по-гвардейски щелкнул каблуками.

— Представляю тебе, Иван Васильевич, дочку Натали. Ты ее девочкой помнишь?

— Помню, сударь, я им косу убирал, а они серчали: «Жан, поскорей, надоело!»

Вошла барыня, сели за стол. Лакеи бесшумно вносили на серебряных блюдах кушанья. Телячьи котлеты с оранжерейной спаржей, нельму под сметанным соусом, белозерского судака по-польски, суфле с бисквитами и, конечно, разнообразные вина и наливки.

Желая сконфузить офицера, Наталья Александровна спросила:

— Какие поэтические пьесы привлекают вас, Жан?

— Служба воинская отнимает много времени, сударыня. Из поэзии предпочитаю славные вирши Гавриила

Романовича Державина и басни господина Дмитриева, они суть забавны и поучительны.

«Здорово его там обтесали за четыре года!» — подумал Межаков. — Хоть за царский стол сажай.

После фриштыка Иван вежливо попросил барина уделить ему для приватного разговора полчасика.

— Что ж, подпоручик, пошли в кабинет, а ты, Ефимыч, пришли нам по чашке кофия...

Иван еще накануне вечером после встречи с матушкой (сколь обрадовалась старушка, даже сказать нельзя) зашел в гости к господскому старшему конторщику, крестному Дмитрию Вострякову. Крестный когда-то обучил мальчика и счету и письму, он держал книги церковно-славянской и гражданской печати и слыл в Никольском ученым человеком. В барской конторе его уважали и к праздникам представляли к денежным наградам. Жил Востряков в отдельной избе, убранной по-городскому. Сын его Петр давно уже выкупился на волю и служил по откупам в Кадникове.

Крестный послал дочку Сонечку за Дуняшей, и та, закутавшись в платок, чтоб не приметили, дрожащая, пришла к Востряковым.

На Ивана смотрела, как на божество.

— До чего же вы, Иван Васильевич, пригожи. Привелось-то вас увидеть в таком почете. — И на вопрос Ивана: «Хочешь ли, Дуняша, я тебя выкуплю на волю?» — ответила понуро: — Да где ж у вас, голубчик, такие деньги? Я и так счастлива, что на вас поглядела.

— Не горюй, Дуняша, попытаюсь с барином поговорить, — сказал Иван. — Если бог поможет, будете и ты и матушка свободны.

— Вы бы, Иван Васильевич, матушку выкупили.

— За матушку барин дорого спросит, — вставил свое слово крестный. — Ее кружева в городе высоко ценят. Елена Прокофьевна всякое умеет: и заграничное, и наше местное. А за тебя деньги авось небольшие спросят.

Дуняша смотрела в глаза офицеру.

— Нет уж, Иван Васильевич, предоставьте меня моей горькой судьбине.

— Погибнешь ты тут, Дуняша, — голос поручика задрожал. — Смотри, как исхудала, в какой затрапезе ходишь! А ведь ты грамотная, по-французски разговаривала! Ну иди пока.

... — Я слушаю, подпоручик. — Помещик, удобно раз-
валяясь в кресле, медленно прихлебывал кофе из фар-
форовой чашечки. — Чем могу тебе одолжить?

— Уступите, сударь, Дуняшу, — тихо произнес Иван.

— Желаете приобрести мою крепостную?

— Так точно, сударь. Не приобрести, а просить,
чтобы вы написали ей вольную.

— Ну-с, а деньги, милейший, есть?

— Имеются, сударь. Сколько за нее?

— Сто рублей серебром, — сказал веско. — Грамот-
ная, обхождение знает, вышивает.

Облегченно вздохнул Павлов. У него как раз с жало-
ваньем было в портфеле сто двадцать рублей серебром.
Ему желалось выкупить и матушку, пусть поживет ста-
рушка вольной, а деньгами помогут в Петербурге сослу-
живцы, возьмет у казначея под долговую расписку.

— Ваша милость, сколько возьмете за мою матуш-
ку?

— Не обессудь, Иван Васильевич, — Межаков прият-
но сощурился, — никак не могу, понимаю твое сыновнее
чувство, но не могу: твоя старушка великолепная плетет,
волшебница, — супруга и дочка меня б со света сжили.
Да ей неплохо у нас в Никольском, тепло, сам понима-
ешь, ей руки застудить нельзя; мясчиной не обижаю.
Что касаясь Дуняшки, велю в конторе бумагу соста-
вить. Коль ты такой добродетельный, не для забавы
берешь, а на волю отпускаешь, я не сто, а только во-
семьдесят серебром за нее возьму.

Межаков позвонил в колокольчик и вошедшему слу-
ге приказал:

— Вина принеси, два бокала, фруктов...

Когда Наталья Александровна узнала, что Дуняша
теперь вольная, рассердилась.

— Зачем девку отпустили? Она умелая камерист-
ка. — Подошла к отцу, обняла за шею. — Ты, папа, эти
деньги мне отдай, я наряды из Петербурга выпишу, а в
горничные Катьку возьму, обучу ее. Я это делать умею.

* * *

Европа волновалась. Летели короны с августейших
голов. Победоносно вздымались французские орлы на
трехцветных республиканских знаменах. Великая бур-
жуазная революция, пройдя по развалинам монархиче-

ских режимов, породила человека, положившего конец революционным устремлениям.

Армия генерала Наполеона Бонапарта, первого консула Республики, возглавляемая молодыми талантливыми полководцами, выходцами из крестьянских и городских низов, наносила сокрушительные удары войскам чванливых родовитых генералов, герцогов и августейшего императора.

В Италии, в Африке, у египетских пирамид и сфинксов, стояли когорты корсиканского завоевателя.

Гордый Альбион — Британия, владычица морей, терпела унижительные поражения на море: французский флот топил английские корветы и фрегаты, крейсируя у побережья владений его величества короля Англии и императора Индии. Но вскоре в Англии появился великий флотоводец, нанесший контрудар французам, — адмирал Нельсон.

Европейские монархи с надеждой взирали на Михайловский замок, где жил курносый российский самодержец, принявший по просьбе Мальтийского ордена рыцарское звание магистра.

Австрийский император униженно умолял Павла Петровича спасти Италию, захваченную Бонапартом, просил слезно, чтобы союзную австро-русскую армию возглавил старый фельдмаршал, живший в ссылке в селе Кончанском Новгородской губернии, — Александр Васильевич Суворов.

Английский посол в Петербурге неоднократно посещал канцлера Безбородко с посланиями сэра Питта, сулившего России золотые горы, если она направит в Италию Суворова.

Император Павел не любил и не понимал Суворова, который не жаловал субординацию. Павел считал, что солдат не должен мыслить, а офицер умничать. Для генералов-павловцев солдат являлся лишь механизмом, артикулом предусмотренным, а Суворов считал, что каждый солдат должен понимать свой маневр. Император и фельдмаршал были личности несовместимые. Суворов зло смеялся над пудреными буклями и кургузыми павловскими мундирами, над пристрастием к немецким строевым порядкам. Он предпочитал удобную екатерининскую форму и частенько в Кончанском говаривал: «Букли не порох, коса не тесак, а я не немец, а природный русак».

Читая о победах Бонапарта в «Ведомостях», Суворов восклицал: «Далеко шагает, широко шагает мальчик, пора бы его унять».

Обо всем этом через соглядатаев знали в Петербурге. «Чудит старик», — смеялись придворные генералы.

Бонапарт действительно шагал широко. И как только его не называли: «тиран французский», «бич королей», «антихрист», «корсиканское чудовище»...

В России запретили произносить слова «гражданин» и «патриот». Это напоминало республику. Велели именовать: «обыватель» и «верноподданный».

Александр Николаевич Радищев, приговоренный Екатериной Второй за «Путешествие из Петербурга в Москву» к сибирской каторге и возвращенный Павлом в Россию, в свою деревушку, возмущался:

— Истинно! Захочет бог наказать — лишит разума! В кои времена диоклетиановы живем!

Наконец Павел, которому желалось прослыть рыцарем, покончившим с «корсиканским чудовищем», приказал выделить часть войск для соединения с австрийцами и похода в Италию.

Суворова вызвали в Петербург в Михайловский замок.

Александр Васильевич не замедлил и спешно предстал перед лицом императора.

— Граф Суворов Рымникский! — просипел император торжественно. — Поручаю вашему водительству армию как Главнокомандующему и верю в вашу испытанную мудрость и храбрость. — Протянул свою руку, и фельдмаршал почтительно поднес ее к губам. Ему не хотелось злить Павла.

— Государь, не уроню русской чести.

— Прислушайтесь, граф, к советам австрийских генералов.

— По силе возможности, ваше величество, но дурацких советов терпеть не намерен, на свой разум надеюсь.

Павел взглянул на сухонькую фигурку фельдмаршала, на его решительное лицо и вздернутый седой хохолок и махнул рукой.

— Воюй, как знаешь, только побеждай.

Перед отъездом в действующую армию к Суворову на петербургскую квартиру зашел его племянник, молодой офицер, и увидел удивительную картину: посреди

зала расставлены стулья и фельдмаршал легко перепрыгивает через них.

— Что вы, дядюшка! В ваши годы разве сие возможно?

— Возможно, мой друг, возможно, помилуй бог, учусь через горы альпийские перепрыгивать!

Так начинался беспримерный в военной мировой истории суворовский поход.

* * *

Елена Прокофьевна Павлова, кружевница, мать офицера и крепостная господ Межаковых, хотя и называли ее старушкой, именно старушкой, ласково, уважительно, была еще в полной силе — ей исполнилось шестьдесят, выглядела она бойкой, проворной и работала кружева споро, красиво. И какие, боже ты мой, были эти кружева: невесомые, растительного узора — вологодские! Плела Елена Прокофьевна и заморские: барыня дала на погляд фламандские — мастерица пригляделась к ним, свела на бумагу сколок и выплела. Взглянули господа и ахнули: тоньше и, главное, живее, чем фламандские, получились!

Презентовали Межаковы несколько кружевных манжет и отделок на парадные платья губернаторше, та в них в Петербург поехала и, будучи на балу в доме князей Васильчиковых, удостоилась одобрения ее высочества цесаревны Елизаветы Алексеевны: «Что за прелестные на вас кружева, генеральша, они очаровательны!» И после все дамы, окружив губернаторшу, выспрашивали: «Где купили, наверное, из-за границы выписали? Нельзя ли прибегнуть к вашей помощи?»

Вологодский губернатор предлагал Межаковым большие деньги за кружевницу. Те вежливо отказали, пообещав, что будут посылать губернаторше кружева мастерицы.

По всей губернии дворяне знали: есть в Никольском непревзойденная кружевница. Конечно, плели кружева сотни женских рук и в городе, и в барских мастерских, и в деревнях, может, и не хуже, чем Елена Прокофьевна, но молва высшего света называла лучшими изделия из Никольского, ибо супруга наследника престола цесаревна Елизавета Алексеевна изволила их лестно отметить.

Господа велели управляющему не отказывать мастерице в дровах, и чтобы они были разделаны, как для барских печей. В праздники ей посылались с господского стола лакомства.

— Не удалось, матушка, тебя выкупить, — сказал Иван, — я бы тебя к себе взял в Петербург.

— И-и, сынок, — с доброй улыбкой отвечала Елена Прокофьевна, — не горюй, дитяtko, я-то, слава богу, барами не обижена, живу без нужды. Баре мною довольны, ишь как расфуфырились от царевниной похвалы. А коли буду им не нужна, и дровишек лишат, и сладким куском не попотчуют, тогда и выкупей: не сотни, а десятки рублевиков возьмут. Может, к тому времени, годков через семь-восемь, майором с достатком будешь. Что Дуняшу вольной сделал — божье благословенье с тобой пребудет. Девка славная. Сватать собираешься?

— Нет, маменька, я к ней как к сестре младшей...

— Куда же Дуняше идти опосля Никольского? Сиротинка! Пить-есть надо, одежонку справить след. Думал об этом, сынок? Я, конечно, помогу, сохранила кое-какую рухлядь, и туфли козловые дам, сама-то к катанкам привыкла.

— Я, маменька, отправлю Дуняшу к Назаровым — однодворцам, пригреют на время.

— Тебе виднее, Ванюша, живую православную душу взял на попечение, с тебя и спрос.

Дуняша, пока не получила бумагу, прислуживала барышне, только теперь та, хотя и глядела на девушку свысока, но пинками и пощечинами не награждала. Семнадцатилетней Кате, которая должна была ее сменить и страсть до чего боялась Натальи Александровны, Дуняша утешающе советовала:

— Ты, девка, с барышней не спорь, не перечь ей, авось обойдется; в посудницах-то тоже не сласть, те же толчки да пинки от повара, все же с одной барышней полегче.

Через три дня вызвали Дуняшу в контору к управляющему. Были там Иван Павлов и старший конторщик Дмитрий Востряков.

Управляющий сказал:

— Примите, господин подпоручик, сию бумагу на вольную крепостной крестьянке господ Межаковых Евдокии Григорьевой из усадьбы Никольское Кадниковского уезда Вологодской губернии.

На гербовой бумаге четким канцелярским почерком Вострякова все сказанное управляющим подтверждалось. Вольная была скреплена печатью Межакова и его подписью. Управляющий подал бумагу офицеру, тот вложил ее в руки Дуняши.

Ощутив пальцами плотность казенной бумаги, девушка поняла, что отныне она свободный человек, что никакая барыня не сможет поставить ее на колени и отхлестать по щекам. Это было сладостное чувство раскрепощения, незабываемый миг ее короткой подневольной жизни, и она, обливаясь радостными слезами, схватила руку Ивана Павлова и горячо ее поцеловала.

— Ты что, сдурела? — покраснел офицер. — Что я — поп?

— От благодарности, голубчик Иван Васильевич, вековечная ваша должница. Дай вам царица небесная здравия!

— Хватит, хватит, — подпоручик, скрывая волнение, обнял ее за плечи. — Ступай к маменьке Елене Прокофьевне.

Кружевница испекла пироги и одетая в чистый сарафан встретила Дуню хлебом и солью. Потом пришли Востряков и Иван, принесли штоф вина и кусок жареной баранины. Востряков подарил Дуне десять аршин тонкой холстины.

Посидели. Поздоровали. Иван посоветовал Дуняше съездить к Назаровым, сказал, что туда приедет денька через два, проездом в Петербург.

Ночью ему не спалось, думал о том, где устроить девушку. Правду сказала матушка: он, Иван, за нее ответчик.

Ранним утром, расцеловавшись с Еленой Прокофьевной и крестным, Иван Павлов на казенных лошадях выехал из Никольского. На часок остановился у Назаровых. Встретили радушно. Верочка прибежала с Дуняшей. Не узнать было девушку: веселая, раскрасневшаяся, в новом сарафане и белой полотняной вышитой рубашке, она радостно приветствовала Ивана. Видно, ей хотелось броситься ему на шею, но сдержалась и, как Верочка, сделала книксен!

Назаров провел Ивана в дом, наскоро соорудили завтрак, выпили на посошок, и хозяин сказал:

— Я, Иван Васильевич, позавчера в Вологде был и пристроил Дуняшу.

— Куда пристроили? — встревожился подпоручик.

— Не беспокойся, сударь. На Екатерининской у са-
мой, почитай, церкви проживает старушка Мария Дани-
ловна Пашкова, вдова надворного советника; дочка у
нее давно померла. Живет Пашкова с кухаркою, и двор-
ник у нее, татарин. Берет она Дуняшу для подсобы по
хозяйству. Скучно старушке, ей нужно и поговорить, и
чтобы девица почитала ей божественную книгу, и в цер-
ковь сопровождала. Я Марью Даниловну лет десять знаю.
Кое-что из деревни привожу, останавливаюсь у нее, ко-
гда в губернии бываю.

— Ну что ж, — после раздумья сказал Иван, — бла-
годарствую. Не забуду вашей услуги. А как Дуняшу в
городе держать? Как прописать? Вы уж помогите.

— И об этом я скумекал! — Старик хитро подмиг-
нул Ивану. — Ежели у тебя есть два целковых, оставь:
буду отвозить Дуняшу в губернию, найду в контору, уп-
лачу сбор и припишу девицу Евдокию Григорьеву к
сословию вологодских мещан.

— Я, Иван Васильевич, согласна у чиновницы в го-
роде жить, — сказала и Дуняша. — Мне чем дальше от
господ Межаковых, тем спокойнее, а в городе меня про-
ведают и Верочка и сам хозяин.

— Не беспокойся, Дуняша. И я и папаша зимой час-
то будем в губернию наезжать.

— Вестимое дело, — подытожил старик.

Дуняше взгрустнулось, когда Иван Павлов садился
в бричку. Заплакала, перекрестила офицера, и он, сму-
щаясь, пожал ей руку:

— Ты, Дуняша, не забывай меня, пиши в Петербург
по адресу: «Казармы лейб-гвардии Павловского полка.
Полковая канцелярия. Его благородию подпоручику
Павлову Ивану Васильевичу».

* * *

Дивизионный генерал Ламсдорф вызвал к себе ко-
мандира Павловского полка.

— Генерал, — самодовольно проговорил, — поздрав-
ляю с монаршей милостью. Назначены в мою дивизию
командиром первой бригады. А ваш офицер Иван Пав-
лов с чином поручика причислен к лейб-егерскому пол-
ку.

— Благодарю, ваше превосходительство! — расшар-

кался павловец. — С превеликим удовольствием послужу государю и вам. — Но как сие вам удалось?

— Через любезнейшего графа Кутайсова. Стоило мне производство золотого перстня со смарагдом*.

— Не объясните ли, барон, отчего государь согласился на перевод Ивана Павлова в егеря?

— Граф Кутайсов доложил его величеству, что перевод на пользу службы: оный офицер, преданный государю и заслуживший его царское внимание, сумеет и у егерей так поставить строевое учение, что оно окажется не хуже, чем в павловском полку. Государь изволил приказать вывести перед ним через три месяца роту Павлова.

Когда подпоручик прибыл в канцелярию и отпрапортовал дежурному по полку майору о своей явке, тот поздравил его с царской милостью.

— Вам, господин поручик, надлежит немедля явиться к его превосходительству барону Ламсдорфу, в дивизии коего будете проходить службу в лейб-егерском полку.

Иван Павлов несколько был озадачен: за четыре года привык к павловцам, к офицерам, фельдфебелю, солдатам. Жалел он и денщика — куда пойдет старик?..

Барон встретил Ивана сердечно.

— Рад, рад, поручик. Примите вторую роту, там следует потрудиться. Ротный капитан Федоровский солдат лупцевал почем зря: и шпицрутенами наказывал, и с полной выкладкой на часы ставил — не помогло. Надеюсь на вас.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Государь велел через три месяца вашу роту вывести на плац. Его величество сам пожалует.

— Постараюсь, ваше превосходительство. У меня покорнейшая просьбишка. Привык к денщику, нельзя ли его также перевести в егеря? Фамилия ему Савельев.

— Денщик молодой?

— Никак нет, старик дослуживает срок.

— Ежели старик, можете рассчитывать.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!

— Как в деревне отдохнули, поручик?

* Изумрудом.

— Хорошо, господин барон. Повидал матушку, родные места, погода благоприятствовала.

— Ну-ну. Три дня вам на устройство. Квартира в офицерских казармах... Как у вас с презренным металлом, поручик?

— Малость есть.

— Малость, это плохо, поручик. Я велю егерскому полковнику Измestьеву из полковой кассы выделить вам на расходы по переезду тридцать серебром и пятьдесят на новую форму.

— Благодарю, ваше превосходительство!

— За вашу усердную службу. Ну-с, не задерживаю, всего доброго!

Павлов по артикулу отдал ришпект, повернулся на каблуках и, печатая шаг, вышел из кабинета.

И опять барон почувствовал в своем генеральском сердце расположение к Павлову. До чего ж уставно повернулся! Какой офицер! Далеко пойдет!

Иван Павлов шел по весенним петербургским улицам. На Невской першпективе сугубое движение: кареты, коляски, одноколки с фельдъегерями. На панелях много публики, даже цивильные чиновники стараются держаться на военный лад, а уж об офицерах нечего и говорить — словно аршин проглотили. Дамы и те не нарушают официальный порядок — держатся строго, и ежели сделают глазки молодому поручику или корнету, то скромно, чтоб другие не заметили. Не екатерининское время — павловское: субординация, благочиние, ранжир.

Марья Даниловна Пашкова, по мужу — потомственная дворянка, а по происхождению — поповна, низенькая, полная, медлительная, с добродушным лицом, обрadowалась Дуняше.

— Теперь мне веселее будет, — говорила нараспев, целуя девушку. — У нас в доме все старые: мои года — седьмой десяток на исходе, Акуле шестьдесят пять, и Абдуле тоже годков немало, а ты девица маков цвет. Спасибочки Николаю Васильевичу, что такую кралю ко мне определил.

Дом надворной советницы с шестью окнами полукружьями с затейливыми наличниками фасадом выходил на Екатерининскую улицу. За домом — сад с березками, рябинками и малиновыми кустами; колодец с

ключевой водой, огород с грядками капусты, моркови, картофеля и репы; конюшня, где стояли мерин Сысой, сани и бричка; флигелек дворника Абдулы, степенного трудолюбивого татарина. Вот каковы были владения Пашковой. По двору бегал рыжий пес Полкан, а на солнышке грелся откормленный черный кот Кузьма. В доме пять комнат с изразцовыми кафелями: зала, спальня, бывший кабинет мужа, гостевая и комнатка у кухни для Акулины. Мебель старинная, дубовая, крепкая. В зале клавикорды, на них играла когда-то дочка Марьи Даниловны. В книжном шкафу в кабинете — библия, жития святых, сочинение господина Засецкого «Исторические и топографические известия по древности о России и частно о городе Вологде и его уезде», месяцеслов, толстый том о деяниях приснопамятного благоверного великого государя императора всероссийского Петра Первого и невесть как попавшие сюда книги на французском языке — трагедии Расина, «Дух законов» Монтескье и священная история Нового завета с гравюрами.

Дуняша вскорости свыклась с вологодской жизнью. Она чувствовала себя свободной. Относились к ней ласково. Акуля всегда припасала барышне (как ее теперь называли по желанию Пашковой) то сладкий пирожок, то ножку цыпленка. Девушка старалась быть полезной в доме, создать в нем недостающий уют. Она вышивала на пятаках, и ее вышивки, наброшенные на мебель, омолодили зал. Она собирала полевые цветы, ставила их в кувшины на подоконники, и, казалось, кружевные занавески на окнах начинали излучать тепло.

Иногда по просьбе Марьи Даниловны играла на клавикордах; она вспоминала те сентиментальные песенки, которым обучила ее добрая гувернантка-француженка в усадьбе Межаковых. Клавикорды давно не настраивались, дребезжали, издавая такие жалобные звуки, что рыжий Полкан во дворе начинал подвывать, а черный кот Кузьма строго тарашил свои желто-зеленые глаза на Дуняшу.

Дуня по слуху подобрала развеселую русскую деревенскую песню. Задорные звуки музыки пленили Абдулу. Стоя на дворе у раскрытого окна, татарин перебирал ногами и цокал языком: «Ай барышня, как гурия в саду Аллаха!»

Дуня сделалась необходимой в доме. Закупала про-

дукты, ездила на бричке на базар, убирала в комнатах, читала Марье Даниловне жития святых, провожала ее в церковь. И когда советницу спрашивали: «Что за милая девица с вами? — та отвечала: «Моя воспитанница, Евдокия Григорьевна».

Но когда Дуня захотела выстирать белье, то ей запретили. Акуля запрочитала:

— Да разве у меня рук нету? Разе я плохо стираю? Разе, барышня, это твое дело?

Теперь у девушки была своя комната, бывшая гостевая, прилично убранная. По ночам Дуня с благодарностью думала об Иване Павлове: спас он ее от рабства, дай ему, господи, счастья.

Летом пришла от него эстафета из лагерей, где он сообщал новый адрес. Дуня неделю носила письмо на груди и выучила его наизусть.

«Любезная Евдокия Григорьевна, в первых строках ссей эстафеты посылаю вам и вашей благодетельнице сударыне Марье Даниловне нижайший привет и льщусь надеждой, что вы пребываете в добром здравии и благополучии. Я, ваш всепокорный слуга, ныне произведен в чин поручика и назначен командиром роты лейб-егерского полка. Опишите свое пребывание в городе Вологде. А за сим остаюсь преданным Иваном Павловым».

Марья Даниловна, польщенная приветом, хвалила поручика: видать, добросердечный и обходительный кавалер.

— Ты, Дуняша, ему от меня кланяйся.

У Марьи Даниловны на прожитье шла из казначейства вдовья пенсия. В городе был первый в России государственный банк, где хранился небольшой, но вполне достаточный капитал, с которого она получала проценты. Под постелью у вдовы стоял железный сундучок; в нем золотые вещи надворного советника: табакерка, запонки, ордена и ее колечки и брошки.

В общем на жизнь хватало.

И еще Марья Даниловна сделала доброе дело. Вызвала к себе приходского священника и квартального надзирателя и попросила их оформить завещание, по которому дом и капитал после ее кончины переходили к ее воспитаннице — девице Евдокии Григорьевне.

Об этом по секрету Марья Даниловна поведала Назарову и вместе с ним съездила в контору губернского предводителя дворянства, где завершила у секретаря за-

вещание казенной печатью. Подлинник положила в сундучок, а копию, тоже заверенную, отдала на хранение Назарову...

В лагерях под Петербургом Иван Павлов с утра до вечера муштровал своих егерей. Замордованную прежним командиром роту через месяц трудно было узнать. Солдаты при новом ротном приободрились. Павлов, воспитанный старым суворовцем капитаном Епифановым, и здесь следовал суворовским заветам, чему учил и своих двух офицеров, фельдфебеля, сержантов и капитанов. Заботился, чтобы солдаты хорошо питались, отменил зверские наказания, требовал от солдат не рабской дисциплины, а понимания воинских упражнений. Батальонный командир — майор Яков Ржаницын косо смотрел на нововведения поручика, ворчал: «Распустите, господин поручик, солдат, с ними нужна строгость и палка, да-с!» Но, когда увидел, что рота приобретает воинский вид, что солдаты держат строй и молодецково идут на приступ построенных земляных и деревянных крепостей, решил не препятствовать поручику и однажды дружески молвил: «Командир вы достойный, на остальное закрываю глаза».

К осени рота Павлова считалась первой в полку.

Денщик Савельев, переведенный в егерский полк, заботился, как нянька, о поручике.

— Иван Васильевич, — докладывал он Павлову, — очень на вас обижаются другие ротные командиры: выслуживается, мол; поручик, портит нам амбицию. Денщик батальонного слыхивал, как майор ругал ротного Гурьева: «Пример берите с поручика Павлова: у него солдат — любо-дорого, а у вас — не дай бог!»

И все же не только батальон Ржаницына, но и остальные подтягивались; солдат стали и кормить лучше; и хотя еще лупцевали за провинности рядовых, но не с прежней жестокостью, а по выбору, — так что к концу лагерных учений лейб-егерский полк Измествьева выглядел лучшим в дивизии Ламсдорфа.

Полковник Измествьев поощрял своего офицера, разрешал внеочередные отпуска в Петербург, где Павлов в книжной лавке покупал старые журналы и читал их у себя в палатке. С офицерами своей роты Иван держался запросто, замечания по службе делал не обидно, а вежливо, не то что прежний командир, приглашал их

к себе на чай и беседовал о прочитанном. Часто обсуждали военные дела в Италии: там Суворов одерживал блестящие победы, а на море адмирал Ушаков приводил в трепет командиров вражеских кораблей.

Осенью в Петербурге на Марсовом поле лейб-егерский полк представился государю. Павел Петрович был смутен, рассеян: его возмущал австрийский император, для которого суворовские войска таскали горячие каштаны из жаровни. Стоило Суворову изгнать французов из ряда итальянских герцогств и австрийских владений, как австрийцы занимали эти места, творили суд и расправу над народом, но не пополняли армию Суворова. Чем больше становилась освобожденная территория, тем меньше австрийских полков оставалось у Суворова. Ухудшалось снабжение, а британский король только обещал крупные денежные суммы и иные блага. И все это было, по мнению Павла, издевательством над Россией.

— Шельмы, торгаши, купчишки! — аттестовал он союзников.

Однако государь одобрил экзертиции егерей, велел позвать Павлова к стремяни своего снежно-белого коня.

— Молодец, поручик, твоя рота примерная!

— Рад стараться, ваше императорское величество!

— Почему такое, сударики? — загундосил вдруг Павел. — Почему, полковник, у тебя нарушение чинопочитания и регламента?

Полковник Измestьев побледнел.

— Как прикажете понимать, ваше величество?

— Ответь мне, Измestьев, ротному кой чин по уставу положен?

— Капитана, ваше величество.

— А поручики чем командуют? Соблаговолите сообщить, барон Ламсдорф? — Он повернулся к сидевшему на рыжей английской кобыле дивизионному генералу.

— По уставу поручик командует полуротой. На поле боя, ежели из строя выведен или убит ротный командир, его заменяет по старшинству поручик.

— То-то! — успокоился Павел. — Устав знаете, барон. Поелику поручик Иван Павлов командует ротой, как с ним надлежит поступать?

— Перевести в полуроту, — оторопело ответил генерал.

— Сударь! — вскипел государь. — Мозги вашего пре-

восходительства надлежит проветрить, да-с — проветрить!

— Ошибся, ваше величество! — Ламсдорф приложил руку к треуголке. — Поручика Павлова надлежит представить к чину капитана.

— Наконец-то догадались, сударь! Благодарствую... Полком доволен. Вами, генерал, и Измestьевым — тоже. На капитана Павлова представить аттестацию. Вольно!

Император пришпорил коня и отъехал от генерала.

...Осень. Серое мгlistое небо. Мелкий дождь. Марсово поле. Солдатские шеренги. Абрис сурового Михайловского замка с царским штандартом на флагштоке. Тысяча семьсот девяносто девятый год.

* * *

Кучер Федька явился в Никольское после отъезда Павлова. Встретив его у конюшни, скотница Ненила, рябая вековуша, заойкала:

— Ой, Феденька, светик, Ванька-то куафер офицером заделался! Серебра у него несчетно. Не матушку Елену Прокофьевну, а девку Дуняшу на волю выкупил! Ой, Феденька, уехала твоя зазнобушка и с нами, гордячка, не попрощалась!

Федька остолбенел, скрипнув зубами.

— Врешь, быть того не может!

— Ой, Феденька, чисто правда! Спроси хучь у конторщика Митрия Вострякова. Восемьдесят, вишь ты, рублевиков серебром за нее Ванька-офицер управляющему выложил.

Федька постоял у конюшни с полчаса, а затем, еле волоча ноги в тяжелых сапогах, поплелся к барскому дому.

Федора невзлюбили крепостные: силач и верный барский холоп, он исполнял не только обязанности кучера, но и палача. Другие конюхи и кучера удивлялись, откуда такая злость у человека берется. Если им приходилось наказывать мужиков, то делали они это по принуждению, неохотно, пороли жалеючи, Федор же — с удовольствием. Он бил с оттяжкой, медленно, чтобы продлить наказание; розги держал в кадке с соленой водою.

— Я тебя, — говорил он мужику, — миловать не буду, я — холоп господский, а могу я на твоём заду аль

на спине след оставить, чтобы ты до старости помнил. — И он в кровь сек мужицкие телеса.

Но у этого зверя была одна страсть — Дуняша. И то, что она не похожа на других баб, — училась у французки, — и ее длинная коса — все в ней пленяло Федьку. Если бы ему сказали: «Получишь девку, если примешь невероятные муки от каленого железа», — он бы, не задумываясь, выбрал последнее. Сколько раз он просил у барина: «Ваша милость, отдай за меня Дуняшу — век собакой буду!» Барин смеялся: «Вишь ты какой силач, она же subtilна — задавишь ты девку». Неоднократные просьбы надоедали Межакову: «Пойми, дубина, она на тебя смотреть не хочет, руки на себя наложит, господину — убыток».

И все же Федька надеялся, что, пусть не теперь, через год, господа смилуются и выдадут за него Дуню, а он уж с ней поладит — шелковая станет. Он ей Ваньку припомнит!

Подойдя к барскому дому, Федька сел на ступеньку парадного подъезда.

— Ты чего, Федор? — спросил вышедший по делу камердинер Ефимыч. — Чего надобно?

— Барина бы повидать, — продышал сипло.

— Его милость заняты — в кабинете счета сверяют.

— Мне не к спеху, подожду.

— Осерчает барин.

— Пушай. — И замолчал, низко опустив кудлатую голову.

Ефимыч сообщил Межакову и предупредил его:

— Федька-кучер вас дожидается, мужик-то, видать, не в себе.

— Ладно, я с ним поговорю, — Межаков взял хлыст для верховой езды и вышел на крыльцо.

Увидев господина, Федька поднялся, его глаза слезились.

— Барин, батюшка, верни невесту, верни Дуняшу. — Упал на колени. — Верни! — повторял, как в бреду, хватая Межакова за ноги. — Будь отцом родным.

— Встань, Федор, — спокойно проговорил барин. — Давай разберемся в твоей просьбе.

Кучер поднялся и выжидающе уставился на Межакова.

— Пойми, дурья башка, Дуняша ныне вольная. Может быть женой чиновника, офицера, купца... Оставь

несбыточные мечты, найди по плечу себе девку, женись, я помогу завести хозяйство. Тебе уже тридцать годков, пора кончать с глупостями...

— Ты, барин, обманщик! — закричал кучер. — Обманул меня!

— Ах ты, скотина! — Межаков размахнулся и стал наносить удары хлыстом по лицу, по груди, по рукам Федыки. — Люди! Взять его!

Барские лакеи, которых прежде не раз наказывал кучер, окружили Федыку и, несмотря на его сопротивление, поволокли в конюшню, надевая по дороге затрепинами.

— Запереть его! Завтра я с ним разберусь, — сказал Межаков.

Однако разобраться барину с Федыкой не пришлось. Тот выломал ночью дверь и исчез в неизвестном направлении.

О беглом дворовом управляющий сообщил в Кадников и в Вологду, указав его приметы и посулив хорошее вознаграждение полиции за поимку кучера.

* * *

В Михайловском замке Павел бесновался. Дежурные камергеры, офицеры, домашние старались не попадаться на глаза императору. Павел бегал по дворцу, крушил ботфортами мебель, смотрел на себя в большое зеркало:

— Урод, сударь, урод!

За окнами снег, голые деревья, ветер, скукота.

Крикнул:

— Кутайсов! Где генерал Аракчеев?

— Прибыл, государь, дожидается в малом зале, кофе с сухарями кушает.

— Почему раньше не доложил, сударь? Забыл? Я тебя!..

Кутайсов молчал, знал: откритится Павел Петрович — успокоится.

Так и вышло.

Павел понюхал из золотой табакерки табачку. Прочихался.

— Чего стоишь, граф? Зови Аракчеева.

Вошел Аракчеев, в артиллерийском мундире, лопухий, с квадратным мясистым лицом и маленькими оло-

вишными глазками. Уважал его Павел, доверял: вместе в Гатчине отбывали матушки Екатерины опалу.

— Алексей Андреич! — Государь распростер объятия. — Как живешь?

— Бог грехи терпит, ваше величество, — Аракчеев поцеловал государя в плечико. — Как ваше здоровьице? Как спалось?

— Плохо, Алексей Андреич, плохо... Сны страшные. Хожу я будто в нашем Гатчинском парке обнаженный, в виде Фавна.

— Не беспокойте себя, батюшка, сие суть ипохондрия.

— Нет, тут возвышенное. Позавчерась у памятника государю Петру Великому задумался этак я (адъютанты поодаль). Вижу, — ей богу, Алексей Андреич, — высокая фигура как бы в тумане; ошущаю страх, ибо знаю, что туманная фигура сия из небытия — воплощение прапрадеда, — и слышу дуновение какое-то и голос: «Бедный Павел!»

Аракчеев не решился возражать, почесал свой грушевидный нос.

— Божественное предначертание. Опасаться вам след ваших недругов.

— И я так мыслю, Алексей Андреич.

— Ваше величество отозвали армию генералиссимуса Суворова?

— Отозвал. Канальи австрийцы вокруг пальца обвели. Горюю о судьбе своих полков. Генерал Корсаков потерпел поражение в Швейцарии от французов. Повелел адмиралу Ушакову с эскадрой идти из Средиземного на рейд в Севастополь. Довольно для англичан пострадали.

— Имени русского не посрамили, — сказал Аракчеев, — Бонапартия укротили.

— «Укротили, укротили!» Короны спасали! Суворову титул дали светлейшего князя Италийского, а для чего? Вот я с господином первым консулом Франции Буонапартием мир заключу! Как союзнички на сие взглянут?

— Военный губернатор граф Пален, — доложил, остановившись в дверях, камергер.

Алексей Андреевич не терпел графа Палена, имевшего влияние на государя, потому официально вытянулся во фронт.

— Разрешите, ваше величество, удалиться по делам службы.

— Посиди еще, Алексей Андрееч.

— Никак не могу, в артиллерийском управлении ждут.

— Ну иди, почаще бывай у меня.

Аракчеев, сутулясь, прошел к двери, где произошла заминка.

Высокий изящный Пален уступал место Аракчееву, а тот ему.

— Проходите, ваше сиятельство.

— Сначала вы, ваше превосходительство.

Павел из зала скомандовал:

— Разойтись! Граф Пален, пожалуйста ко мне. Доложите, что в городе произошло, мне недосуг.

Пален вынул из обшлага мундира рапортничку и присел на краешек кресла.

— Вчера вечером шестеро офицеров лейб-уланского полка в ресторации на Невском пили за здоровье цесаревича Александра Павловича. Фамилии улан известны.

— Мило, — сказал Павел, — а за уroda не пили? За отца цесаревича, надоедного Павлушку-колотушку не провозглашали здравницу?

— Никак нет, — спокойно отозвался Пален. — Да не извольте беспокоиться, сир (Пален всегда именовал Павла по-заграничному — «сир», что значит — государь), — мальчишки. Пока я губернатор, можете спать спокойно — все они у меня в кулаке.

— Что еще случилось в столице, граф?

— Из-за актерки-итальянки синьоры Пауличи корнет лейб-гвардии Литовского гусарского полка Вольский вызвал на дуэль чиновника коллегии иностранных дел господина Гусева. Коллежский ассессор Гусев ранен шпагой в правое плечо. Корнета я посадил на гауптвахту, а Гусев лежит дома в постели.

— Поскольку смертоубийства не учинено, корнета с тем же чином перевести из гвардии в армейский драгунский фельдмаршала Румянцева полк в Киевскую губернию. О чиновнике сообщить в коллегию для записи в послужной список, — распорядился император.

— Слушаюсь, сир. И последнее. Прибывший из армии генералиссимуса поручик Колесов сообщил, что его сиятельство Александр Васильевич Суворов заимел двух генерал-адъютантов.

— Безобразие! — Павел застучал шпорами. — Два генерал-адъютанта полагаются на поле только императору. Направить к князю Суворову немедля фельдъегеря с изъяснением моего монаршего недовольствия.

— Исполню, сир. Не смею задерживаться.

— К Суворову не забудьте, граф, послать. С ума сходит старик! Подумать только — два генерал-адъютанта!

Пален, однако, не сразу ушел из замка, а спустился на первый этаж, где как бы случайно встретил в коридоре наследника Александра Павловича. Пален остановился, оглянулся и, убедившись, что никого нет, резко произнес:

— Ваше высочество, готовьтесь. Десятый раз повторяю вам: или низложение государя и ваше вступление на престол, или ваш арест и крепость.

— Когда? — близоруко щурясь, испуганно спросил наследник.

— Суворов и Ушаков отозваны. Мало ли какие глупости может натворить деспот. Чем скорее, тем лучше. Верные офицеры ждут. Не будьте бабой, ваше высочество.

— Я вам благодарен, граф. Я, кажется...

— Нельзя ли, Александр Павлович, без «кажется»?

Раздались шаги дежурного офицера, преданного Палену.

— Граф, сюда идут.

— Ах, черт! — губернатор пожал руку цесаревича и удалился за офицером.

А наверху Павел еще долго бегал по залам, сбрасывал с диванов атласные подушки. Заметив сидящую у окна любимую болонку императрицы Изольду, так поддал ее ногой, что собачка перевернулась и, визжа, упала в апартаменты Марии Федоровны.

* * *

Вьюжным вечером капитан Иван Васильевич Павлов шел в гости на встречу Нового года к барону Ламсдорфу. Он шел своим мерным солдатским шагом по набережной Васильевского острова, посматривая на украшенные разноцветными масляными плошками фасады домов, на костры посреди замерзшей Невы. У костров грелся бедный городской люд: извозчики, нищие, крестьяне.

Особняк Ламсдорфа был ярко освещен плашками, образующими вензель императора, и смоляными факелами. Из окон доносилась военная оркестровая музыка. У подъезда стояли кареты и санки. У парадных дверей застыли часовые. Они враз взяли на караул, увидев поднимающегося по ступенькам офицера.

— Замерзли, бедняги! — Павлов, отвернув полы зимнего плаща, нашарив в кармане серебряную монету, положил ее на гранитный приступок рядом с часовым (принимать в руки деньги постовые солдаты не имели права).

— Ребята, после смены выпейте по чарке за мое здоровье.

— Покорно благодарим, ваше благородие! — простуженно гаркнули повеселевшие часовые.

Новогодний бал был в полном разгаре. Горели сотни восковых свечей. Блестел паркет. Блестели генеральские и офицерские мундиры. Блестели бриллиантовые и золотые украшения на декольтированных дамах.

Генерал Ламсдорф в мундире с красной анненской лентой через плечо и его супруга, сухопарая немка, принимали гостей.

— Представляю тебе, Марихен, моего лучшего офицера, — сказал барон, — капитан Павлов.

Капитан почтительно склонился перед генеральшей.

— Он не очень плохой кавалер, он зер гут, твой Павлов, — резюмировала баронесса, смотря вслед удаляющемуся капитану. — Ты его приглашай.

— Всенепременно, Марихен. — И генерал устремился к входящему в залу графу Кутайсову.

— Осчастливили, ваше сиятельство! — Ламсдорф приложил руку к сердцу. — А графиня не больна ли?

— Графиня извинение приносит. Государыня Мария Федоровна велела остаться при ее особе — у нее насморк и она изволит скучать, — объяснил, растягивая слова, Кутайсов.

Многие гости столпились вокруг графа, стараясь показать свою приязнь к государеву любимцу, улыбались, расшаркивались. Только несколько гвардейских офицеров стояло в стороне.

Павлов был неподалеку от офицерской группы, скучал. В генеральских хоробах капитан чувствовал себя неудобно и стеснительно.

В офицерской группе громче других звучал голос высокого семеновского поручика:

— Поймите, господа, мы не живем — прозябаем, тиранство округ, сапоги вылизываем Кутайсову — сему ничтожеству!

— Да бросьте, поручик, — миролюбиво перебил его флотский мичман, — сии истины поберегите про себя, ежели не желаете на гауптвахту попасть.

— Нынче вся Россия на гауптвахте! — не унимался поручик.

Павлов невольно прислушался к этим разговорам.

— Забыли, господа офицеры, — сказал толстый пожилой майор-измайловец, — начисто забыли «маркиза Пугачева», как его величала покойная царица Екатерина, коротка память у молодых, а я лицезрел сержантом сгоревшие усадьбы и вздернутых на воротах помещиков и управителей.

— Не спорьте, господа! — снова вмешался мичман. — Мы старый век провожаем, умерьте пыл. А вот, кстати, и его превосходительство к нам идет.

— Прошу откушать! — обратился генерал к офицерам. — Бокалы на столе. — И широким жестом указал на раскрытые двери столового зала...

Когда в полночь в Петропавловской крепости ударила пушка и часы отбили «Коль славен наш господь в Сионе», гости поднялись и осушили бокалы за новый, девятнадцатый век.

* * *

Суворовские войска возвращались из альпийского похода, они были в рваном обмундировании, но шли гордо, овеянные славой Сен-Готарда, Чертова моста, бессмертной славой суворовского гения и мужества русских воинов.

Павел Петрович хотел устроить генералиссимусу торжественную встречу, но отменил ее: не мог забыть генерал-адъютантов.

Сам старый полководец простудился и лежал в петербургской квартире, изможденный, худой, но все еще под впечатлением похода.

— Помилуй бог — говорил он. — Удалось-таки побывать с чудо-богатырями в гостях у орлов!

Граф Пален по должности военного губернатора

рапортовал императору о тех, кто навещал больного князя Итальянского. Их было много: сенаторы, князья, генералы. Иных пускали к больному, иные только приносили свой респект — врачи запретили излишне беспокоить генералиссимуса.

Александр Васильевич знал, что умирает, держался спокойно. Пожил хорошо, честно, воевал, любил отечество, друзей, солдат, свою дочку Суворочку, сделал все, что ему было предназначено.

Он ласково беседовал с соратниками — героями Измаила и итальянского похода: князем Багратионом, генералом Кутузовым, атаманом Платовым; с удовольствием слушал вирши навещавшего его поэта Державина; советовался о надписи на могильной плите. Званий и титулов у Суворова много, но не парадной пышности желалось полководцу, поэтому он обрадовался, когда Гаврила Романович Державин произнес:

— Следует учинить надпись из трех слов: «Здесь лежит Суворов».

— Помилуй бог, хорошо! — воскликнул Александр Васильевич. — Поцелуй меня, друг!

Хоронила Суворова вся столица. За гробом, поставленным на артиллерийский лафет, шли с приспущенными полковыми знаменами войска; на зданиях были траурные флаги. Когда процессия медленно двигалась к Александрово-Невской лавре, навстречу выехал верхом император. У Павла болело горло, и шея была повязана шарфом. Он пропустил мимо себя войско и салютовал гробу Суворова шпагой.

Иван Павлов, ведший роту, не мог сдержать слез, внимая залпу, под который в соборе лавры опускали под спуд гроб полководца.

Державин написал ставшую популярной в столице песню «Снигирь», посвященную Суворову. Ее списывали и разучивали, и скоро Иван Павлов знал ее наизусть.

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью Россиян все побеждать?

Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, Снигирь!

Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что воевать?

* * *

Первый консул Республики генерал Наполеон Бонапарт отослал без выкупа на родину русских военнопленных, снабдив их провиантом. В послании к Павлу он высоко отзывался о героизме и мудрости императора.

— Генерал Буонапарте понимает меня. — Павел проговорил это за обедом, на котором присутствовали августейшая семья и приглашенные близкие ему лица.

— Генерал покончил с санкюлотами и восстановил французское государство. Не так ли, сударь наследник? Или вы англоман?

Он посмотрел на Александра Павловича — аккуратен: красивыми складками лежит салфетка, закрепленная за борт мундира цесаревича.

— В Смольном не изволили ли воспитываться? Вишь как расправили салфетку! Ровно деревенская барышня! Александр Павлович нежно покраснел.

— Господин первый консул, — с дрожью в голосе сказал он, — человек бесспорных дарований, я могу только радоваться, что генерал заслужил ваше одобрение.

Замолчали. Граф Пален счел нужным разрядить неловкость.

— Сир, презрядный анекдот вышел в Шляхетском корпусе: кадет Похвистнев на пари с кадетом Балашовым съел зараз два фунта слоеного хлеба и дюжину миндальных пирожных. Ему сделалось до того худо, что он ночью закричал: «Караул, умираю!»

Павел благосклонно:

— Не окочурился ли кадет?

— Приняты были приличествующие сему меры.

— Какие? — полюбопытствовала пышнотелая фрейлина Гагарина, фаворитка государя, сменившая худенькую Нелидову.

— Фи донг! — молвила Мария Федоровна. — За обед такое не говорят.

— Почему же? — взвилась в обиде Гагарина. — Почему ваше величество думает, что «за обед», — передразнила она императрицу, — такое не говорят?

— Поведайте, граф,— попросил и великий князь Константин Павлович, любитель казарменных острот, такой же курносый, как отец.

— Извольте,— галантно наклонил голову Пален.— Корпусный медик Шмидт, простите великодушно, влил кадету в рот кружку слабительного, и фельдшер четырежды ставил ему промывательное.

— Уморили, граф!— Павел лающе захохотал.— Промывательное! Небось пузо-то у кадета вздуло!— И он опять захохотал.

Государю вторил худенький в красном сенаторском мундире поэт Нелединский-Мелецкий, сентиментальные, стилизованные под народные песенки которого нравились Павлу.

После обеда Пален, прогуливаясь с наследником по залу, тихо говорил:

— Толчем в ступе воду и все пока без толку... Беседовал я с генералом Бенигсеном. Он тоже моих взглядов, тоже согласен на воцарение вашего высочества, но советует выжидать: надо увеличить число вовлеченных офицеров. Жаден генерал, денег не дает, а их надо много. Генерал Аракчеев — друг деспота и сам кнутабоец. В Гатчине капрала и рядового так отделали на кобыле, что они богу душу отдали.

— Дисциплина нужна, граф.— Александр взял Палена под руку.— Нельзя распускать солдат. А что касается денег, то у меня, сами знаете, все под контролем батюшки и Кутайсова.

— Знаю, Александр Павлович. Английский посол на куртаге обещал сумму превеликую. Опасаюсь я британцев: при успехе потребуют такое, что ущерб империи может принести. Каково ваше мнение?

— Я весь, граф, в ваших руках, доверяю, как старшему брату.— Цесаревич мило улыбнулся, для того, чтобы присутствующие думали, что у него с Паленом обычный придворный разговор.

Павел в кабинете отдыхал за беседой с Нелединским-Мелецким.

— Затяни-ка, господин сенатор, свою «Реченьку».

Нелединский тоненькой фистулой начал, Павел стал хрипло подпевать.

В кабинете горели канделябры. Их свет отражался в расписных стеклянных ширмах. Когда император принимал доклады или рапорты полковых командиров, он

сидел за ширмами, дабы не надышали на него простуды или другой какой болезни.

* * *

Стояла сухая без дождей осень 1800 года.

Федька около года шатался по лесам, ночевал в стогах, обносился. В свою волость не заходил: там бы поймали и, наказав батогами, сдали Межакову.

Федькой владела одна мысль — отомстить Ваньке-офицеру. Ежели бы не Ванька, Дуняша рано или поздно досталась бы ему, в это он крепко верил.

В Вологде разыскивать Дуняшу боялся: узнает полиция, — небось его приметы разосланы по губернии. Обувка у него сопрела, он оброс дремучей бородой. Увидев свое отражение в лесном озерце, подивился: «Чисто леший!» Надо было принять божеский вид, а для этого годилось только одно: выйти на проезжую дорогу, подкараулить кого побогаче и ограбить.

Однажды ему повезло: в казенном глухом лесу в заброшенной сторожке Федька застал молодого охотника и легавую собаку. Охотник, по обличию барин, в теплой куртке, в высоких сапогах и меховом картузе, сидел на лавке; легавая лежала у его ног. Рядом с собою молодой человек положил двустволку, нож с костяной рукояткой, патронташ и кожаный мешок. Лицо у него было бледное, усталое.

Собака яростно залаяла, увидев незнакомца.

— Здравствуйте, барин, — сказал Федька.

— Здравствуй, братец, — испуганно произнес охотник. — Я заплутался. А ты откуда?

— Из лесу, барин, дровишки казенные понадобились. Вишь у меня за кушаком топор востер — ходил срубить елочку, да вот тебя узрел. — С этими словами он ловко сдернул с лавки ружье и направил его на охотника.

— Не шути! — крикнул барин. — Я тебе золотой дам... Ружье-то заряжено...

— А мы сейчас испробуем! — И Федька нажал курок. Запахло порохом.

Пес вцепился в Федькину штанину. Тот взмахнул топором — и животное с жалобным воем растянулось на земляном полу.

— Не гавкай, — сказал Федька и дрожащими пальцами стал расстегивать куртку на еще теплом труп

охотника. Сорвал с шеи золотой крестик на цепочке. В кошельке обнаружил три ассигнации по пять рублей и два червонца. В патронташе — пыжи, дробь, порох. В мешке — кусок домашней колбасы, серый хлеб и фляжку вина.

Убив человека, Федька не испытал раскаянья — он привык увечить людей, своих земляков, а молодой барин — чужой: «На кой ляд горевать?»

Федька побоялся снять одежду с трупа, взял только нож, подзаправился едой и вином из фляжки.

Куда парня девать? Оставить здесь — могут лесники зайти, яму рыть — канитель и не к чему... «Эх, куда ни шло!» Взвалил на себя мертвое тело и потащил к озерцу. Наложил барину под рубаху камней — и с богом: «Корми раков да налимов!» Вернулся обратно: «Фу ты пропасть!» Пес лежит, ружье. Опять пришлось тащиться к озерцу...

К ночи вышел из лесу на окраину деревушки. В сарае проспал до утра, зарывшись в пахучее сено. Ранним утром обошел задами деревушку, вышел на проселочную дорогу и, пройдя версты три, увидел большую избу с шестом, на котором болтался клоч сена: значит — кабак.

В кабаке утром пусто. Когда отворил дверь, показался хозяин, старик — косая сажень в плечах, под стать самому Федьке.

Федька снял драную шапчонку, перекрестился на иконы, сел на лавку.

— Вина полштофа да яичницу с салом. Хлеба...

— Откель ты такой шустрый? Монета-то есть?

— Найдется, старинушка, а откеле я — тебя не касаемо.

— Бродяга, видать, мотри, чтоб десятники не приметили.

Старик был хитрый, сообразительный, всякое видел и молчать умел.

Федька положил на стол ассигнацию.

— Знаешь, парень, пройди-ко ты лучше в боковушку.

Провел в боковушку — тепло, благодать.

— Сказывай, что надобно? — спросил прямо кабатчик.

— Мне бы, хозяин, обувку да одежду почище, за деньгами не постою.

— Ладно, только уговор: ни я тебя, ни ты меня не видал.

— Вестимо, хозяин, вот те крест! — обрадовался Федька. — Сколь возьмешь?

— Ты, милачок, спервоначала откушай моего хлеба-соли.

Старик принес на сковороде шипящую яичницу, хлеб и полштофа водки.

— Кушай, парень, а я пойду за одежкой.

Вскоре хозяин появился с большим узлом и подал Федьке справный полушубок, миткалевую рубаху, чистое исподнее, нанковые штаны и меховую заячью шапку.

— Мещанином выглядишь, — сказал, посмотрев на Федьку. — А казенну бумагу имеешь?

— Нету, хозяин, кто бы достал, того бы благодарил и вечно поминал.

— Поминать вечно не след — денежки плати. Я даром что сивый, вижу — скрываешься ты. Я тут с вещами и бумагу припас. Один дворовый вместе с кафтаном пропил, обещался должок принести, да и пропал.

— Я неграмотный, прочти, сделай милость.

Хозяин взял в руки засаленную бумагу с печатью, приблизил к глазам и нараспев:

— Новгородской губернии Череповецкого уезда деревни Панфилка дворовому человеку господина и кавалера Николая Наумовича Ястребова — Анисиму Петрову Редькину двадцати осьми годов дана сия бумага в том, что сей дворовый Анисим Редькин отпущен мною на оброк сроком на три года, что подписью и печатью скрепляю. Потомственный дворянин и кавалер Николай Ястребов, третьего июля месяца 1800 года.

— Подходяще, значит, я теперь Редькин Анисим Петров. Не забуду, милостивец. — Федька протянул руку к бумаге.

— Не лапай, парень, не купил еще. Плати пять рублей за одежду и золотой за бумагу.

Федька не спорил, уплатил благодарно.

— Дай-ка я тебе волосья в порядок приведу — страшен больно, — предложил хозяин. Принес овечьи ножницы и горшок. Постриг.

— Мимо речки будешь идти, умойся. А теперя: вот те бог, вот порог. Мы квиты и друг дружке не родня.

Федька молча поклонился кабатчику, тот даже головы не повернул. И «Анисим Редькин» с мешком, уже не скрываясь, пошел по проселочной дороге.

* * *

Петербургский скульптор Михаил Иванович Козловский, создатель героических образов, отличающихся ясностью и выразительностью, автор могучей фигуры Самсона для петергофского фонтана, по приказу Павла Первого представил в императорский кабинет модель памятника Суворову. Как бы ни относился Павел к генералиссимусу, тот прославил его царствование и должен быть увенчан монументом.

Павел покровительствовал военному украшению столицы. Молодой зодчий Василий Петрович Стасов по высочайшему заказу немало потрудился над проектом постройки казарм лейб-гвардии Павловского полка. Казармы на западной стороне Марсова поля получились классически строгими, с двенадцатиколонным портиком в центре и с шестиколонными портиками по краям главного фасада.

Мастер портрета Федот Иванович Шубин выполнил бюст и самого императора. Позировал ему государь через стеклянную ширму и, хотя наградил Шубина, но портретом остался недоволен: курнос больно и видом не благопристоен.

С Козловским разговаривал тоже через стекло.

— Молодчик, сударь Козловский! Так и производи сей памятник! Сам-то Александр Васильевич ростиком не вышел, а ты его Марсом изобразил, хвалю! — Павел даже вышел из-за стеклянной ширмы, похлопал скульптора по плечу. — Золотой перстенок заслужил. — И придворному камергеру: — Распорядись, дабы награда не осталась всеу.

Козловский и его мастера торопились. И вскоре бронзовый, в римских доспехах, в шлеме и с обнаженной шпагой стоял олицетворяющий воинскую доблесть России князь Италийский, граф Рымникский генералиссимус Суворов.

А время шло по стране, и новый век отсчитывал новые веяния и новые невзгоды. Российская империя и Французская Республика заключили договор о мире.

В британском посольстве негодовали. Посол и секре-

тари возмущались, ездили к петербургским вельможам и шептались: «Император Павел болен головой, проще говоря, безумен: он (какой афронт! какой ужас!) заключил, невзирая на союзников, мир с генералом Бонапартом! Император объявляет республиканского кондотьера своим другом! Он хочет заблокировать наши королевские владения. Надо что-то предпринимать — безумец на троне опасен!»

Секретарь посольства все чаще и чаще наведывался в особняк Петра Алексеевича Палена. После его ухода губернатор удовлетворенно раскладывал столбиками золотые монеты. Золото не задерживалось в кошельке графа, а расходилось среди ленивых изнеженных господ, привыкших при Екатерине командовать солдатами не лично, а через своих капралов и сержантов. Эти офицеры готовы были следовать за Паленом.

Английских банкиров и лордов настораживало и пугало влияние России на Востоке. Если еще в давнее время грузинские властители кланялись своими землями царю Федору Ивановичу, что имело лишь чисто символическое значение, то теперь, когда иранский шах разорил Грузию и угнал в плен десять тысяч юношей и девушек, грузинский царь и владетельные князья имеретинские и мингрельские просили императора российского присоединить их к великой христианской державе.

Павел торжественно объявил манифестом о присоединении Грузии к России, и не только объявил, но и послал в Тифлис русские войска, ставшие там гарнизоном. Это избавило грузинские земли от разорительных набегов иранцев и турок.

Добровольное вхождение в 1801 году Грузии в состав России было неприятно Британии. Английский лев всегда с вождедением взирал на Кавказ. Христианские банкиры и добрые лорды вооружали Иран и Турцию.

— Эх, нету князя Безбородки! — в минуты раздумий о внешней политике говорил Павел Аракчееву. — Умница был канцлер! Хохол, попович, а десятка знатных персон стоил! Мы с тобой мозгами не вышли, да-с!

— Батюшка Павел Петрович, — сипел Аракчеев преданно, — вы умнее канцлера, у вас мозга чувственная, артиллерийская мозга!

— Почему артиллерийская? — изумился Павел.
Аракчеев ласково:

— Ан, батюшка, видели: запал к пушке приложишь — вспыхнет она убойным пламенем, и ядро — бац, бац по неприятелю! Так и вы, так и вы! — Генерал вскочил, замахал руками: — Первая, при-и-готовьсь! По дистанции... пли!

Павел тоже вскочил, закружился по залу.

— По дистанции! Ах, Алексей Андреевич, сколь ты приятен сердцу моему!

Потом сидели, чай пили. Чайный столик — китайский, хлипкий, разрисованный аистами и камышовыми травами.

— У нас, батюшка Павел Петрович, в Новгородской столы ровно богатыри. — Аракчеев, деликатно растопырив пальцы, прихлебывал чай с блюдечка, держа кусочек сахара во рту. — У меня в усадьбе плотник Андреев обеденный стол скособочил, так я его, подлеца, на этом же столе арапником выпорол. Нельзя народ баловать, слава те, господи, не во Франции живем! И тот плотник исправился: диван дубовый сделал — загляденье, и фигурки для украшения его вырезал — медведя и оленя.

Утешительно беседовали. Прощаясь, расцеловались.

Ночью в угловой спальне император проснулся. Кто-то шарил по одеялу. Дрожащий свет лампадки слабо озарял комнату.

— Кто тут? — испугался Павел, но увидев рыжего котенка, невесть как попавшего на императорскую кровать, успокоился. «Словно индийский шелк», — подумал. И вдруг неожиданно для себя решил: — Напугаю англичан, пошлю казаков в Индию для разведывания проходов; генерал Бонапарт мерси скажет. — И сладко уснул под кошачье мурлыканье.

* * *

Наказному атаману всевеликого войска Донского генералу Орлову-Денисову пришло из Петербурга повеление, подписанное Павлом Первым тринадцатого января 1801 года, подготовиться к немедленному походу в Индию, имея в резерве запасных лошадей, артиллерию, провиант, полевые кухни и подвижные лазареты.

В английском посольстве испугались. Дипломаты вспомнили, что еще Петр Великий посылал в Хиву отряд Бековича. Из Лондона в феврале прибыл в Петербург советник кабинета министерства с предписанием

любыми средствами задержать казачий поход. Советник в секретном разговоре с послом сказал, что король и лорды готовы ассигновать любые суммы, дабы добиться смены верховной власти в России — заменить императора Павла цесаревичем Александром.

Английский посол увиделся с Александром на одном из великосветских раутов. Приветствуя цесаревича, нарочно обмолвился: «Ваше величество», на что Александр заметил: «Я не величество, сэръ, а всего лишь высочество». Дипломат вежливо ответил: «Вы, принц, скоро станете величеством». Александр не возмутился, а только пожал плечами.

«Государь сошел с ума, — твердили тишком и озираясь в светских салонах вельможи, дамы, генералы. — Он давеча принял французского посла. Какой ужас! Посол был перепоясан трехцветным республиканским шарфом!»

Присутствие французов, посланных Бонапартом, чрезвычайно тревожило столицу. Но преданные Павлу военные, а это были в большинстве служаки в малых чинах, привыкшие к фрунту и дисциплине, говорили: «Государь знает, что делает, наше дело выполнять его повеления».

На Дону готовились к индийскому походу: старики учили молодых рубке лозы саблей. Показывали, как правильно действовать казачьим оружием — пикой. Проверялись лихие кони-дончаки, верные друзья, настолько верные, что донской казак и конь представляли как бы одно нерушимое целое. В суворовских походах случалось, что если у коня погибал хозяин, конь не подпускал к себе никого другого, тосковал и умирал. И никогда казак не говорил о коне — сдох вместо уважительного — кончился.

— Ну как, Матвей Иванович, выдюжим поход? — спрашивал Орлов-Денисов атамана — генерала Платова. Тот, посасывая трубку, отвечал сквозь прокуренные усы:

— А как же, ваше превосходительство, казаки да не выдержат! Только к чему сей поход? Но, коли государь решил, тому и быть. Знаю Павла Петровича. Слава богу, не угодивши ему, похлебал арестантских щей в Петропавловской крепости, а потом, глядь-поглядь, он звездой наградил...

На Дону готовились к походу, а в Петербурге — к перевороту. Торопились.

Собирались тайком то у Валериана, то у Платона Зубовых. Платон, последний фаворит Екатерины, в сущности, не имел никакой причины желать гибели Павла Петровича, наоборот, император не тронул никого из Зубовых — оставил им чины и поместья, но — уж такова, видно, человеческая натура — Зубовы надеялись, что с воцарением любимого внука Екатерины Алексеевны они будут в еще большей милости.

— Не терплю я эту курносую обезьяну! — говорил Валериан Зубов Палену. — Зажал, деспот, в кулак дворянство, лишил знатные роды привилегий, требует равняться на капралов.

— При сумасшедшем царе не знаешь, что будет завтра, — вторил брату князь Платон.

— Так-так, — поддакивал братьям Пален, — нет при государе воли благородным персонам, — хотя он и знал, что захудалые дворяне Зубовы прошли в «сиятельные» только лишь благодаря смазливому Платону, получившему княжеское звание в постели старой императрицы.

Петр Алексеевич Пален торопил заговорщиков:

— Дело, господа, не ждет, весна близко, и уедет злодей либо в Павловск, либо в Гатчину, а там гарнизоны, преданные ему, один Аракчеев чего стоит. Палач первостепенный! Сколь мужиков замучил!

Пален, остзейский магнат, жестоко, за малейшую провинность, наказывавший крепостных, считал, однако, себя добрым помещиком.

— Павлуша многие сотни крестьян своим гатчинцам рóздал, но не истинным дворянам, а голытьбе армейской! — кричали пьяные заговорщики.

— Раздавал с уговорами, — усмехался Пален, — будьте, мол, для своих крестьян за отца и мать, блюдите их нравственность и не обижайте, ибо они суть по христианству ваши братья. Смешно!

— Сумасшедший, ей-богу сумасшедший! — шумели дворяне.

— Караулы в Михайловском замке малые, пароль для подъема моста каждую ночь Павел меняет, но я сиц пароли по своей должности знаю. Нам пройти в замок — пустяк. Караул разоружим, а ежели потребуется — уничтожим... Так вот, господа, в ночь с одиннадцатого на двенадцатое марта пойдем туда и предложим

злодею отречься от престола, — сурово проговорил Пален.

Заговорщики согласились.

— Поклянитесь на шпагах хранить тайну до того дня и будьте все на месте ебора.

— Клянемся, граф, клянемся!

Обнажились клинки шпаг.

Выпили еще по бокалу и в знак преданности Палену разбили их со звоном об пол.

* * *

Онисим Редькин — так теперь звался Федька — добрался до Петербурга. На постоялом дворе на Выборгской стороне проверили его бумагу, пустили в постояльцы. И вид Онисима, весьма опрятный, и его знание лошадей (он помог хозяину вылечить коня) — все располагало к нему.

— Ты бы, Ониська, сходил к главному кучеру его сиятельства Валериана Александровича Зубова. Угости его в кабаке, авось возьмут в конюхи; конюшня и псарня у них огромные. Кучера величают Мартемьяном Ильичом... Да и я замолвлю за тебя словечко, — посоветовал хозяин.

Так и сделал Онисим. Изрядно угостил рыжебородого Мартемьяна, и тот велел ему прийти на зубовское подворье.

Там Онисим блеснул: кони его слушались, упряжку знал, на козлах сидел, как влитой.

— Что это за мужик? — спросил сам Валериан Александрович, случайно увидев в окно Онисима.

— Новый человек из Череповецкого уезда, отпущен на оброк, — доложил камердинер.

— На морду сущий зверь! — засмеялся Зубов. — Пусть запряжет в саночки Булана — покатаюсь. Если понравится, возьму на конюшню. Распорядись, любезный, чтобы мужику дали кучерский наряд. Он мне одного хама вологодского напомнил, а ты говоришь — череповецкий.

— В бумаге, ваше сиятельство, сказано.

— Ну, бумага может и фальшивой быть.

Когда вышел в собольей шубе Валериан Александрович, сробел Онисим Редькин: года два назад схожий барин на масляной бывал у Межаковых, катал его Федь-

ка на тройке, и одарил его господин полтиной. Фамилии барина Федька не знал, да и интересу в том мало было, а полтина пригодилась.

Онисим отвернул свое лицо от Зубова.

— Поезжай на Царкосельский тракт, дорогу укажу, — приказал Валериан Александрович.

Лакей застегнул медвежью полость, и сани тронулись. В том, что кучер — мастак, Зубов убедился сразу, как только выехали на царкосельскую дорогу.

— Умеешь править. Лошадь в твоих руках что воск.

Волей-неволей Онисим обернулся.

— Да ты, брат, мне знаком, — жестко сказал барин. — Я тогда у дальней родни в Вологодской губернии гостил, у господ Межаковых, в Никольском, на твоей тройке катался.

— Ошиблись, ваше сиясь! — отводя взгляд от Зубова, молвил Федька. — Я Онисим Редькин из Череповецкого уезду, бумага на то имеется.

— Не притворяйся дураком! — прикрикнул Валериан Александрович. — Прикажу полиции навести справки, худо тебе будет, признайся лучше.

Федька остановил у перелеска Булана, соскочил с облучка и упал в ноги барину.

— Не погубите, ваша милость! В бегах я от господ, а бумагу купил у кабатчика. — Федька целовал медвежью полость, крестился. — Не погубите, барин!

Зубов сообразил, что Онисим может быть полезен, да и канителиться с полицией не хотелось. Кучером он был хорошим.

— Ну, слушай меня, Ониська! Так тебя, кажись, по бумаге величают. Мне никакого дела нет, почему ты в бегах, возьму тебя к себе, но помни: не угодишь — покаешься. Поехали!

Зубов плотнее закутался в шубу, и санки понеслись по тракту.

И стал Онисим кучером у Зубова. Валериан Александрович даже пошутил, когда ехал с ним.

— Ну, зверь, в лес еще не сбежал?

— Никак нет, ваше сиясь! Мне у вас, барин, не плохо.

Наступил мозглый март, на улице грязь. Ездить в санях невмочь. Теперь Онисим возил Зубова в изящной карете. Кучеров было четверо, кормили их хорошо. Сво-

бодными вечерами Онисим ходил по Питеру к воинским казармам, выискивал Ваньку-офицера.

Во время прогулок у него всегда за голенище был засунут острый нож убитого молодого охотника.

* * *

У Павла Петровича болело горло. Он сидел у себя в кабинете, повязав шею теплым шарфом. Был недоволен, желчен. Дежурный флигель-адъютант поручик Вязьмитинов с испуганным лицом притулился в приемной у двери кабинета и боялся пошевелиться. Когда вошел в приемную цесаревич, он вытянулся и на цыпочках подошел к Александру. Шепотом:

— Его величество в сугубой меланхолии. Прикажете доложить?

— Доложите, — тоже шепотом ответил цесаревич. — Боюсь, что ежели не отдам рапорт, батюшка разгневается.

Но в эту минуту дверь кабинета растворилась и перед ними предстал Павел Петрович.

— Чего шепчетесь, судари? — прохрипел он. — Ах это вы, ваше высочество, проходите, докладывайте.

Александр подошел к Павлу Петровичу, склонился и поцеловал протянутую руку. Вместе вошли в кабинет.

— Садитесь, Александр Павлович. С чем пожаловали?

— Я, батюшка, по вашему приказанию провел смотр лейб-егерского полка.

— Ну и как?

— В полном авантаже, государь, хоть сейчас на парад.

— Какой батальон отличился?

— Майора Ржаницына, государь.

Павел наморщил лоб.

— Подожди, Саша. Майора Ржаницына? Это там, где ротным капитан Павлов?

— Так точно, государь. — Александр всегда удивлялся памяти отца — тот отлично помнил всех своих любимых офицеров.

— Ах, Саша! — сказал задушевно Павел. — До чего хорош капитан! Субординарен, вежлив, примерный и преданный офицер. Вот что, ваше высочество. — Павел, тяжело ступая, прошелся по кабинету. — Хочется мне

видеть его. Повели полковнику Измestьеву, чтобы завтра с утра прислал ко мне капитана Павлова. Есть у меня прихоть взять его офицером ко мне в постоянный караул, верю я ему, не продаст меня. А как ты думаешь, сударь?

Александр вздрогнул.

— Все мы верные слуги вашего величества, все мы, батюшка, вас любим.

— А ты меня любишь?

Александр приложил руку к сердцу.

— Разве вы сомневаетесь, государь?

— Не знаю, не знаю, — прохрипел Павел. — Предчувствие меня гложет, сомнения берут. — И закричал: — Не угоден я вам, господа! Мечтаете о моей смерти! Не возражай, не возражай! Ах, до чего сердце щемит! — И официально: — Не задерживаю, ваше высочество, ступайте, выполняйте приказ. — И он повернулся спиной к наследнику.

Иван Павлов вернул данные ему тайком прапорщиком его роты Михаилом Евсеевым рукописные листы из сочинения господина Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Евсеев говорил:

— Иван Васильевич! Полностью сочинение дать не мог — сия книга была всенародно огню предана на костре палачом. Матушка государыня Радищева в Сибирь в городок Илимск на десять лет сослала, что от Иркутска на тысячу верст, а от Петербурга на семь тысяч отстоит.

— Миша, а где в сей день находится сочинитель?

— Царь Павел изволил вернуть Александра Николаевича в его усадьбу Нелидово Калужской губернии.

— Откуда ты, Евсеев, сие так досконально знаешь?

— Ах, господин капитан, вижу, что вы человек справедливый и верный, и посему с вами откровенен. Я уже не молод, а все в прапорщиках состою: начальство невзлюбило, якобинцем зовут. Признаюсь, Иван Васильевич, сочинения Радищева давно знаю, мысли его разделяю.

Маленький невзрачный прапорщик приосанился, высоко поднял руку и, откинув голову, нараспев прочел:

— «Ты хочешь знать: кто я? Что я? Куда я еду? Я тот же, что и был и буду весь мой век: не скот, не дерево, не раб, но человек!» Вот именно, Иван Василье-

вич, «не раб, но человек». Во мраке и страхе живем при царях. Захочет государь — какое угодно злодейство совершит, нет ему запрета.

— Ты, Миша, только что сказывал — государь возвратил из Сибири Радищева. Я из мужиков, а по его милости — офицер.

— То случай, а сколько их, солдат, государевы генералы палками забили! Узнай полиция о наших разговорах — не только сквозь строй палками прогонят, но и тебя офицерского патента лишат. Нет, друг, всякое самодержавие ограничить след.

— Почему же тогда господа дворяне и помещики невзлюбили Павла Петровича? — озадаченно спросил Павлов.

— Все потому, что царь Павел крут к дворянам. Служить заставляет их, тннуться. При царице никто не мог благородного и пальцем тронуть, а при Павле палками и плетью наказывают. И еще не забыли господа указа о воскресном дне. А кто этот указ исполняет?

— Никто, — отозвался Павлов. — Думаешь, при цесаревиче лучше будет?

— Дворянам лучше. Александр Павлович мягко стелет, а жестко спатъ остальным будет.

Валериан Александрович Зубов ранним утром вызвал к себе в кабинет Онисима Редькина. Сказал:

— Слушай, Онисим, ты обещал мне быть верным слугой и исполнять мои приказания. Поклянись на образ, что никому не скажешь, о чем я тебе поведаю.

Онисим стоял, переминаясь с ноги на ногу. Лицо было скучным.

— Убить, что ли, кого надо? — спросил равнодушно. Даже Валериану Зубову стало не по себе.

— Надо, Онисим, одного офицера убрать и чтобы никто, понимаешь, никто о сем не знал.

— Вестимо, ваша милость. Кого прикажете?

— В лейб-егерском полку есть капитан Павлов, кажется, Иван Васильевич, вот его-то надобно убрать.

— Кого? — переспросил радостно Онисим.

— Павлова.

— Ваньку-офицера? Да я, ваша милость, со своим большим удовольствием! Да я ж от Ваньки пострадал.

— Как так? — заинтересовался Зубов.

Онисим рассказал о Ваньке, крепостном Межаковых,

о Дуняше, которую считал своей невестой, и о том, что он дал обет с Ванькой встретиться и всерьез поговорить.

— Опосля разговора одному из нас не жить!

Зубов облегченно вздохнул.

— Отлично. Седни вечером с фореитором поезжай в казармы егерского полка. Фореитор Сенька узнает, где квартирует Павлов, и скажет ему, что его вызывает военный губернатор граф Пален. Посадишь в санки офицера, вывезешь за город и с ним покончишь. В городе с ним не разговаривай, чтобы не узнал тебя. Как покончишь — доложишь мне. Следов не оставляй. Приедешь — я тебя на другой день отправлю в свое воронежское поместье, там у меня большие конюшни. Будешь за главного. Понял?

— Как не понять вашу милость! — ухмыльнулся Онисим. — Все исполню в аккурат, не сомневайтесь, барин. — Он перекрестился. — Спасибо вековечное!

— Ну а теперь ступай и помни: проговоришься — тебе каюк.

Вечером подморозило. Редкие масляные фонари скупо освещали улицы притихшего города.

Иван Павлов, ничего не подозревая, сидел за столом и перед свечою читал устав воинской службы. В дверь постучали. Старый денщик вошел в комнату, остановился перед офицером и доложил:

— Иван Васильевич, тут к вам фореитор от генерала прибыл. Неукоснительно хочет вас видеть.

— Зови. — Павлов закрыл книгу, встал, потянулся. В уме мелькнула мысль: «Зачем понадобился генералу?»

Фореитор, стряхивая снег с шинели, почтительно произнес:

— Ваше благородие, военный губернатор граф Пален велел вашему благородию сей секунд к нему по самонужнейшему делу немедленно прибыть. Лошадь у подъезда стоит.

Привыкший к субординации Павлов надел португепю со шпагой, накинул меховой плащ и вышел вслед за фореитором.

В неверном свете у подъезда увидел санки. Сел.

Фореитор застегнул полость.

— Счастливого пути, ваше благородие! — И пешком зашагал домой.

Сани понеслись по улице.

— Ты куда меня везешь? — спросил Павлов возницу. Тот молчал. — Я тебя спрашиваю, куда везешь?

Изменив голос, Онисим ответил громко:

— Куда приказано, туда и везу!

Павлов почувствовал какое-то неведомое ему стеснение в груди. «С чего это, — подумал, — и зачем я понадобился губернатору и почему везут не в том направлении? Тайность, что ли?»

Санки свернули на Царскосельский тракт. У шлагбаума старик инвалид, увидев офицера, отдал алебардой честь и пропустил санки.

— Я тебя спрашиваю, куда везешь?

— Куда приказано, туда и везу.

Вскоре санки остановились.

— Выходи, ваше благородие! — Возница соскочил с облучка, быстро подошел к Павлову, сдернул меховую полость и произнес:

— Ну, Ванька-офицер, встретились снова. Не узнал, что ли?

— Федька! — крикнул Павлов. И в эту минуту Онисим сверкнул зажатым в кулаке длинным охотничьим ножом и вонзил его офицеру в живот.

Павлов не успел выхватить шпагу.

— Что ты делаешь?! Негодяй!..

Онисим вытащил офицера из санок и, несмотря на его сопротивление, потащил к сосне.

— Ну, смотри теперь на меня, господин Павлов! Это тебе за Дуньку! Это тебе за мою жисть! — И, снова взмахнув ножом, вонзил его по рукоятку в горло капитана.

Ничего, кроме злобного удовлетворения, Онисим не чувствовал. Облегченно вздохнул. Сволоком за ноги подалеже в рощу труп, закидал его снегом и поехал обратно. Как ни жалко было Онисиму расставаться с красивым охотничьим ножом, он выбросил его на дорогу.

Утром спокойно сообщил Зубову:

— Так что, ваша милость, все сполнил. Не извольте беспокоиться — комар носу не подточит.

Вскоре Онисим Редькин по приказу Валериана Александровича с обозом отправился в воронежское поместье.

Встретив Палена, Зубов сказал:

— Капитан лейб-егерского полка Иван Павлов больше докучать никому не будет.

Полковник Измestьев получил предписание от дивизионного генерала Ламсдорфа направить капитана Павлова в Михайловский замок к государю императору. Он послал дежурного на квартиру к капитану, но оказалось, что еще вечером Павлов был вызван военным губернатором. Измestьев поехал в канцелярию губернатора. Петр Алексеевич Пален выразил недоумение.

— Шутите, полковник? Я капитана Павлова не вызывал. Не произошло ли чего с ним? — И тут же приказал обер-полицмейстеру немедля разыскать живым или мертвым Павлова.

Денщик при допросе его в полиции показал, что вечером неизвестный форейтор передал капитану на словах о немедленной явке к графу Палену.

Обер-полицмейстер объехал все заставы и узнал от старого солдата-инвалида, который стоял у шлагбаума, о том, что вечером на Царскосельский тракт проехали сани с офицером.

— Обратно в город когда вернулись? — спросил полицмейстер.

— Быстренько, ваше превосходительство, почитай через час. Только сумление меня малость взяло: в санках-то, кажись, офицера не было.

— Чего ж ты, болван, кучера не спросил, где офицер?

— Не успел, ваше превосходительство: только шлагбаум повысил, как санки, словно оглашенные, промчались. Может, и был там господин офицер, может, и нет. А кучер важнецкий, богатого барина кучер — павлинье перо на шапке, да и санки и конь богатые.

Обер-полицмейстер сообразил, что тут дело связано с какой-то великосветской интригой, замешаны в ней высокие особы и, пожалуй, докапываться до сути не стоит.

— Я бы тебя, старого дурака, выпорол, да ладно.

Солдаты инвалидной команды под начальством полицейского чиновника обследовали Царскосельский тракт и наткнулись в перелеске на припорошенный снегом труп капитана.

В рапорте военному губернатору обер-полицмейстер сообщил, что господин капитан лейб-егерского полка

Иван Васильевич Павлов 8 марта 1801 года найден убитым на тракте и что гибель сего достойного офицера произошла по причине грабежа.

И действительно, на убитом не было ни плаща, ни шага, ни ботфортов. Через сутки арестовали двух бродяг в кабаке близ Царского села. Они продали кабатчику меховой плащ. Как ни божились бродяги, что сняли одежду уже с убитого, им не поверили. Наказали кнутом и сослали на каторгу. О кучере никто ничего не упоминал.

Граф Пален был доволен полицмейстером и обещал представить его к награде.

10 марта батальон егерского полка проводил на кладбище капитана Павлова.

Когда опускали гроб в могилу, забили дробно барабаны, и солдаты троекратным ружейным залпом воздали воинскую почесть своему командиру.

Имущество капитана продали и послали деньги с лестным отзывом о покойном его матери в Кадниковский уезд в село Никольское.

* * *

Павел Петрович, узнав о гибели Павлова, крепко опечалился: «Упокой, господи, душу новопреставленного раба твоего Ивана!»

— Видно, скоро и меня бог приберет, — сказал Палену. — Так-то, сударь Петр Алексеевич. Ох, каково мне муторно!

После ухода Палена император вызвал адъютанта.

— Пошли фельдъегеря в главный штаб узнать, где сейчас находится барон Аракчеев — в Гатчине или у себя в усадьбе? — и незамедлительно передать ему мою эпистолю. — В эпистоле Павел просил милого друга Алексея Андреевича, бросив все дела, прибыть в Михайловский замок.

Ночью 11 марта пьяная ватага заговорщиков во главе с Паленом и братьями Зубовыми проникла через опущенный по паролю мост в Михайловский замок.

Караул во дворе был обезоружен. Дежурного офицера, крикнувшего: «Измена!», пронзили шпагами.

Император в длинной белой ночной рубашке сидел на кровати. Глаза его побелели от ужаса и негодования. Палена, который остановился перед ним, спросил:

— Вы кто, дьявол или человек?

Пален вынул из обшлага мундира бумагу.

— Сир, подпишите акт об отречении. Вас никто не тронет. Будете жить, как подобает вашему сану.

— Нет! Я самодержец! Помазанник божий! Не могу сего подписать.

Пален знал, что именно так скажет Павел, а офицеры знали: с царем надо кончать без промедления.

Пален отошел в сторону и подал рукой знак.

Тускло горели свечи. Заговорщики набросились на беззащитного императора.

Он босой выбежал на середину спальни.

— Опомнитесь, вы же присягали!

Валериан Зубов со словами: «Погибни, деспот!» золотой массивной табакеркой ударил императора в висок.

Павла повалили на ковер, били.

Запах вина, пота и крови стоял в душной комнате.

— Шарф! Дайте шарф! — крикнул кто-то из офицеров. — Вот так! Кусается, сволочь!

— Накидывай на шею, туже тяни!

Когда все было кончено и на ковре лежало изуродованное тело Павла с посиневшим лицом, высунутым языком, выпученными глазами и вспухшим виском, Пален взглянул на него.

— Бедный безумец! — И в адрес присмиревших заговорщиков: — Господа, нельзя же быть такими мясниками. Поаккуратнее следовало бы... Ну что ж, коль раскупорили вино, надо его допивать.

В соседнюю комнату вбежала императрица Мария Федоровна. Она была неглиже, в ночных туфлях.

— Польхен! Польхен! — заломила руки.

Пален не пустил ее в опочивальню.

— К государю нельзя, ступайте в свои апартаменты, мадам.

— Вы, граф, его убили! Вы есть злодей! Я буду видеть Польхен!

— Ничего вы не будете видеть, ваше величество. — И к офицерам: — Проводите Марию Федоровну к фрейлинам.

Теперь все беспрекословно подчинялись Палену. Императрицу бесцеремонно обхватили за талию и увели, а она по дороге вопила: «Польхен! Вы есть убийцы!»

Пален спустился на половину наследника. Алек-

Сандр, уже одетый в преображенский мундир, стоял в палате. Крупные слезы текли по его молодому лицу.

— Ваше величество, — Пален поклонился, — император Павел Первый скоропостижно кончил свой путь от апоплексического удара. Приношу вам, государь, свои верноподданнейшие чувства.

— Что теперь делать, граф? Я горюю... я... я!..

— Успокойтесь, Александр Павлович! Не будьте тряпкою, — жестко произнес Пален. — Подпишите манифест о воцарении, он уже заготовлен. — И положил на стол рядом с чернильницей и гусяными перьями хрустящий лист бумаги.

Цесаревич присел к столу и красиво вывел подпись: «Александр».

— Пропустите меня к государю! — Расталкивая свитских, появился в дорожном плаще и походных ботфортах с медными шпорами генерал Аракчеев. Он уже знал о смерти Павла. Аракчеев был не только грубый, но и хитрый солдафон. Его физиономия выражала и горе и почтение, а глаза по-собачьи (он умел придавать им такое выражение) смотрели на Александра.

И от этого взгляда потеплело на душе у наследника. Вот где по-настоящему преданный человек — не заговорщик, не убийца, а друг! Он раскрыл свои объятия и, роняя слезы на шершавое сукно генеральского мундира, произнес:

— Алексей Андреевич, вы были близки к батюшке, будьте и мне другом!

И Аракчеев, взял холеную руку Александра, облобызал ее несколько раз, приговаривая:

— Я, ваше величество, вам и покойному государю вековечный раб.

— Извольте видеть, какой афронт! — озадаченно вполголоса уронил Пален и скептически: — Вот вам и награда!

Утром тело Павла выставили в приемном зале. Художники и медики преобразили лик императора, а на поврежденный висок надвинули треуголку. Первыми пустили в зал выбранных от полков старослужащих солдат. Преображенцы, павловцы, семеновцы отказались присягать новому царю, пока не увидят покойного государя.

Солдаты молча и сурово прошествовали мимо гроба...

А в Петербурге царило радостное возбуждение: тяжелый дух гауптвахты, ограничений, строгих предписаний, полицейского надзора, казалось, должен кончиться. Дворяне, чиновники, офицеры собрались на Дворцовой площади перед Зимним, куда спешно переехал молодой император и где уже развевался царский штандарт.

Император с супругой Елизаветой в окружении Палена, Бенигсена, Зубовых и Аракчеева вышел на балкон. Голубыми близорукими глазами обвел площадь. Мартовское солнце, разорвав серое полотнище неба, выглянуло и осветило балкон. Александр, подавляя волнение, заговорил. Его грудной красивый голос услышали.

— Все будет так, как при бабке — государыне Екатерине.

И по площади пронеслось:

— Ура! Биват! Ура Александру!

А на тысячеверстных пространствах Российской империи в обездоленных селах и деревнях не радовались. Крестьяне твердо знали: если веселятся помещики — горюют мужики.

Подступала весна, надо было думать не о царях, а о посевах, о зерне, о том, каково будет лето и как прокормить и себя, и Россию.

МАСТЕРА

Что на славной реке Вологде,
Во Насоне было городе,
Где, доселе было, Грозный царь
Основать хотел престольный град
Для своо ли для в
И для царского мог,

Из

ДЕЛА ПРИКАЗНЫЕ

В решетчатые окна архиерейского казенного приказа бил мелкий сухой снег. На улице темно, и только бой часов на новой каменной колокольне нарушал тишину.

За столом, залитым чернилами и воском, сидели двое. Один из них — черноволосый с редкой бородой — в черном кафтане, другой — в коричневом, молодой и голубоглазый, с чуть пробивающейся бородкой.

— Скажи, Иване, кто сии часы утвердил? — спросил молодой.

— Наши русские люди, Ванюша. Исак Богданов, Засодимской волости плотник, с шестью товарищами утвердил часовое колесо, а часы с боем починил старец Михайло Кириллова монастыря, да что, Ванюша, починил — он их заново сделал: шестерни новые, бой колоколам привел, и стали часы на загляденье вологжанам.

— А ты, Иване, не помнишь, сколь им за это уплатили?

— Богданову один рубль четырнадцать алтын, а Михайле шесть рублей.

Восковая свеча горела кротко, умиротворенно.

Старший — Иван Слободской, архиерейский певчий и летописец, коему владыка Гавриил указал вести историю города Вологды и окрестностей, задумчиво глядел на трепетный язычок пламени.

— Ты, Ванюша, хоть и разумен, и подьячий, а все же по юности мало видел, а я по должности своей знаю и то, что было при наших предках, и то, что деялось страшного, о чем лишь в потаенных делах слово сохранилось.

— Мне дядюшка протопоп сказывал, что при владыке Маркеле в такой-то вот мороз девку голую в землю зарыли.

— Правду сказывал дядя твой. То дело в декабре было. По наговору молодую крестьянку Агрипенку, крепостную Корнильева монастыря, Маркел повелел за якобы убийство мужа в землю окопать до смерти.

— А може, взаправду она мужа порешила?

— То сущая напраслина: умер муж от грибов, на ночь поел, да, видно, поел много и от колик богу душу отдал. А хозяйство у него было богатое, вот родичи и оговорили, дабы завладеть имением. Девка-то из бедных, за старого просватана.

— Будь добр, поведай.

— Ин, слушай. Зарыли ее на лобном месте неподалече от архиерейских палат. Окопали по грудь. Старосты присутствовали: земский Кузьма Панов и губной Данилов. Да снег еще стрельцы утоптали. Рядом поставили деревянную мису, дабы граждане вологодские подаяние клали на обряд похоронный. Видя сие, вологжане зароптали, стали теснить стрельцов, мерзлый снег в них пригоршнями кидать... Да ты сам, Ванюша, посуди, разве можно на сии муки младой невинной Агрипенки глядеть? Зачали кричать: идем к архиерею Маркелу, его-де монастырская крестьянка, должен ослободить.

— Ну и что же, Иване, ослободили?

— А ты не перебивай. Темень была, смоляные факелы зажгли. Тут один старичок писарь был, упросили его составить челобитную на имя царя Алексея Михайловича, бумагу достали, и стал писарек при факеле отписывать. И пошел народ на архиерейское подворье. В церкви домовой архиерейской шло позднее служение. Маркел вначале отказал: не мешайте, мол, службе нашей. Народ загомонил: ослобони, а то сами откапваем.

И писарек владыке челобитную сунул этак дерзко: читай, владыка... Пришлось Маркелу распорядиться откопать женку. С бережением откопали Агрипенку, положили на овчинный полушубок, староста Данилов влил ей в рот глоток водки, зачали снегом окоченевшую растирать и принесли сюда, в судный приказ, где мы с тобой сидим. Пробыла в яме смертной Агрипенка несколько часов. К утру богу душу отдала.

— А ты, Иване, сие в летопись записал?

— Разве запишешь? Разве такое разглашать можно? Владыка нынешний Гавриил умолчать велел. Лишь грамотка Маркела боярину Репнину в Москву в делах архиерейский сохранилась, где Маркел писал, что к нему пришли вологжане, дабы разрешил тою женку из земли раскопать. Да-а... А теперича ждет Гавриил из Ярославля гостя — живописного мастера Димитрия Григорьевича Плеханова. Вызвал его преосвещенный для подряда: покрыть стенописью Софию. О сем деянии, конечно, в летопись запишем, прославим не токмо мастеров, а и Гавриила.

И замолчал летописец Иван Слободской.

За решетчатым окном снег, ветер. В морозном тумане еле просвечивала луна.

ГОСУДАРЕВА ДОРОГА

Государева дорога от Ярославля до Вологды построена по указу Ивана Третьего, чей брат Андрей Меньшой был удельным вологодским, а затем передал удел старшему брату — великому князю московскому. Сам Иван Третий еще отроком жил в Вологде с отцом Василием Темным, ослепленным Шемякой.

Тянулась дорога от Ярославля через глухие леса, богатые монастырские пашни, через топи, мимо помещичьих усадеб и бедных крестьянских деревень. При царе Иване Васильевиче Грозном она обновилась. Многочисленнее стали «ямы». — ямские станции, где менялись лошади.

Скакали в Александрову слободу и в Москву с грамотами о посыле на Вологду всяческих припасов, ибо строил пресветлый царь в облюбленной им Вологде каменную крепость и кафедральный собор во имя Софии Премудрости божией, украшение для всего царства и для посрамления государевых недругов — московских

бояр и строптивых новгородских феодалов. Летопись гласит: «...царь повеле соборную церковь поставить внутри града у архиерейского дома; и делаша ю два года: а колико сделают, то каждого дни покрывали лубьем и того ради она церковь крепка на расселины». Каменное строение крепости освятили в день апостола Насона и потому в песнях именовали Вологду Насон-градом.

По государевой дороге ездили и иностранные гости, и купеческие обозы, ибо лежала Вологда в центре Руси Северо-Западной, и вели пути и проезжие, и водные на Пермь и к Устюгу Великому, к Соли Вычегодской — вотчине Строгановых, к Архангельскому городку, откуда морской путь вел в зарубежные страны и в англицкое королевство, где на троне тогда сидела Елизавета Первая, которую после ее вежливого отказа на сватовство московского царя тот обозвал «пошлой девкой».

Запустела ярославская дорога в годы лихолетья панско-шляхетского, когда отряды захватчиков и «тушинских воров» грабили население вологодского края, да и саму Вологду и собор зорили и жгли. При первом Романове, Михайле Федоровиче, и тишайшем Алексее Михайловиче разбойничьи шайки нападали на обозы, и надо было ехать с превеликим бережением в сопровождении стрельцов или вооруженных слуг. А после Степана Тимофеевича Разина многие холопы боярские и помещичьи от батогов и тюрьмы бежали в леса и соединялись для совместного житья.

Вот по этой-то дороге в 1686 году вьюжным февралем из Ярославля по именному вызову архиепископа вологодского и белозерского Гавриила в архиерейском возке выехал в Вологду иконописец Дмитрий Плеханов сын Григорьев.

ВЛАДЫКА ВОЛОГОДСКИЙ

У Гавриила к вечеру опухали ноги и уставало сердце. Был он роста среднего, широк в кости, одутловат, голубоглаз, лицом благообразен; бородка рыжеватая с проседью, а волосы на голове густые. Немчин Иоганн Фридрих Мейер, что жил во Фрязинове, насупротив реки, где стоял дом Иоганна Гутмана, голландского консула и купца товаров аптекарских (а там были и лакрица, и финики, и даже для девиц марципаны), ставя

однажды Гавриилу пиявки и капая в чарку успокоительное из разных трав, сказал, подбирая русские слова:

— Вашему преосвященству необходимы прогулки по саду, отдых в кресле на воздухе. От долгого стояния на церковной службе и от постной пищи вред большой здоровью вашему приключается.

— Нельзя, лекарь, никак: пост и служба для монаха вроде воздуха — спасение души, — ответил владыка.

— Спасение души, а не тела, милостивый господин епископ, — возразил лекарь. — Великий Гиппократ советовал...

— Что мне твой Гиппократ, — махнул пухлой рукой Гавриил, — ты лучше скажи, Иоганн, что делать со спешением в животе, третьи сутки в нужник не хожу, аж тошнота подступает?

Иоганн в соседней горнице, где в ларе хранились лекарства, приготовил слабительное и, попросившись с владыкой, накинув на плечи подбитую мехом епанчу, а на голову — треух беличий, сел на лошадь и уехал.

Лекарь Иоганн, как и все немчины, уважал епископа — тот относился к иностранцам не только терпимо, но и поощрительно. Беседовал о торговле, никогда не заводил разговоры о преимуществе православной веры над лютеранской и католической, читал по-гречески и латыни, и во Фрязиновской слободе о нем всякого мастерства люди отзывались почтительно и любезно: «Наш господин епископ, да продлятся его лета, мудрый господин и благожелательный — при нем жить можно без тяготы».

Вологда в конце семнадцатого была не та уже, что в начале века, когда епископ Сильвестр после погрома, учиненного в городе бандами польских и литовских воров, писал князю Дмитрию Пожарскому и Козьме Минину о том, что враги «город и посады выжгли» и что виновны-де в этом воеводы, ослабившие караульную службу. Пережила Вологда и пожар, учиненный воеводой Леонтием Плещеевым.

После подавления народного движения Степана Тимофеевича Разина (когда атаман даже в Ферапонтов монастырь к опальному партиарху Никону присылал казаков, чтобы освободить того из заключения и привезти к нему, атаману, для «общего дела») Вологда купеческая и торговая, ведшая через Архангельск заморский торг, стоявшая в центре страны на путях в Сибирь и

Великий Устюг, быстро отстроилась. Появились новые каменные храмы и купеческие палаты, а склады и баржи наполнились товарами из чужеземных государств, из Соли Вычегодской и Перми от Строгановых, из Великого Устюга и батюшки Урала. В самой Вологде процветал богатейший купец Фетиев, заслуживший своими торговыми и благотворительными делами похвальный титул московского гостя.

А что бывали мор и голод в окрестных селах и деревнях, то сие дело для воевод, старшин и церковных властей было извечным, привычным, и работали плотники и каменщики, и пришлые бобыли «ради единого хлеба, безденежно». Строили архиерею кремлевские стены, а купцам и дворянам затейливые деревянные дома на каменных фундаментах. И были те дома, как бревенчатые сказки, разукрашенные и деревянной кружевной резьбой, и просечным железом, с выгнутыми птицами сиринами, единорогами и львами.

В крытом сукном и кожей рыдване выезжал владыка Гавриил с архиерейского подворья, впереди на сером коне скакал стрелец с нагайкой и кричал: «Пади!» — и народ, видя архиерейский возок, крестился и кланялся, а владыка осенял их благословением.

Зимой и сухим летом в Вологде еще можно было ездить, а весной и осенью в распутицу — не дай бог, грязь по колено, в глине застревают колеса. С этим мирились: на то и грязь, божье соизволение, а если хочешь без проволочек — на коня садись.

Зато красивы многочисленные церкви, и по утрам и по вечерам висел над Вологдой золотой колокольный звон. Были такие искусные звонари, соборные и спасоприлуцкие, монастырские, что подолгу стояли, не шелохнувшись, на улице вологжане, восхищенно приговаривая: «Эх, и умудрил господь». Сам владыка Гавриил любил колокольный красный звон и лучшим мастерам приказывал выдавать суконные кафтаны с позументами, сапоги, а на зиму для отличия — катанки белые купеческие.

Одно угнетало Гавриила: в Софии — ах, до чего же храм прекрасен, ах, до чего же храм близок сердцу владычному! — нет древнего украшения, стенной росписи, чтобы мог христианин православный в назидание уму и радость великую при созерцании дивных событий библейских и евангельских получать.

Ждал с нетерпением владыка приезда Дмитрия Григорьевича Плеханова, знакомого и почитаемого многими достославными иерархами и боярами изографа. А сколько запросит мастер с вологодской епископии за написание? А сколько припасу всякого понадобится? А главное — согласится ли Дмитрий Григорьев со своей артелью в Софии стенопись творить?

И вот, когда Гавриил у архимандрита в Прилуцком монастыре вкушал из серебряного ковша сухарный квас (умели его монахи готовить — и сладок, и в нос ударяет), приехал конный стрелец и доложил, что на владычье подворье прибыл в добром здравии ярославский илюграф Плеханов.

Успокоенный известием, возвратился Гавриил в архиерейское подворье. Служка бережно поддерживал его под руки. Тут к Гавриилу бросился старый крестьянин в рыжем потертом зипуне и, сорвав с головы треух, опустился на колени и ударился лбом в снег.

— Чего тебе, сыне?

— Смилуйся, преосвященный владыка, — хрипло заголосил крестьянин. — Смилуйся, совсем обнищал, а твоего Прилуцкого монастыря старец Серапион последнюю корову отобрал, детишки от голода плачут, женка больная на полатах лежит... Сделай милость, прикажи корову воротить!

— А в чем ты провинился перед отцом Серапионом? — морщась от боли в ноге, спросил Гавриил.

— За долги, преосвященный владыка, не полностью внес. Веришь, последнее отдал, сами на мякине сидим... Прикажи!

— Не могу, сыне, как тя звать?

— Никифор Андреев, всю зиму, почитай, по велению монастыря лес валил, одежка изнасилась, осемь пар лаптей сносил, овшивел весь, коростой покрылся...

— Бог труды любит, — отвечивал Гавриил, — а в дела монастыря входить не могу! Кланяйся отцу архимандриту, дабы он милость тя оказал и отцу Серапиону приказал с долгом повременить, а ежели с вас всех долги снимать, то как монастырю жить? Он за вас перед богом заступник.

— Владыка милостивый, — запричитал Никифор, — твой архимандрит глух к нашим просьбишкам, во всем полагается на отца Серапиона, а тот аки лютый зверь — все ему подай...

— Благослови ты, Никифор, господь! Не вводи меня в сумление, не клевети на отца Серапиона.

Тягостен был Гавриилу разговор с крестьянином, но он знал, окажи послабление одному, завтра же десятки таких придут на архиерейский двор со своими просьбишками. А монастырю на что жить? На что храмы укрывать?

Гавриил благословил склоненную голову Никифора и молча последовал в свои покои.

МАСТЕРА С КОЗЛЕНА

На Козлене, слободке грязной, всегда пыльно. Едкая пыль оседала на бороды, на шапки, на платки, летом лежала на крышах, а при ветре поднималась тучей, забивала глаза — вот какая пыль на Козлене.

Издавна Козлена считалась слободой бунтарской. Воеводы и стрелецкие сотники, земские старосты и купцы побаивались посадских и работных с Козлены. Здесь и в медный бунт, и в соляной, и в разиновский всегда горланили мужики, отсюда тайком шли парни на Дон и Волгу, отсюда ночами на дощаниках переправляли к Степану Тимофеевичу канаты крепкие, смоляные, что любую ладью удержат; да что ладью — целый корабль.

Веревку здесь делали всякую — от тонкой до якорной. На все московское царство славились вологодские просмоленные канаты из отличной пеньки.

Жил на Козлене старый мастер Ефрем Андреевич Чучин, уважаемый на весь посад. Был он вдов, сын давно переехал в Устюг, и осталась у Чучина дочка Евдокия восемнадцати лет — умная девка, бой-девка, глаза голубые с поволокою, а коса, ах, эта коса, девичья краса, до пояса, как лен, коса. Характер, да уж характер — прямой, без лжи и утайки. Песни-то пела, ох, господи, как пела! И стар, и млад, и купец, и посадский молодец, и дьякон — все заслушивались Дуню.

Не жаловала Дуня только никонианское духовенство. Была она, как и отец, веры истинной, благочестивой и память мучеников старца протопопы Аввакума и иже с ним старицы Феодосии, в миру боярыни Морозовой, чтילה.

Вышивала Дуня прелестные воздушы и платы для скитских храмов и посылала их на Белозеро и на Сухону, где в лесах отдаленных тотемских и тарногских свя-

тые обители древнего благочестия, как алмазы веры, сияли нетленным светом.

Грамоте девушку обучила мать Сосипатра из Белозерского скита, что две зимы прожила в большой и теплой избе Чучиных. Было это сразу же по смерти жены Ефрема Андреевича, и Сосипатра в особой кладовушке, где стояли аналой и иконостас, молилась вместе с хозяином, Дуней, стряпухой Маврой, дворником Митрием, пятью подмастерьями и подростком учеником.

Ефрем Андреевич считался мастером первостепенным. Его мастерская стояла во дворе, а в деревянной пристройке хранились разных сортов канаты, веревки. Тут была и конюшня с жеребцом, в хлеву корова, овцы, в закутке птица и горластый огненно-рыжий петух, и пес Полкан в конуре. На краю обширного ухоженного огорода стояли баня и смолокурня.

Дуня считалась невестой богатой, и многие сватались к ней, и не только посадские, а и купецкие сыновья. И один молодой стрелецкий сотник сваху засылал, а Дуня посмеялась — подожду еще.

Сам хозяин отвечал свахам:

— Дуняша у меня в доме не лишняя, не перестарок, единственная богоданная дочь, так пусть цветет, а там видно будет, все в господней воле.

Вечером при свече восковой читала Дуня домашним, да приходили и другие мастера, те, что по древней вере. Любили слушать Дунышино взволнованное чтение. А читала Дуня в книгу переписанные увещевания блаженного Аввакума к царю покойному Алексею Михайловичу — сынок которого царь Федор лютой смерти огненной Аввакумушку предал.

Слушали благоговейно, дивились силе слов Аввакумовых. С самодержавцем, великим государем — и так разговаривать? Ах, силен Аввакумушка, силен святой протопопище! Когда расходились и в избе оставались только почетные старики, разговор касался дел сугубо сложных.

— Почему так, свет ты мой Ефрем Андреевич, Никон-то — враг Аввакумов и святой веры, а его Степан Тимофеевич на Дон звал, сулил место патриаршее.

— То, други, хитроумие Степана Тимофеевича. Никон от царя пострадал, у него, у Никона, власть великая была, он ведь не из боярского племени, а природный кержак, крестьянин, даром что учен.

— Теперь в Москве Софья Алексеевна (цари не-смышлениши — Иван да Петр) вкупе со старым кобелем патриархом Иоакимом многих чернецов, коих стрельцы поддерживали, побили, а попа Никиту люто казнили. Тут стрельцы промашку дали, испугались, когда бояре да дворяне закричали, что будут стрелецкую слободу зорить.

Слушала такие беседы Дуня, слушала, запоминала, и казались ей пикониане антихристовым порождением, казались, но не все. Был один молодец, по виду приказный, казенный человек, никонианец и, возможно, трубокур, да ничего не поделаешь — пришелся по сердцу, припекся крепко, не оторвешь. И знать его не знала, а у реки на берегу встретила, два словечка промолвила, и во снах стал чудиться, и в молельне — тыфу, тыфу окаянного. Окаянного-то окаянного, а сердцу милого. Всякое в жизни бывает...

ДМИТРИЙ ПЛЕХАНОВ

Изограф Дмитрий Григорьев Плеханов понравился Гавриилу. Опрятен, даже наряжен, вежлив, говорил по-ярославски мягко, с закруглениями и, сразу видать, дело свое знал досконально.

Пошел в собор. Взял с собой владыка певнего — Ивана Слободского, что вел с тщанием книгу, именуемую «Летописец вологодский».

Окна алтаря смотрели на северо-восток, на реку. Так велел царь Иван Грозный, и это удивило иконописца. По канону, алтарь всегда обращен на восток, по царю пожелалось, чтобы он смотрел на реку. Так было красивее.

Храм холоден и велик.

Голоса звучали в нем гулко, отдаваясь эхом.

— Много работы, владыка, в сем храме, — сказал Плеханов, подрагивая от холода. (Шубу он оставил в архиерейском доме, и на нем только зеленый суконный кафтан да на ногах валенки щегольские, расписные).

— На западе, — владыка как бы не слышал слов изографа, — след страшный суд изобразить во всю стену. И прошу тебя, любезный друг Митрий, особливо выдели архангелов, вострубивших о справедливом суде господнем.

— Так, владыка преосвященный.

— А штиль письма столповой, прославляющий Софию Премудрость Божию. Покажи, друг Митрий, пренебесную славу Христа и его божественной матери, покажи и их земную жизнь, и акафист богородичий.

— Так, владыка преосвященный, ведомо мне, что писать. Только разреши в хоромы пойти, задрог.

— Ин, ладно, — нехотя согласился Гавриил. Ему хотелось подольше побыть в соборе, хозяйским глазом еще осмотреть. Смущал владыку иконостас: пообносился очень, надо новый ставить. Выходя на улицу, молвил укоризненно: — Больно ты зябок, Митрий Григорьев.

В архиерейском домашнем покое тепло, печка кафельная с изразцами букетного узора накалена. У икон в серебряных окладах мерцают лампы, пахнет кипарисом и росным ладаном — любил владыка этот запах.

— Ну а теперь давай рядиться: сколько возьмешь, каковы твои условия, какова твоя артель?

Гавриил сел в кресло, указал Плеханову на лавку. Плеханов сел щепотно, бочком.

— Артель моя, владыка, тридцать мастеров. С божьей помощью за два лета справимся.

— Надо стенописанием покрыть весь храм: и своды, и алтарь, и осмерики, и окна. Сдюжите ли за два лета-то?

— Мы ярославские, сдюжим, — улыбнулся Дмитрий Григорьевич. — Сначала надо левкасить, гвоздями подбить.

— А сколько, к примеру, гвоздьеv понадобится? — поинтересовался Гавриил.

— Сколько? На такую машину гвоздья тысяч сто пятьдесят али того больше. Работы посчитай, владыка!

Изограф стал загибать пальцы.

— Перво-наперво очистить стены от извести. Второе: околотить стены гвоздьями, на коиx левкас должен держаться. Третье: стены левкасить...

— Ладно те, — вздохнул владыка, — сам знаю, трудоемкая работа. Сколько поясов предполагаешь написать?

— Да уж не впервой мне. По соборным размерам, в алтаре да и диаконике — по четыре пояса, в жертвеннике — пять, а храме — по шести.

— В нижних поясах на столпах изобрази благоверных защитников земли нашей — князей русских.

— Все будет в благовременьи. Только придется, вла-

дыка, проемы оконные увеличить, дабы свет на живопись ложился. Ты сам сие знаешь: в Москве архимандритом служил, понимаешь зело благолепие.

Гавриил был польщен:

— Знаю, Митрий Григорьевич, — сказал с «ичем», уважая иконописца, — знаю, что ты славный мастер, не подведешь. Цена-то какая? Мы с тобой вокруг да около ходим.

— Тысяча осьмсот рублей, — Плеханов лучисто посмотрел в глаза Гавриила, — меньше никак нельзя, в июле и приступим к писанию, а до того все надо подготвить.

— Господи! — Гавриил нарочно удивился, — что ты, окстись, любезный, тысячу триста можем дать от нашего недостойнства, храм-то божий украшаешь, пойми!

Рядились долго, еще раз осматривали собор, совещались о том, что писать в верхних поясах, то есть в поясах первых (счет поясов шел сверху). Решили, что в сводах надлежит быть великому поясному изображению спасителя благословляющего с надписью по нижнему краю всего осьмерика: «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий».

Наконец двадцать шестого марта 1686 года в утро солнечное, когда воробьи шумно безумствовали на архиерейском подворье, а голуби томно ворковали на карнизах, в палате казенного приказа после молебствия, что служил отец Иосиф, ризничий соборный, был подписан наряд. Архиерейский дьяк, преисполненный важности, гнусаво читал бумагу, скрепленную красной печатью:

«Подрядился на Вологде соборную церковь и с алтарем и с приделы подписать стенным писмом ярославец иконописец Дмитрий Григорьев сын Плеханов: ряжено ему от того всего стенного писма 1500 рублей; дано ему, по рядной записи наперед 400 рублей. Да ему ж иконописцу Дмитрею Григорьеву к тому стенному писму дано на покупку гвоздья восемьдесят тысяч пятьдесят рублей».

В домовый трапезной отец казначей угощал Плеханова медом, крепким, вкусным и до того прозрачным, что в серебряной позлащенной чаре он светился таинственно. А на блюдах разложены постные яства: стерлядка шекснинская, сметки белозерские, рыжики устьянские один к одному с лучком, ну и, конечно, — икорка, без нее архиерейский стол не стол.

Когда установилась дорога, на сытых монастырских конях в мягкой кибитке, сопровождаемый двумя вооруженными послушниками, Плеханов выехал в Ярославль.

Весенняя дорога была более оживленной, чем зимняя. На полях работали мужики, запаренные лошадки старательно таскали деревянные сохи. По мокрой вспаханной земле важно, глянцевиито отливаясь на солнце, выступали грачи, и убогие избы, крытые соломой, казались помолодевшими.

Так только казалось. Мужик знал, что работает на помещика или на монастырь, что лучшая часть урожая пойдет господину, он это знал, но все же работал с упорством, работал до потери сил. Под домотканой рубахой напряжинивались мускулы, пот выступал солеными каплями, и все же он работал, изредка смотрел на солнце, прикрывая глаза мозолистой ладонью. И сивка, вечная каурка, низкорослая, рыжая, помахивая куцым хвостом, напрягая силы, помогала своему хозяину, помогала в самом святом крестьянском деле — выращивать хлеб для державы Московской.

ЛЕДОХОД НА РЕКЕ ВОЛОГДЕ

Ледоход в 1686 году на реке Вологде был страшный. Лыдины с шумом бились о берег, громоздились друг на друга, раскалывались. Большие плыли посреди реки. На них видны следы полозьев, сено, жерди. На навозе прыгали воробьи и галки, и в воздухе стоял, как колокольный перезвон, ледоходный перестук.

У дома Гутманов и у ближней на берегу церквушки глазел на реку вологодский люд. Тут и Дуняша с подружками лузгала тыквенные семечки. И, конечно, невдалеке от девиц — парни в распахнутых полушубках и шапках набекрень. По голубому небу — белые барашки.

И опять Дуня увидела его поодаль от парней. В коричневом теплом кафтане, в зеленых юфтяных сапожках, по всему облику — служилый человек. Лицо у него доброе, а бородка шелковистая, русая, мягкая, и доброжелательно смотрит он на Дуню.

Она тоже на него взглянула. И от того Дуняшиного взгляда улыбнулся молодец, подошел ближе, снял шапку, бобром отороченную.

— Здравствуй, красавица!

— И ты будь здоров.

Дуня как бы ненароком, как бы очарованная рекой отошла от подруг ближе к берегу. Рядом он очутился. Заговорили. Кто да откуда. Дуня оказалась отеческой дочкой Ефрема Андреича Чучина, а он — так и знала, так и чуяла — никонианец Иван Миронов из архиерейского дома, приказной подьячий. С таким не только разговаривать, на него и смотреть зазорно.

— Да разве дело в том — никонианец я или старовер? — спросил Иван. — Пойми, Авдотья, одна вера есть христианская, а все иное только суеверие. Нам, молодым, оно ни к чему. Пусть уж келейные старцы да церковники из-за буквы спорят.

— Вы щепотью молитесь, кукиш небу кажете, — возразила Дуня.

Иван промолчал.

— Чего приумолк, парень, али возразить нечего?

— Эх, Авдотья Ефремовна, нам бы не о том, как персты складывать, а о себе поразмыслить. Ты мне сразу по сердцу пришлось, да и я, видать, тебе не поперек горла, чем препираться, постоим, помолчим, на реку полюбуемся.

Иван ближе придвинулся к Дуне, взял ее руку в варежке и пожал. Она покраснела, но не отодвинулась. Так и стояли без разговора. Да какой тут разговор, ведь на небе солнце, а на реке веселый ледоход.

...Вечером дома у дяди Михаила — священника церкви Герасима, что на Ленивом торгу, Иван поведал о староверческой девице Авдотье. Михаил, рано облысевший, но с густой черной с проседью бородой, в домашнем домотканом подряснике, сидел на лавке и кушал простоквашу из глиняной миски, откусывая от ржаной большой лепешки. Он был опекуном Ивана, отец которого — посадский человек из Верхней слободы, поверстанный на государеву службу в рейтарский полк писарем, — погиб в украинской степи в походе на орду.

Слушал Михаил племянника задумчиво, шевеля бровями. В Иване он и попадья Мария Даниловна души не чаяли. Их единственная дочка Маша скончалась от черной оспы, и стал Иван стариком за сына.

— Ты бы, Ваня, владыке докучался с просьбишкой и со старшим другом своим Иваном Федоровичем Слободским посоветовался. Слободской у архиерея не токмо любимый певчий, но и летописец, а ты ему в сем великом деле — помощник.

Михаил поднял кверху указательный палец:

— Это понимать надо, все одно, что Нестор Киево-Печерский. Ну и то в расчет возьми — отец у Авдотьи мастер, я и то о нем слышал, богатый хозяин. Он хотя и старой веры, но с никонианцами водится, не чурается. Там ведь не только по-старообрядческому живут, а и в церковной приходской православной молятся и особой разницы не делают промеж себя, одним и тем же занимаются — канаты смолят. Так что, Ванюша, похлопочи у архиерея Гавриила, даром что он лишь два года пасет епархию, и немчины, и православные, и по древней вере — уважают и почитают его.

— Невместно, батя, в такое приватное дело владыку вмешивать, он-то ведь монах.

— Монах-то монах, а любил когда-нибудь. Не может мужчина, чтобы хоть и в свидениях, а о девицах не думать. Когда я, грешный, в Ярославле обучался духовному обиходу, мой приятель, ныне ярославский настоятель, пел кантату, кою распевали в киевской академии.

И отец Михаил, грустно улыбаясь далеким милым воспоминаниям, падреснутым басом провозгласил:

От дивчины отлучили
И в монаси посвятили,
Ах, боже, боже, ах,
Ах, как жаль, что я монах!

— Вот так-то, сынок Ванюша...

— Ладно, батя, поговорю со Слободским. Да суть еще в том, что упорна Авдотья Ефремовна в старой вере. А я без нее страдаю.

— Хороша та девица, Ванюша?

— Не спрашивай, батя. На слободу, да что на слободу, на Вологду такой не сыщешь.

Они беседовали допоздна, пока не пришла матушка и не послала их на опочив.

МАСТЕР «СТРАШНОГО СУДА»

В конце июля в Вологде стояла невероятная жара, дождя не предвиделось, и все кругом: и листья на деревьях, и трава на пастбищах, та, что не успели скосить, поблекло и пожухло. А в соборе прохлада. А в соборе пахло мокрой штукатуркой, и шел от еловых досок густой смоляной дух.

Дмитрий Плеханов и его артель приступили к работе в ильин день. Стояли живописцы на шатких лесах и сводили на левкас очертания (графьи) фигур, чтобы затем накладывать цвет*.

Расписывали собор по заранее составленному «знаменщиком» — старшим мастером и обреченному артелью композиционному плану. Расписывали на тех местах, где уже был левкас. Стены левкасили в течение двух лет, до конца работы живописцев, ибо артель Плеханова писала только по мокрой подготовленной штукатурке. Левкасили каменщики Корнильева монастыря и засодимцы. В приходо-расходной книге Софийского собора указывалось, например, под «августа двадцатого числа» «засодимцы, каменщики работали, в соборной церкви под письмо левкасили стены, Сенька Трефилов, Ивашка Васильев четыре недели, шесть дней, дано им по найму за работу по тридцать два алтына, по две денги человеку, и того обоим один рубль, тридцать один алтын, две денги».

Таких записей было много. За всю работу каменщикам уплачено сто двадцать рублей.

— Без мирского суда не бывает доброду, — говорил Плеханов Гавриилу. — Великое дело стенопись соборная, и артель в нее вкладчик, и душа должна гореть у каждого.

— Правильно рассуждаешь, мастер, — хвалил владыка Плеханова. — Мир миром, а все же ты подрядчик и спрос буду держать с тебя, а не с артели.

— Понятно, я ответчик.

Плеханов расчесал гребешком бороду.

— Может, владыка, сие мое последнее рукописание. Борзо мыслю о премудрой Софии и западную стену сам исполню. Ты только не ставь сему препон. Страшный суд изображу тако, что будет оная картина не токмо в назидание православным, а и память об иконописце Дмитриии.

* «Стенопись вологодского Софийского собора исполнялась техникой, общепринятой в то время для русской монументальной живописи и основанной на совмещении фрески, то есть живописи по непросохшему левкаскому грунту, с последующей работой темперными (клеевыми) красками». — Из кн.: Баниге В. и Перцев Н. Вологда. Архитектурные и древние фрески Вологды. Искусство, 1970.

— Есть ли у тебя наметки стенописи сего страшного суда?

— Да сам ты, владыка, приказал архангелов выявить, а я мекаю, надо их сделать центром картины. Уподобить твоего тезку Гавриила грому гремящему.

Глаза мастера вспыхнули синё, аж владыка вздрогнул.

— Чтобы люди поняли и восчувствовали сей последний суд, нелицеприятный, справедливый, для всех почивших отцов и братьев наших, восстающих из праха в плоть и равный для царей и князей, богачей и архиереев, прости слово мое, владыка, ибо тронца святая скорее снизойдет до нищего и убогого, нежели до бояр и князей. Сказано убо: кому много дано, с того много и спросится.

Гавриил удивленно взирал на иконописца: всегда спокойный и вежливый, Плеханов ныне превратился в одержимого — и глаза сверкали, и голос прерывался от волнения.

— И все изобразишь?..

— Так, владыка. Оно, конечно, изображение праздников использую и по книге Пискатора, а одеяния, вестимо, русские, богатые, и обычай не заморский — московский.

Плеханов в мягких сапожках неслышно ходил по архиерейским хоромам. Сапожки летние, шаровары аглицкого сукна, рубашка льняная с узором и кафтан легкий синий. Если бы не седина в волосах, да морщины сеточкой у глаз — совсем молодцом был бы Дмитрий Григорьев.

Гавриил понимал, что мастером владела живописная страсть и что это на пользу храму.

— Знаемо ли тебе, Григорьевич, роспись Дионисия со чады в монастыре Ферапонтовом?

— Знаемо, я из Вологды на дощанике сплыл с пятью артельными, поклонился и Кириллу Белозерскому, и Ферапонту с Мартемьяном, роспись Дионисия лицецрел с благоговением перед даром, коим господь на склоне его дней сподобил. Токмо, владыка, писать в Софии по своему разуму буду.

— По своему разумению делай, Григорьевич, ни я, ни казначей Афанасий не будем вмешиваться в твое искусство... — он милостиво отпустил Плеханова.

В соборе работали. При виде Дмитрия обернулись.

Семен Фомичев, старейший в артели, с болезненным желтым лицом, в посконной, заляпанной краской рубахе, крикнул с лесов:

— Хозяин, седни и вечером пишем. Сделай милость, позаботься свечами-то.

Раздавался стук молотков. Словно множество дятлов долбили железными клювами старинный камень. Пять мастеровых прилуцкого монастыря проламывали для света окна в стенах. Затем они должны были вновь те окна с решетками построить и под стенное письмо подмазать.

Когда темнело, зажигали восковые толстые свечи, приносил их свечник Мишка Ларионов.

И осенью в соборных окнах золотился свет, и плыл он по реке, задумчивый и немного печальный.

Шли дни, недели...

ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Иван Слободской любил смышленного и искренне преданного ему юношу Ваню Миронова. И на другой день после разговора с ним оделся парадно, расчесав густые черные волосы и бородку, не спеша пошел — благо недалеко — в архиерейский дом. За ним увязался его пес Балуй, черный с белой проплешиной на лбу.

Гавриил принял Слободского ласково.

Иван докучался к Гавриилу с просьбишкой: полюбил, дескать, подьячий Иван Миронов Авдотью Ефремовну — единую дочь знакомого мастера канатчика Ефрема Андреева Чучина, что состоит в древней вере.

Гавриил, человек столичный, книжный, в глубине души считал, что раскольники нисколько не хуже, а может быть, даже и лучше православных церковных: у старообрядцев и семьи крепкие, и табаку не употребляют, как ныне, не только молодые, а и зрелые мужи, да и пьяниц среди них меньше. Плохо то, что они до своей веры лишку подвержены. И вспомнил Гавриил Аввакума, пастыря заблудшего, но умнейшего и жестоко пострадавшего. Гавриил хотя и строг был, но полагал, что языки резать и живьем сжигать за то, что мыслит не так, как патриарх Иоаким, не годится, и что не по православным канонам уподобляться иезуитам, сжигавшим еретиков с благословения святой церкви на кострах.

Ивана Слободского Гавриил отмечал за умение крат-

ко излагать события гражданские и церковные в летописи вологодской, за честность и справедливость.

— Рад бы помочь те, Иване, да и парня знаю: скромн и начитан зело, книжник.

— Спасибо, владыка, что не отвергаешь моей просьбы.

— Не печалься, Иване, авось что-нибудь и придумаю. Мскаю съездить по Сухоне в соседнюю епархию — в Устюг, так вот надо мне мою архиерейскую ладью в порядок привести, буду рядиться с канатным хозяином, понял?

— Понял, владыко, позвать к твоей милости Чучина?

— Так я с ним потолкую. Неповадно архиерею сватать невесту, но уж возьму грех на душу. — И суровый архиерей улыбнулся.

У ворот Слободского терпеливо ждал пес. Года три назад соседский малец вел его на веревке к реке топить: пес загрыз куренка. Иван пожалел собаку, уж больно умоляюще смотрел, и взял в нахлебники. Пес так привязался к Ивану, что не мог и дня без него прожить. При виде хозяина Балуй умильно раскрыл свой зев и тонко, что не шло к его комплекции, взвизгнул — как будто засмеялся. Они пошли по Соборной горке на свое подворье.

В горенке Слободской присел к столу. Там — чернильница, песочница, чинно в песочницу воткнуты гусиные по-разному заправленные перья. На поставце свернутые рукописи. Гавриил разрешил Слободскому иногда писать не в казенном приказе, а дома.

Раскрыл шероховатые листья рукописи. Кое-что записанное третьего дня вымарал. Была одна запись о монашке Корнильева монастыря: послушник Гаврасий непотребно обзывал отца игумена козлом вонючим, иудою и мучителем! Тот велел его смирить плетью и посадить в земляную тюрьму. Гаврасий после наказания удавился в монастырском лесу. Вчера владыка прочитал сие и поежился:

— Верно, превысил игумен меру наказания, попеняю его, епитимью келейно наложу, но запись ты вычеркни, ведаю, что плох игумен, а где лучше возьмешь? Вызывал я трех священников из Белозерского уезда — мздомцы и пьяницы, а один из них, Егор Воздвиженский, читать грамотно не может, через пень колоду несуразит. Горько мне, Иване, от таких попов...

И пришлось Ивану вымарать запись про Корнильев монастырь.

В летописи были сведения примечательные и о голоде в земле вологодской, о повальном море, о воеводиных неправдах, и о цене на зерно и мясо, и о том, как при предшественнике Гавриила епископе Симоне строились каменные стены вокруг архиерейского подворья и как работали крестьяне «ради единого хлеба, безденежно».

Много записей горьких оставил в рукописи «Летописца вологодского» Иван Слободской. Но были и сведения гордые о всей земле Московской. Вел их Иван от создания града Москвы: о Дмитрие Донском, о том, как северные дружины ходили на Куликово поле бить хана Мамай. Были записи и о великом князе московском Иване Третьем и о брате его Андрее Меньшом — удельном князе вологодском, что оставил удел старшему брату, и об Иване Васильевиче Грозном, возлюбившем град Вологду паче других городов и украсившем ее Софией и крепостью. Много было записано в летописи вологодской и хорошего, и печального: о шайках Лжедмитрия и «Тушинского вора», о воеводе Плещееве — любимце царя Михаила Федоровича, что град Вологду пожег, кроме посадов дальних. Записал Иван Слободской и о Дмитрие Григорьевиче Плеханове.

Чтобы отвлечься, прочитал Иван запись о «пещном действе», свершаемом перед рождеством только в трех соборах: в Москве — в Кремле, в новгородской и вологодской Софии. Свершалось оно до второй половины семнадцатого века, и теперь его помнили лишь старики.

В «пещном действе» участвовали три иудейских царевича: Ананий, Азарий и Мисаил, свергнутые в Вавилоне в огонь за отказ поклоняться идолу. Посреди собора ставилась печь из дерева в виде круглой открытой сверху башенки, внизу печи — горн с горящими углями и множество свечей. Слуги вавилонского царя — халдеи — спускали туда трех юношей, одетых в стихари и украшенных венцами, причем халдеи в красных одеяниях разговаривали между собой:

- Товарыщ! Это дети царицы?
- Царицы.
- Нашего царя повелений не слушают?
- Не слушают.
- И телу златому не поклоняются?
- Не поклоняются.

— И мы кинем их в печь?

— Кинем в печь и станем жець.

Халдеи из железных трубок бросали в печь стертую в порошок и легко воспламеняющуюся траву плауи. Но тут в печь спускался ангел (его фигуру вырезали из двух сшитых кож и на них с обеих сторон писался лик ангела). Халдеи опять спрашивали друг друга.

— Товарыщ, видишь ли?

— Вижу.

— Было три, а стало четыре, а четвертый ликом грешн, как он прилетел, то нас и победил.

И отроков, прославлявших бога, халдеи выводили из печи со словами: «Глядите, царевы дети...»

Пес Балуй лежал в садике у окон горницы Ивана. Когда тот засветил свечу, Балуй поднялся на задние лапы, положив передние на карниз, и залаял. Иван открыл окно, погладил пса, и тот, благодарно лизнув ему руку, снова успокоенный, лег на траву.

В другом конце города — на Козлене, в усадьбе Чучина, в светелке девичьей, у иконы, где мерцал огонек лампы, стояла Дуня. Надо отбивать семипоклонный начал, а она думала о подьячем Иване, и не шла на уста успокоительная молитва.

Не спал и молодой подьячий. Вышел на крылечко, вдохнул запахи сирени и задумался.

СВАТОВСТВО

Гавриил сдержал слово, данное Слободскому, а когда по вызову к нему приехал канатный мастер Чучин, принял его ласково и усадил на лавку. Поговорили о деле — надо к владычьей ладье и на прочие баркасы канатов крепких. А затем владыка спросил:

— Скажи, Ефрем Андреевич, семья у тебя большая?

— Одна дочка, девица Авдотья.

— Женихи, поди, есть?

— Как не быть, владыка, я, чать, не нищий, Авдотья не перестарок.

— Ты, Андреич, кажись, старовер?

— Прости, владыка, ведаю, что не осерчаешь, живем по старой вере.

— Христос у нас один, и вера одна — христианская, Ефрем Андреевич.

— Вестимо, батюшка, вестимо, — согласился Чучин, понимая, что неспроста завел с ним беседу Гавриил.

— Я к тебе, Андреич, хотя и не по чину мне, архиерею, сватом, — немного смущаясь и отводя глаза в сторону, сказал Гавриил.

— Честь великая! — Чучин встал с лавки и снова сел. — А жених-то кто?

— Мой подьячий из рода посадских Иван Миронов. Молод еще, а разумен, аки муж. Я его не оставлю своими милостями, да дядя его, протопоп с Ленивого торгу, достатки имеет хорошие, так что жених не голяк.

— А знает ли молодец мою Дуню?

— Встречались они.

— Где же встречались? — недовольно буркнул Чучин и помрачнел.

— Не сердчай, Ефрем Андреевич. Тут никакой порухи нет.

Разговор кончился тем, что Чучин согласился принять на дому Ивана и в присутствии Дуни выяснить отношения.

— Невольить едину дочь не буду. Коли согласна — ей жить, а ежели не захочет за никонианца выходить — ее право.

На другой день Миронов приделся и поехал на Козлену.

Иван в ворота чучинского дома не въехал. Соскочил с коня и, сняв шапку, чинно пошел к дому. Когда в дверях появился Чучин, Иван низко поклонился, пожелав хозяину и всем домочадцам здравия на долгие годы. Чучин провел молодого книжника в горницу и долго с ним беседовал, угощая медом и домашней снедью.

Ефрем Андреевич уважал людей грамотных, умных. С удовольствием заметил, что Иван и почтителен, и своей стати, видать, не робкого десятка. И чем дальше шла беседа, тем старый канатчик благосклоннее становился к Ивану.

— Ин, ладно, Иван, по нраву ты мне пришелся. Одна беда — не нашей веры. Пойду кликну Дуняшу. А молвить правду, от такого сына я не откажусь.

Дуня в светелке плакала. Ночью ей приснился страшный сон, будто старая-престарая монахиня присела к изголовью. «Авдотья, — сказала монахиня, — я с того света от твоей маменьки Анны Ильиничны. Божья душенька раба Анна не велела за никонианца выходить, а

покрыть волосы черным куколем и быть христовой невестой...» И старица исчезла.

Проснувшись Дуня с криком, накануне же радовалась, когда отец поведал ей о разговоре с епископом. Думала, Ваня, видать, добрый, не обидит, а что никонианец, то простит господь мою молодость и не осерчает богородица. Молиться буду по старине. Ваня препятствовать не станет, не таков он человек... И вдруг такой сон. Вещий сон, со старицей.

Ах, зачем приснилось, зачем! Разве сможет быть теперь она невестой архиерейского подьячего, разве не осудят ее силы небесные и мамеянка-покойница? Отец вчера ласково сказал: «Надень, Дуня, монисто, колечки и сарафан шелковый!» Теперь не надо надевать убранства.

Сидела Дуня в светелке в стареньком сарафанчике зеленом и белой рубашке. И в таком виде была она мила, может быть, лучше, чем в шелку.

В светелку вошел Ефрем Андреич.

— Дуня, — улыбочиво проговорил, — Дуняша, женишок-то пришел. По душе он мне. Неволить тебя молиться по-своему не станет. Только свадьбу сыграет в церкви.

Дуня зарыдала.

— Ты что? — прикрикнул отец. — Что ты, Дуня, и не прибралась, и плачешь чего?

— Ах, батюшка, ах, родимый! Вековать, видно, мне вековухой, не иметь тебе, голубчик батюшка, внучат, а покрыть мне голову черным куколем.

И Дуня рассказала отцу про страшный сон.

— Чуешь, батюшка, не будет материнского благословения, свежи ты лучше меня по большой воде в Тарногу, в обитель старицы Гликерыи, и буду я там в лесах за тебя господу богу молиться.

— Ты что, в монахини? Отца оставишь? Для кого хозяйство сбирал? Для кого сундуки копил, денно и ночью трудился? Одумайся, Авдотья, сон твой не от бога, покойница Анна говаривала: «Дожить бы нам до внучат, вот счастье». Дурак я седой, отдал тебя на воспитание старице Сосипатре и сам ее слушал.

И стал старый вытирать кулаком глаза.

— Постыдись, Дуня! — поднялся и, не глядя на дочь, вышел из светелки.

Иван в большой горнице ждал решения своей судьбы. Отец долго не шел. Неужто отказ?..

Вошел Ефрем Андреевич. Сумрачный, глаза покрасневшие.

— Верно, догадываешься, Ваня?

— Догадываюсь, Ефрем Андреевич. Не судьба...

Подьячий поклонился Чучину.

— Благодарствую, и нет тут твоей вины. — Опустив голову, пошел к выходу и не заметил, что из светелки выскочила Дуня, выскочила, как была в затрапезе, с косой распущенной, выскочила и бросилась ему на шею, обняла, плача и смеясь.

— Не уходи, Ваня, люб ты мне, буду тебе верной женой.

ТАЙНЫ МОНАСТЫРСКИЕ

Свадьбу молодых Мироновых справили скромно. В угоду старику Чучину при венчании соблюдали древние обряды: водили жениха и невесту посылонь, вино они пригубили из стеклянной чары и тут же раздавили ее в церкви каблуками. Молодых осыпали зерном и хмелем — все, как до Никона.

Жить молодые стали у дяди Михаила на Ленивой площадке, у церкви Вознесенья. Дом был поместительный, обжитой.

Ваня Миронов привязался к Дуне, да и та во всем угождала ему, а к своему старшему другу Слободскому Миронов питал такую благодарность, так старался быть полезным, что тот сказал:

— Ты, Ванюша, уж больно меня считаешь, я есмь грешник, выпить люблю и во хмелю буен зело.

— Да что ты, Иване любезный, напраслину на себя наводишь, лучше ты не встречал человека, мы с Дуней по гроб твои должники.

Служил Миронов по-прежнему в архиерейском приказе. Однажды в ноябре вызвал Ваню в свои покои Гавриил, был он сердит, взволнован.

— Садись, — сказал, — вот к этому столу и пиши мой указ кирилловскому архимандриту. Токмо о сем никому не болтай.

И Гавриил, сердясь и тяжело вздыхая, рассказал Миронову суть дела.

Молодая инокиня Горицкого женского монастыря

Марфа родила мертвого ребенка и от родов скончалась. Такое в монастыре девичьем было орудой на весь иноческий чин.

— И по сему вывезть Марфу на дровнях за монастырь и закопать в берег безо всякого церковного отпевания и без провождения, и к церкви божией о ней приношения не принимать, и в синодик имени ее не писать. Игуменье Анфисе приказать начальную ее старицу, у которой она в келье жила, за то, что та, видя ее плутовство, укрывала, сковать на шесть недель, а после того смирить перед сестрами по монастырскому чину. Возьми грамоту и отошли со стрельцом в Кирилловский монастырь архимандриту Иосифу, и чтобы стрелец подождал отписки. Когда отписка придет, мне доложишь.

Через неделю пришла отписка. Миронов пошел с ней к владыке. Тому нездоровилось, лежал в постели.

— Ну прочти, что пишет архимандрит.

Ваня медленно и раздельно стал читать:

«Государю преосвященному архиепископу Гавриилу Вологодскому и Белозерскому Кириллова монастыря архимандрит Иосиф челом бьет. По твоему, государь, архиерейскому указу о том, что в Воскресенском девичьем монастыре, что на горах, черницу Марфу вывезли и в берег закопали. А Никицкого монастыря черный священник Тихон подал челобитную, что черница Марфа ему на исповеди сказала — изнасиловал ее блудно монастырский наш черный поп Сергей Троицкой. Сей Сергей из монастыря от нас бежал безвестно, и в погоню за ним посылали, и сыскать нигде не могли, а как он, поп Сергей, где объявится — мы велим его поймать и к тебе, государю епископу, будем о том писать».

Когда Миронов прочитал отписку Иосифа, Гавриил тихо молвил:

— Вот они какие дела-то, Ванюша. Попа сего надлежит расстричь и батогами нещадно бить и к воеводе для суда светского направить.

— А как же, владыка, с покойной черницей быть? Велеть записать ее в синодик и крест над могилой установить? Не виновна она, выходит.

— Нельзя, — отвечал Гавриил, — все едино нарушение иноческого обета есть. И жалеть ее невместно тебе, сблудила сия Марфа, и нет ей прощения, нет... А теперь иди и помни — не разглашай сие.

Смутно было на душе Миронова, жаль и погублен-

ной молодой жизни черницы, и неприятно было слушать суровые речи Гавриила. Нет правды на земле!

Под большим секретом рассказал он об этом Слободскому.

— Как же, Иване, верить в добро?

Слободской положил руку на плечо Миронову:

— Нет, Ванюша, не прав ты. Правда не умрет. Годы пройдут, и она скажется, скажется, друже мой милый.

ЧУДО ВОЛОГОДСКОЕ

Два года украшала стенным письмом артель Дмитрия Плеханова храм во имя Софии Премудрости, и архиепископ Гавриил по обету, данному Плеханову, молчал, в собор заходил, зорко вглядывался в живопись и только на улице вполголоса говорил настоятелю собора Муромцеву и Ивану Слободскому, сопровождавшим его:

— Сей Плеханов не токмо иконописец отменный, а паче философ.

На что протопоп кивал почтительно.

— Истинно, ваше преосвященство, будет София украшением града и епархии и ваше имя вознесет.

Беспокоили Гавриила установка нового пятиярусного иконостаса и внешний вид собора. Иконостас строили долго и за образец взяли сияющий золотом иконостас собора Троице-Сергиевой лавры. Покойный царь Алексей Михайлович умилялся виду лаврского иконостаса:

— Утешение сердец! — восклицал он.

Иконостас для Вологды делали знаменитые резчики Троице-Сергиевой лавры бобыли Влас Федотов и Артемий Алексеев. В иконостасе надо было еще подновить местные иконы и не только подновить, но частью написать новые. Этот заказ передали вологодским иконописцам.

К окончанию стенописи в 1688 году собор выбелили, на пять глав собора устроили прорезные золоченые кресты.

Гавриилу желалось, чтобы на колокольне звон был еще громче и слышнее, чем прежде. Не поскупился Гавриил: архиерейские и свои деньги вложил, заказав большой колокол в городе Любеке. Подрядчиком был голландской земли торговый человек Бансырь (Балтазар Фадемерхт). В июне того же года из Архангельского

порта колокол на дощанике прибыл в Вологду и был поднят на колокольную. Весу в колоколе 462 пуда 23 фунта, лит мастером Альбертом Бенинком. Деньги 2197 рублей 7 алтын и 4 денги выплачены за смертью подрядчика его вдове Юдифи. Дьяк, уплачивая деньги, жалел:

— Всю казну, владыка, истратите на Софию вологодскую.

— Не печалься, Иваныч, — сказал Гавриил. — Умрем мы, а колокол звонить будет.

— Оно так-то так, — покачал головою дьяк, — да ведь казна умалется. На твой стол, ваше преосвященство, да на прислужников пришлось кое-что скостить. Отец казначей от денежного неустройства заболел, пожелтел.

— Ничего, — рассердился Гавриил, — монаху яство да питье постное, грибное полагается, а слуги архиерейские приобькли к сигам да к пирогам с белорыбицей. Насчет казны не печалься. Не нищие!

Лекарь Иоганн Фридрих Мейер после такого разговора ставил Гавриилу пиявки на затылок и кровь отворял.

— Вредно вам, милостивый господин, волноваться, годами вы не старик, а пообносились.

— Эх, Иоганн, Иоганн! Хороший ты немчин, а не знаешь, как тяжел омофор архиерейский. Ну да, ин, ладно. Расскажи, что на Москве слышать, ведь ты оттуда недавно.

— Непокойно, господин. В Кремле все вершит царевна Софья, а государь Иоанн — я от его лекаря узнал — болеет почками...

— Умом болеет государь, сие важнее. Мы с тобой в палате вдвоем, значит, толковать можем без опаски. Иван Алексеевич хоть и первым в титуле пишется, а слабенец. У Софьи Алексеевны ум зрелый, Василий Васильевич Голицын — оберегатель у ней в галантах. Опять-таки вельможа он зело велик и грамотен, но ни воинской доблести, ни счастья в правлении бог ему не дал. Крымский поход православным и государству разорение. Вокруг царевны Милославские и другие родичи боярские. Поборы с народа удвоили, а все прахом.

— Дворяне и торговые люди на младшего, Петра, надеются, и немецкой слободе Питер Алексеевич люб. И забавы у молодого государя в Преображенском умные, кораблями интересуется.

— Да, ты прав, Иоганн, у царя Петра светлый ум. Когда он в законные лета войдет, много от него пользы державе будет. Патриарх Иоаким и тот его одобряет, хотя и косится на иноземцев.

— Придется, видно, принцессе Софии уступить Петру, — заключил лекарь и, чтобы отвести разговор от высоких особ, рассказал, как с согласия господина живописца Плеханова рассматривал фрески собора.

— Понравилось? — заинтересовался Гавриил.

— Господин Плеханов и его подручные совершили подвиг. Фрески пленительные. На куполе и ярусах сочетания цветов гармоничны. Все фигуры величественны, и самая великолепная фреска «Страшный суд». Я могу не соглашаться с тем, что художник уготовил ад для нас, иноземцев, но ад он уготовил для многих вельмож. Главная сила в изображениях справедливости.

— Спасибо, коли так думаешь, — и Гавриил велел службе подать лекарю чару вина...

Лето... Погода ясная, солнечная, с ветерком. По небу кучевые облачка. Заново выбеленный собор сверкал новыми покрытиями на главах. Он был величествен, этот собор, имеющий форму почти правильного куба, с алтарем, который выдавался тремя полукружьями. Обширные порталы открывали вход в храм. На колокольне переливался ярко начищенный «звон», возглавляемый только что полученным из Любека «Большим праздничным» колоколом. Тут красовались и любимцы горожан колокола «Часовой» и «Водовоз великопостный» мастера вологжанина Карпа Евтихиева.

Шел осмотр стеной росписи. Гавриил пригласил не только духовенство, а и воеводу, воеводского дьяка, стрелецких сотников, именитых купцов и первостепенных горожан.

Когда архиерей в сопровождении приглашенных вышел из ворот подворья, звонари ударили в колокола и бархатно зарокотал «Большой праздничный», октавой — «Великопостный» и весело заперекликались задорные зазвонные и перезвонные колокола и взмыли с крыл голуби в глубокое небо.

В соборе архиерея ждали подрядчик Дмитрий Плеханов, Илья, брат его, и тридцать помощников. Все в праздничных кафтанах, волосы намаслены, бороды рас-

чесаны. Они истово поклонились благословившему их Гавриилу.

Писаная крупной вязью надпись, опоясывающая три внутренние стены, сообщала:

«Начата бысть сия соборная и апостольская церковь Софии Премудрости слова божия стенным писанием при державе великих государей и царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России самодержцев, при святейшем Иоакиме — патриархе Московском и всея России благословением и снисканием благолепия в дому божии господина нашего преосвященнейшего Гавриила — архиепископа Вологодского и Белозерского, в лето от создания мира семь тысяч сто девяносто четыре, месяца июля в 20 день, на память пророка божия Ильи, и во второе лето боговрученного ему святительства, и совершился семь тысяч сто девяносто шестого года».

Иконописцы в два года упорным трудом создали монументальное произведение живописного искусства. Сюжеты, воспроизведенные по библейским темам, передавали бытовые особенности не отдаленных времен, а семнадцатого века, что особенно заметно было на фреске «Пиршество Ирода».

На мощных столпах, поддерживающих своды, написаны больших размеров великомученики и мученики, а на нижнем поясе канонизированные князья русские, среди которых Владимир Святославович Киевский и в черной схиме Александр Ярославович Невский.

Стенопись переливалась голубыми, алыми, золотисто-охристыми красками, как бы наполняя пространство собора и на сводах, на куполе, в осьмерике между окнами, в диаконике и на стенах — на каждой свой цикл изображений.

Тут на южной стороне можно увидеть «Изгнание Иисусом торгующих из храма», «Укрощение бури на озере Тивериадском», житие Марии, изображения четырех вселенских соборов. На северной стене запоминаются «Брак в Кане Галилейской», «Лазарь в раю, а богач в аду».

А во всю западную стену, властвуя над предстоящими, — картина «Страшного суда» с четырьмя могучими архангелами, трубящими в золотые трубы.

Воевода, дебелий стольник, несмотря на лето в тяжелом широком кафтане, спросил отца казначея:

— Отче, дивно зело сие рукописание. Красовито-то оно красовито, а сколько простоят?

Казначей, не любивший воеводу, притеснявшего архиерейских слуг и крестьян, все же вежливо ответил:

— Думаю, господин стольник, крепко будет, левкашено на густой извести и мелко избитом льне, а писано земляными красками. Двести лет простоят.

— Ой ли? — недоверчиво воскликнул воевода.

Западная стена понравилась и духовным и светским.

— Лепота! — закатив глаза, басовито прогудел пышноволосяный иеродьякон из Духова монастыря.

— Господи, избави нас от геенны огненной, — истово перекрестился дородный купчина.

И грешники, и восстающие от плоти мертвецы, и немчины в круглых шляпах и кургузых костюмах — все вызывало интерес. Но больше всего воображение присутствующих поражал написанный в строгих тонах великолепный архангел в белом хитоне. Грозный, он как бы выходил из стены. В его фигуру, удлинненную, с могучими ступнями, изограф вложил, казалось, весь запал своего творчества.

— Ну, владыка преосвещенный, — лобызая руку Гавриила, сипел купец Никита Никифорович. — От всего града тебе низкий поклон и вековечная благодарность.

Обнимали Плеханова, дружески хлопали по спинам мастеров артели. Звонили радостно колокола. На архиерейском подворье устроили богатый стол для почетных гостей и плехановской артели. Гавриил лично подарил Дмитрию Григорьевичу золотой нательный крест на цепочке.

Расстались друзьями.

На одиннадцати извозчицких телегах за счет архиерея после молебна выехали иконописцы из Вологды в Ярославль.

Отец казначей положил в телеги прокорм: сулею меда крепкого, бочку пива, достаточное количество пирогов со сметками и молоками, пирогов с грибами, пирогов с горохом, хлеба подового и вяленой рыбы — судака, чтобы те иконописцы в дороге добрым словом вспоминали и Вологду, и Софию вологодскую, и подворье гостеприимное архиерейское.

ПЕТР I И ГАВРИИЛ

Шли годы. И однажды...

«Через пять ден молодой государь Петр Лексич имеет быть в Вологде, осматривать будет Кубенское озеро и все городские промыслы...» Два Ивана — Слободской и Миронов — доложили о царском приезде Гавриилу, тот обеспокоился, велел крестовую палату приукрасить, ковром застелить, столы дубовые поставить, а отцу клсарю наказал изготовить в избытке два стола: скромный — для государя и свиты и постный — для духовенства и монашества.

— А вы, други, — сказал Слободскому и Миронову, — будьте при мне, гостей московских встречайте, услужайте им и записывайте для летописи.

...Царь со свитой из преображенцев, с неизменным другом Меншиковым выстоял молебен в Софийском соборе. Собор понравился царю. Петр на своих журавлиных ногах обошел его и вокруг, и внутри.

— Велик и украшен зело!

В архиерейских палатах Гавриил угощал царя.

— Государь, окажи честь, выкушай еще чару.

Петр в зеленом преображенском с красными отворотами мундире, ростом высок, лицо круглое, глаза навывкате, курнос и над пухлыми губами усики торчат.

— Окажу! — и лихо опрокинул в рот чару.

Петр расспрашивал вологодского воеводу стольника Ивана Кирилловича Захарова:

— Скажи, Захаров, сколько сажен в Вологде-реке глубина и сколько в Сухоне?

— Не могу знать, пресветлый государь, позапамятовал.

— А что ты знаешь, дурак? — закричал вдруг Петр, — насадили вас тут, кобелей, сидите на... — загнул царь такое, что Гавриил печально опустил глаза, а молодые сержанты заржали на весь покой архиерейский.

— Изволь, стольник, к завтраму представить мемориал о глубине рек.

— Как прикажешь, царское величество!

Затем разговорился царь с бургомистрами и купцами.

— Державе Российской канаты нужны, барки и все судостроение. Ты уж не гневись, отче, — обратился

царь вежливо к Гавриилу, — покину твой двор, съезжу с бурмистром... на... как ты слободу назвал? Козлена?

На Козлене Петр обошел канатные мастерские, поговорил с каждым хозяином, пообещал льготы и велел больше изготовлять разного размера смоляных канатов. Чучина Петр обнял:

— Ты, дед, живи, державе еще пригодишься. Твои канаты и взаправду лучшие.

— Зер гут, зер гут! — залопотали иностранцы.

У пристани царь осмотрел строительство баркасов, зашел в смолокурню, где в одних портах трудились работные люди.

Через день Петр с Меншиковым и иностранными инженерами выехали на Кубенское озеро для его исследования...

И во второй приезд (июль 1693 г.) царь зашел в Софию и на обед к Гавриилу. Принимал челобитные, осматривал город, с корабельщиками и мастерами-канатчиками встретился, как со старыми знакомыми.

Снова София обедней встречала царя — свита из трехсот человек! — четвертого мая 1694 года, и Гавриил опять обласкан Петром за то, что по его указу заготовил двадцать два дощатых карбаса.

Шла русско-шведская война. Даже в такое тяжелое время царь не забывал о вологодской Софии и приказал в начале нового по летоисчислению 1700 года произвести подробную опись собора, о чем Гавриилу сообщил царский секретарь Макаров, бывший посадский из Вологды, ставший впоследствии доверенным сотрудником царя, тайным советником и сенатором.

В Вологду епископу и воеводе приходили распоряжения о сборе колокольной меди и о постройке к весне 1702 года ста дощаников и сорока пяти барок... Воложане поставили колокольную медь для пушечного и мортирного литья и корабли, за что последовали царские благодарности.

Ввиду дошедших до правительства слухов о намерении шведского флота идти в Белое море и напасть на Архангельск, царь приказал сделать еще двести двадцать пять судов, и чтобы каждая барка поднимала груз в четыре тысячи пудов.

— Откуда я для государя корабли возьму? — уныло говорил воевода. — Всех работных людишек приписал к верфи, только на ты надежда, господин архиепископ.

— Нельзя волю государя нарушать, — отвечал Гавриил.

И Слободской, и Миронов разъезжали по монастырям епархии с владычными указами о посылке послушников и монахов, знающих плотницкое дело, в Вологду. Игумены монастырские злились, но посылали в Вологду и лес, и монастырских крестьян и послушников.

На пристанях неумолчно скрипели пилы, звенели топоры. Кормили людей плохо, хлеба не всегда хватало. Рыба была до того протухшая, что посадские, проходя мимо, зажимали носы. А работа кипела. К весне 1702 года корабельное строительство было закончено.

Кроме того, Гавриил, понимая, сколь необходима медь для литья пушек, снял во многих церквах и монастырях колокола для перелива на орудия. Петр благодарил Гавриила через своего обер-секретаря Макарова.

Март 1707 года выдался простудным, с короткими оттепелями, резкими ветрами, метелями.

Гавриил тяжело занемог, кашлял, ноги отекали, дышал прерывисто. Лекарь Иоганн Мейер каждый вечер ездил в архиерейский дом.

В конце марта, еле передвигаясь, поддерживаемый служками, Гавриил дошел до Софии, дабы в последний раз взглянуть на стенопись Плеханова. Долго простоял он у фрески «Страшный суд», с немым восхищением смотрел на мощного трубящего архангела. Смотрел, не утирая слез с морщинистого лица.

— Прости мя, господи! — воскликнул и опустился на колени, простершись ниц.

Обратно в покои отнесли Гавриила в кресле.

В ночь на тридцатое марта у владыки началась агония, а к утру он скончался.

Когда Петру сообщили о кончине Гавриила, он сказал сожалеюще:

— Добрый помощник был. Таков, как Афанасий Холмогорский!

В Софийском соборе Гавриила положили под спуд и унцили надпись: «Преставился великий господин пресвященный Гавриил и погребен на сем месте».

...Весной 1725 года Вологду снова посетил Петр. Большой ипохондрией, он возвращался с олонецких минеральных вод. С ним была императрица Екатерина Алексеев-

на. Петр, как всегда, остановился в каменном домике вдовы голландки Гутман.

Государя лихорадило. Он отказался от официальных приемов, но все-таки вместе с женой посетил Софийский собор. Затем отправив Екатерину на квартиру, зашел к архиерею.

— Да, — сидя за угощением, сказал, — поизносились с тобой, Павел. Видать по всему, пора туда, где нести болезней, ни вздыханий.

Потребовал огня, набил из кожаного кисета табак и трубку, закурил.

— Ваше величество и мыслить о сем не можете, — воздел руки к небу Павел. — Без вас отечество осиротет. Нас, грешных, легко заменить, а ваше величество кто сменит?

— То-то и оно, отче Павел!

Мрачно встал, прошелся по залу, походные медные шпоры бряцали на грязных ботфортах.

— Ну, прощай. Авось еще побываю в Вологде.

Надвинул на глаза треуголку и вышел из покоев архиерейских.

Больше, однако, Петру Алексеевичу не пришлось побывать на Севере. Как память о его приездах в Вологду остался в городе каменный домик Гутмана с низенькими потолками и кафельными печами.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1848—1850 годах производилась в Софии реставрация стенописи Плеханова. Ею руководил епархиальный ярославский художник А. Колчин. Деньги на реставрацию собора были собраны от добровольных пожертвований церквей и населения губернии.

Историк-археолог Н. И. Суворов в книге «Описание вологодского кафедрального Софийского собора», изданной в 1863 году, так описывал состояние фресок: «Стенная живопись, существующая 160 лет, от самой продолжительности времени во всем храме сделалась бледна, померкла в цвете, потеряла вид, а снизу на стенах от сырости стала вовсе повреждаться и с отпадающей штукатуркой уничтожаться; чугунный пол опустился, огромный иконостас по причине опустившегося пола дал наклон, иконное письмо от давности значительно потемнело и частью облиняло».

Художник Колчин и его помощники, среди которых были и палешане, в конце лета 1850 года представили законченные реставрационные работы суждению комитета, куда входили официальные лица и представители цеховых мастеров иконописи. Комитет работу одобрил «как по прочности, так и по качеству кисти».

Стенопись сделалась действительно «свежее и ярче», но художник Колчин не обладал талантом Плеханова, его «настроем», лиричностью. Реставрация нарушила красоту стенописи, цвет стал намного грубее. Об этом немало писали ученые и искусствоведы. В угоду пожеланиям заказчика некоторые изображения Колчин изменил.

Сейчас вологодская София реставрирована снова. Сняты неуклюжие тамбуры, портящие внешний вид, — открылись изумительные входные порталы. Вместо четырехскатной крыши — изящные закомары. Даровитые реставраторы укрепили и расчистили фрески Плеханова, вернули им первоначальную прелесть.

Собор предстал во всем своем прежнем великолепии.

В белую теплую ночь весной выходите к Соборной горке — взгляните на Софию вологодскую. Прислушайтесь, как она дышит могучим каменным телом, как блестят ее главы и как мелодично отбивают четверти часы звонницы.

Или пройдите мимо Софии в ослепительный солнечный день зимой, когда удивителен снег на главах собора и когда особенно чувствуется История. Как будто вот-вот раскроются тяжелые двери — и в портале покажется в окружении черных опричников, в охабне, в меховой шапке, с железным посохом во властной руке, основатель собора — грозный царь Иван Васильевич Четвертый.

Пройдитесь мимо собора и вспомните также художника ярославца Дмитрия Плеханова, скромного вологодского летописца Ивана Слободского, старца Гавриила — всех тех, о ком эта маленькая повесть, тех, кто с великим тщанием и любовью украшал Софию вологодскую.

НЕИСТОВЫЙ СЕМИНАРИСТ

Василий Сиротин учился в богословском классе Вологодской семинарии, но молва о нем как «зловредном» поэте широко распространилась по городу и губернии. Этого высокого семинариста в старом сюртучке, перешитом из отцовского подрясника, в фуражке с оторванным козырьком, с лицом веснушчатым, курносого и с печальными глазами побаивались и в канцелярии губернатора, и у его преосвященства епископа. Сам владыка говорил отцу-ректору семинарии:

— Вы бы, отец архимандрит, сего неисправного юношу к церковному покаянию склонили бы, а то он на вас сочиняет, что вы — «лихой тиран». Пономарский сын, кутейник, а тоже бессмертия ищет!

Епископ когда-то учился в Московской академии, был не чужд изящной словесности и запомнил переданные ему секретарем консистории стихи семинариста Сиротина. В прологе к поэме «На докладе у сатаны» поэт восклицал:

Я Данте друг по Аполлону,
Собрат по лире мне Гомер.
Так дайте ж путь мне к Геликону —
Скрывать таланты не манер.

— Поразмыслите, отец Ювеналий, ему «скрывать таланты не манер». Лавры поручика Лермонтова, коего убили на дуэли, не дают покоя нашему бурсаку.

— Что же я могу сделать, владыка, — развел пухлыми руками дородный ректор. — Я уж, кажется, надзирателям велел строго наблюдать за воспитанниками, обыски тайные устраиваем. Вчера у богослова Преобра-

Рижского Епифания в сундуке нашли переплетенные в корке проповедей «На Дванадцатые праздники» статьи Велишского и Искандера из светских журналов. Ну, сделал отеческое внушение, на поклоны поставил. Ведь не исключать же оканчивающих курс!

— Да, конечно, веяние времени, — владыка перебирал кипарисовые четки, по-старчески шевелил мокрыми губами. — Вы, отец ректор, присматривайте за Сиротиним, а как кончит образование — в глухомань сошлем к зырянам, пусть там на оленях и собаках путешествует, как апостол.

И зашелся епископ смехом.

«Чтоб ты окочурился», — зло подумал ректор, смотря на развеселившегося сухого старичка. — Не могу утруждать вашего преосвященства, — поднялся он и, получив благословение, ткнулся носом в костлявую руку епископа.

Выйдя с архиерейского подворья, окруженного каменной кремлевской стеной, ректор медленно (была нестерпимая июньская жара) пошел по направлению к собору. Семинарскому кучеру сказал разморенно:

— Езжай, я пешком...

Напротив кремля Софийский собор сверкал пятью огромными луковицами.

София была открыта, и ректор вошел в прохладу каменного храма. Большая во всю стену фреска «Страшного суда» с трубящим в золотую трубу архангелом была чудесна, и ступни ног архангела под белым хитонем попирали облака. Со столпов на человека в черной рясе смотрели князя Владимир Киевский и Александр Невский. Грозно взирала княгиня Ольга.

Кто-то вздохнул рядом. Ректор оглянулся. Там стоял обрюзглый, в сером летнем подряснике, соборный протопоп Василий Нордов, любимый семинаристами за либерализм и знание местной истории. Но ученый протопоп, магистр богословия, не нравился московскому митрополиту Филарету Дроздову, и тот приказал «не давать ходу вологодскому умнику». И был протопоп как бы в опале. Служил в соборе, изыскивал в архиве материалы по церковной археологии, по вечерам почитывал Плутарха.

Ректор поздоровался.

— Дивно у вас в соборе, отец Василий, благодать. Одно только меня зашивает: почему на столпах русские

князя? Ведь полагается по канону первыми писать греческих святых и апостолов, ибо свет православия мы от греков восприняли.

— Восприняли, восприняли, — буркнул протопоп, — не будьте рабом буквы. Художник правильно изобразил на почетных местах Владимира, Александра, Ольгу. Невместно им, стоятелям за русскую землю, уступать свои права грекам и римлянам.

Чтобы не впасть в ересь, ректор повернул разговор на фреску «Страшного суда».

— Скольким злодеям уготовлен путь во ад!

Нордов захохотал:

— Ой, уморили, отец Ювеналий, не одни злодеи в ад попадают, а и благочестивые сановники. Вспомните преталантливые строфы поэмы нашего ученика и моего тезки:

«В аду под закоптелым сводом, где жарят грешников в огне!»

— Увольте, Василий Иванович, — взмолился отец Ювеналий. — Я сюда отдохнуть душой пришел, а вы меня Сиротиним угощаете. Я им завтракал у владыки, увольте, не могу больше. Я монах, служу государю и митрополиту Филарету...

При упоминании имени Филарета протопоп нахмурился и, не прощаясь, отошел...

* * *

А виновник всех разговоров семинарист Василий Сиротин сидел на уроке догматического богословия. Слушал преподавателя иеромонаха Нифонта. Разбирался вопрос, кто таков дьявол?

Нифонт приводил мнение блаженного Августина о том, что дьявол — это ангел, восставший против бога и вступивший по своей воле на путь зла.

Сиротин смотрел на преподавателя печально и даже скорбно. Его взгляд мешал Нифонту сосредоточиться.

— Ты что, Сиротин Василий, узоры на мне лицезреешь? — спросил он язвительно.

Сиротин поднялся со скамейки.

— Выходит, отец иеромонах, что зло есть проявление свободной воли?

Преподаватель покраснел.

— Ты не мудрствуй лукаво, Сиротин, в попы гото-

вишься, а не в философы. В следующий раз поставлю кол за несусветные вопросы. Садись.

— Спасибо, отец Нифонт, вразумили меня грешного.

Послушно сел. В тетрадке нарисовал ангела с ликом иеромонаха, приделал Нифонту на голове закругленные бараньи рога.

Семинарист Петр Предтеченский с удовольствием следил за работой Сиротина. Нифонт получился очень схожим.

Сиротину рисунок нравился. Он принялся детально отделять его. Затем углубился, придумывая рифму на «барана». Рифма выходила нецензурная. Это забавляло Василия. Он не заметил, как сторож позвонил в колокольчик...

Конец сороковых и начало пятидесятых годов были тяжелыми для воспитанников губернских учебных заведений. В Вологде процветала слежка и за теми, кто жил в пансионах, и за теми, кто снимал частные квартиры. За семинаристами, кроме воспитателей, для поддержания «благочиния» надсматривал блюститель — классный цензор, назначаемый из доверенных воспитанников. Были еще и так называемые приоры, следящие за поведением своих товарищей в пансионе. Приоры ежедневно доносили инспектору и о тех, кто ругался, кто за обедом шум производил, и о тех, кто много светских книг читал.

Если просмотреть старинные классные журналы духовных училищ, просто диву даешься, какими оценками увеселяли свое воображение отец-ректор и преподаватели: «по греческому языку моракует», «по всем предметам плетет», «по катехизису безуспешен», «потребуется побуждения» (т. е. наказания), «разумет по-дурацкому». И лаконичное — «ленив, туп, нерадив».

Схоластика, иезуитский надзор, издевательство над семинаристами приводили к печальным историям.

Ректор Виссарион доносил семинарскому правлению, что «ученик нижнего отделения Доримедонт Милославов пропал с квартиры, оставив записку, чтобы нигде не искали его живым, он вознамерился утопиться».

В Вологодской семинарии существовали бурсацкие нравы, так ярко описанные Помяловским. Были и драки между «кутейниками» и учениками других городских училищ. Полицмейстер рапортовал губернатору, что им установлено по субботам строгое наблюдение на плац-

парадной площади за семинаристами, «дабы кулачных боев с увечьем не происходило».

Впоследствии отношения между воспитанниками гражданских и духовных училищ сделались миролюбивыми, и часто они совместно выступали против распоряжений начальства. Но это уже относится к шестидесятым годам, когда Вологда была буквально переполнена ссыльными студентами, народниками, либералами, когда идеи Добролюбова, Чернышевского стали достоянием молодежи.

* * *

На Калашной улице в Заречной части, в доме вдовы-мещанки Варвары Михеевой жила ее племянница сирота Поля. Тетка Варвара держала Полю в страхе божьем. Заставляла ходить в храм говеть в великий пост и петь по субботам и воскресеньям в церковном хоре. Тетка брала на дом стирку у чиновников. Платили ей гроши, но работы было много.

Поля научилась у знаменитой художницы по кружевам Анфий Федоровны Брянцевой другому мастерству. Маленькие проворные руки быстро и звонко перебирали коклюшки, и под их речитатив расцветали из льняной нити невиданные цветы и небывалые травы.

Поля была рекомендована Анфией Федоровной как отличная кружевница многим дамам дворянского и купеческого сословий. Купчихи заказывали ей подзоры, ее кружевные воротнички из льняной и цветной шелковой нитки особенно привечали барышни с Екатеринодворянской улицы из старинных особняков ампирного стиля.

Когда тоненькая с длинной косой девушка в скромном ситцевом платье стояла на клиросе и пела соло, издавшие виды прожженные старики, торговцы и купеческие вдовы умиленно утирали платками глаза.

Вот там-то семинарист Василий Сиротин, ходивший для обучения церковной службе в уютный храм Дмитрия Прилуцкого, что на волоке, заметил Полю.

Смотрел. Откашливался. Вздыхал. Забывал, что надо помогать прислуживать в алтаре. Дьякон Амфилохий щипал его за плечо.

— Васька, настоятель сердится, с чего бы это, баламут?

Вечером, на изъеденной шашелем лавке, подложив

руки под голову, не мог заснуть. Стал писать стихи. Стихи любовные не удавались.

Пока сочинял, нравилось. Утром посмеялся над такими виршами. И рифма поганая, и содержание не того. Ночью опять переделывал стихи, мучился. Вспоминал неприятное: дряхлый чиновник губернской канцелярии Вахрамеев подходил к Аполлинарии, благодарил, ручку пожимал, а тетка Варвара приседала перед старичком, у которого на парадном сюртуке блестел золотой с эмалью орден. Еще бы! Надворный советник и кавалер. У-у! Звери они все, поголовные звери, губители и грабители душ человеческих.

Когда-то Василий начинал писать поэму «На докладе у сатаны». Написал пока половину. Чтобы позлить власти, попросил знакомого писаря Ваську Молостова переписать написанное в пяти копиях. Одна из них попала в канцелярию вологодского губернатора. Там чиновники размножили, и пошла писать губерния.

В первых главах Сиротин показывал отделение ада, где мучили грешников. Среди них было много и знакомых всему населению уважаемых сограждан. Фантазия семинариста, знакомого с Данте и церковнославянскими апокрифами, оказалась неистощимой. Она сверкала, как народный лубок, она мстила искрометной фразой, меткой издевкой. Грешники висели на крючьях по стенам, их пекли в печах, жарили, как баранов, коптили, как поросят, разваривали в котлах, как осетров, вливали в глотку олово, сажали на горячие противни и сковородки. И смотрел на все это сам владыка ада Вельзевул. У трона его подземного величества почтительно толпились черти-министры и черти-сенаторы, а губернские черти докладывали о делах Российской империи.

Сцена эта получилась совсем неплохо, особенно когда Вельзевул, грозно сверкая зелеными глазищами, вопрошал:

— А где вологодский черт?

И через толпу придворной мелочи пробивается юркий с длинным хвостом черт-вологжанин. Он умен, дипломат и философ.

«Конечно, в поэме много еще несовершенного, — думает, ворочаясь на лавке, Василий, — некоторые разделы написаны различными размерами, но ведь иначе я не мог». Ему казалось, что для выражения одной мысли нужен ямб, для другой — хорей, а где и анапест.

Лежал. Вздыхал. Думал. А перед глазами стояла Поля.

«А что в ней, в сущности, хорошего? Худенькая, глаза одни да коса льняная. Спать надо. Завтра семинария. Греческие переводы. История православной церкви... А ты — о девице. Стыдно, Василий!»

* * *

Каков же был старинный город Вологда со своими двадцатью пятью тысячами жителей? Город, ведавший неизмеримой губернией, где один Усть-Сысольский уезд — зырянский край — вмещал две Швейцарии?

Это был разбросанный на многие версты город со слободами Говоров, Кувшиново, Ковырино, Прилуки. В центре — городская дума и площадь с тремя церквами. Гостиниц четыре около главной улицы — Каменного моста. Две назывались по русским столицам: «Москва» и «Петербург», две — по иностранным — «Париж» и «Вена». Пятая, «Светлорядская», помещалась в северо-западном конце торговых рядов. Наиболее дешевая. Здесь останавливались провинциальные чиновники, священники, небогатые купцы. Тротуары были дощатые, улицы мостились булыжником, каменных домов насчитывались — десятки, деревянных — сотни. Многие деревянные особняки поражали внешним видом: изукрашенные пилястрами, колонками и по наличникам причудливой резьбой. В городе бульвары обсажены тополями и березками. А на плац-парадной площади старый деревянный театр, где выступали первоклассные столичные актеры и лучшие провинциальные труппы.

Непролазная грязь на окраинах, на площадях. Плохое фонарное освещение. Посреди города — речка Золотуха, зеленоватая от тины, вонючая от свалки нечистот.

Хороша была река Вологда с ее набережной и каменными особняками. Пятьдесят девять церквей будили своим звоном обывателей.

Три монастыря: два мужских — Прилуцкий и Духов и женский Девичий монастырь молились за царя и благодетелей.

Но умирали от недоедания рабочие-кожевники на фабриках купца Скулябина.

Но съедала чахотка легкие у кружевниц и вышивальщиц.

Но ссылались в Вологду департаментом полиции опасные крамольники под административный надзор.

Звонили колокола густо и настойчиво. Звонили басом и альтом. Подзвякивали тенорами.

Звонили. Будили. Усыпляли обывателей.

Пятьдесят девять церквей. Три монастыря.

Дили-дили-бом. Бом-бом!..

* * *

Знакомству молодых людей Василия и Поли предшествовали следующие обстоятельства. Отец Сиротина грязовецкий пономарь Иван Васильевич по старости выходил «за штат». У его жены, красивой, еще крепкой и моложавой, скончался дядя, бездетный вдовец-псаломщик из прихода Николы-Пенье. Скончался, а перед смертью составил завещание, по которому передавал племяннице хороший дом-пятистенок, денег сто рублей серебром, лошадь, дойную козу и куриную мелочь с пестрым петухом. А так как у пономаря в Грязовце, кроме разваленной избушки да плохой коровенки, богатства не было, то решили переехать в деревню. На счастье Сиротиных, настоятель Никольской церкви предложил жене Ивана занять вакантное место просвирни. Пономарь письмом попросил сына помочь при переезде.

Новое местожительство родителей понравилось Василию. На взгорье, окруженная полями и лесом, стояла большая деревня. Каменная, недавно побеленная церковь сверкала синими главками-луковками.

Заштатный пономарь купил полштофа жгучей сивушной водки и, угощая сына, вспоминал прошлое.

— Да, сынок, род наш был служилый, стрелецкий, нес охрану Павло-Обнорского монастыря. А после уже переехали Сиротины в Грязовец, что при царице Екатерине сделали уездом. Дедушка твой, мой родитель, стал пономарить в церкви. Ну и аз грешный воспринял его чин. А в старину мы и на Казань при Иване Васильевиче Грозном ходили. Церковными огарками не были.

Впоследствии, когда вице-губернатор на просьбу Василия Сиротина о принятии его в вологодскую канцелярию ответил грубым отказом, поэт в стихотворном послании к «Господам — вершителям судеб» гордо писал:

Мой прапрадед под Казанью
Живот свой положил за Русь,

И я по этому сказанью
Породы знаменитой гусь.

Но то было потом, а пока пономарь Иван простился с сыном таким напутствием:

— Ты, Василий, уже семинарию кончаешь. Наше родительское благословение прими и живи своим умом. А пам еще детей поднимать надо. Теперь уж не ты к нам, не мы к тебе. Получай шесть целкачей — и с богом.

Сын поклонился низко отцу. Благословился у матери. Перецеловал сестер и вышел из родительского дома, перекинув через плечо узелок с провизией и двумя смедами холщового белья.

Нежно желтели березки. Краснели гроздья рябины. На горизонте вырисовывался лес и золотые маковки Павло-Обнорского монастыря. По проселочной дороге вышел семинарист на тракт Ярославль—Вологда. Еще раз взглянул на деревню Николо-Пенье и унес в своем сердце синие купола и тоску родительского благословения.

На два целковых приобрел Василий у знакомого трактирщика почти что не ношенный коричневый пиджак. Пиджачок достался тому в заклад от одного чиновника. За рубль в Светлых рядах купил черную сатиновую косоворотку с белыми пуговицами, за рубль же — серые бумажные крепкие брюки.

В воскресное утро перед осколком зеркала побрился хозяйской тупой бритвой, оделся в чистое и пошел в церковь с твердым намерением подождать после службы Полю.

Волновался. А что если Аполлинария не захочет с ним знакомиться? Да и слава-то у него, Василия, подмоченная...

Все почему-то думалось о важном чиновнике, целовавшем Поле руку. Да тут еще росписи на это намеки давали...

Храм Дмитриевский был украшен в начале восемнадцатого века. Молодой кандидат Николай Иванович Суворов * рассказывал семинаристам о его фресках. Отдавая предпочтение монументальным софийским росписям, учитель обращал внимание на два сюжета фресок: о Сусанне и старцах. На одной — трое старцев с вож-

* Суворов Н. И. (1816—1896) — учитель семинарии, известный археолог и историк.

делением глядят на купающуюся девицу, жеманно прикрывающую ладонями свои прелести, на другой — родственники Сусанны побивают камнями нечестивых соблазнительей. Камни, как пухлые мячики. Обе фрески, несмотря на трагическое содержание, были веселыми. Испуганные старцы казались комичными, а сама девица будто бы довольна приключением, разнообразившим скуку маленького иудейского селения.

Взор Сиротина невольно обращался к старцам и Сусанне. Новый пиджачок жал под мышками, ворот рубашки резал шею.

...Поля вышла из церкви одна. С Дмитриевской набережной свернула на Архангельскую улицу Сиротин решил. Откашлялся.

— Прошу прощения. Несколько слов с вами промолвить.

У Поли раковинки ушей заалели.

— Я ваше пенье и соло в хоре слушаю и получаю великое наслаждение.

— Вас я тоже заметила. Вы семинарист?

— Кончающий курс, угадали. А вас звать Аполлинарией? А дальше?

— Петровной.

— Василий Иванович Сиротин. Можно вас проводить?

Кивнула головой.

Шли, не замечая прохожих.

Смотрели на них осуждающе двухэтажные и одноэтажные домики с мезонинчиками и антресолями, с палисадниками и цветами.

Начало осени.

По булыжной мостовой в разворот повстречалась веселая компания подгулявших приказчиков. Суконные поддевички нараспашку, чтобы видны были александрийского шелка голубые рубашки. У одного новенькая гармонь. При виде парочки ударил веселую. Затем нарочито визгливым тенором:

Полно девкам молодиться,
Говори, как водится:
Баско ходишь, где берешь?
Дай расписку, с кем живешь?

Приказчики захохотали.

Шли в разворот. Дорогу не уступали. Гармонист нахально:

— Девка, брось своего тощего гуська, идем с нами, мы не обидим, приголубим, народ денежный, веселый, целуемся в засос до печенки и до слез.

Поля испугалась: Схватила Василия за руку. У того желваки заходили на лице, глаза озлились.

— Ну, дор-рогу, живо!

Сказал веско; отдельно.

Приказчики окружили, нарываясь на драку.

Тогда Сиротин изогнулся, прыгнул, выбросил кулак. Гармонист ойкнул, растянулся на мостовой.

Но тут низенький приказчик постарше остановил друзей, приготовившихся к бою:

— Хватит, ребята, это же господин Сиротин, сочинитель из семинарии, я его по одежде не приметил. — И к Василию вежливо:

— Вы раньше, Василий Иванович, в сюртучишке ходили, а не в пиджаке. Мы сочли, что это писарек со швейкой болондит, решили, значит, пошутковать.

Гармонист поднялся, взял гармошку в руки и приказчики двинулись к набережной.

— Какой вы храбрый! — восхищенно молвила Поля.

— Ерунда! — улыбнулся Сиротин. Ему все же было лестно, что его узнали.

— Нет, храбрый, гляньте, какие они здоровые, а вы, Василий Иванович, один!

— Аполлиария Петровна, — сишло сказал Сиротин, — вы для меня счастье жизни составить можете...

— Я вам потом все обскажу про свое горе, — заторопилась Поля. — Завтра часов в десять пойду заказ относить, встретимся на Соборной горке. Вы не заняты?

— Я буду ждать, Аполлиария Петровна.

У домика тетки Варвары росли две березки. В дверях стояла сама хозяйка, подперев руками бока.

— Тебе, молодец, нечего тут делать.

Хотел Сиротин ответить дерзко, но Поля так посмотрела на него, что он только заложил руки в карманы пиджака и отошел от калитки.

* * *

Матвей Агафонович Вахрамеев — надворный советник и кавалер орденов Станислава третьей, Анны четвертой степени и золотого знака «За беспорочную службу» был зол и завистлив. Злился он на судьбу, наделившую

сто невзрачной наружностью, злился на молодых сослуживцев из окончивших гимназию и нахватавшихся вольнодумных идей. Злился и на кауферов, не могущих придумать целебную мазь для рощения волос, и еще, припавши, на свою канцелярскую болезнь — геморрой. Злился он и на писателя Гоголя. Как-то взял его рассказы и сразу бросил. Там как раз говорилось о департаментном чиновнике, который цвет лица имел геморроидальный. Больше Гоголя не читал, а когда речь заходила о литераторах, брезгливо ронял: «Все они пакостники».

Был Вахрамеев вдов и лет имел без малого семьдесят. Сын давно отъехал от него в другую губернию, где служил по акцизу. Матвей Агафонович мог бы получить отставку с пенсией, но предпочел сидеть столоничником в губернском правлении и иметь ежегодную прибавку за выслугу лет.

Жил Вахрамеев на Дмитриевской набережной в собственном деревянном особняке из двух этажей на каменном фундаменте. В особняке было шесть комнат, изразцовые печи, старинная мебель, на подзеркальниках и в буфете фарфоровые безделушки и хрусталь с Урала. А на стенках висели две хорошие иностранные олеографии с видами венского собора святого Стефана и Тирольских гор. Еще висел овальный портрет его самого в мундире кисти художника Платона Тюрина*. Портрет не очень-то нравился надворному советнику, хотя мундир и шитье выписаны тщательно. Живописец слишком подчеркнул хитрость и елейность Матвея Агафоновича, но придраться не к чему, сходство поразительное.

Вот этому-то старому чиновнику и суждено было сыграть неблагоприятную роль в судьбе Сиротина и кружевницы Поли.

Матвей Агафонович посещал приходский храм Дмитрия Прилуцкого и здесь прельстился Полей. Он решил к ней посвататься. Регент хора Мордарий Филиппович, которого Вахрамеев угостил в «Париже», рассказал ему о бедственном положении девушки:

— Тетка Варвара, почтенный Матвей Агафонович, племянницу не балует. Аполлинария у госпожи Брянцевой обхождению научилась.

— Женихов нет?

* Тюрин Платон Семенович (1816—1882). Художник из крепостных. Портретист. Академик. Умер в бедности в Вологде.

— Какие там женихи, Матвей Агафонович, сами поймите, нищие, можно сказать! Разве кружевами или стиркой богатство составишь?

— Лет сколько девице?

— Восемнадцать.

— Тебе открою по секрету, Мордарий Филиппович, жениться хочу. Возьми себе на память (он вынул пятирублевую синенькую ассигнацию) да скажи Варваре, что сразу же перед венчанием подпишу гербовую бумагу на дом и землю и еще три тысячи рублей в банк положу и после моей смерти пенсион, как вдове советника и кавалера. Остальные двадцать тысяч сыну и внучатам, а тысячу — слугам Сосипатре и Григорию. Справедливо?

— Справедливо. Пожертвуйте еще красенькую, а после согласия Варвары четвертную.

— Не много ли? — поморщился старик. Однако вынул бумажник и положил перед регентом две синеньких.

* * *

Варвара обрадовалась предложению Вахрамеева.

— Нашелся добрый барин, — лицемерно вздохнула она. — Спасибо вам, батюшка, что для сироты потрудились.

В душе Варвара жалела племянницу, но чем она могла ей помочь? Оставить в наследство гнилой домишко да корчаги с корытом? Кому нужна бесприданница?

Регенту твердо сказала:

— Согласна я, пусть сваха присылает. Девка вся в моей горсти. Мне она крестница и племянница...

Сваха принесла Варваре шерстяной материи на платье и бутылку вишневки, которую тут же и распили. Аполлинару пока ничего не говорили.

Только в субботу перед приходом жениха на вечернюю чашку чая Варвара сказала:

— Приоденься, Поля, у нас к вечеру жених твой будет.

Поля засмеялась.

— Что это вы, тетушка, женихов сулите?

Варвара серьезно:

— Я тебя, Аполлинурия, просватала. Хватит в нищете жить, да и мне пора отдохнуть.

— Не хочу я, тетенька, замуж.

— Разговора тут никакого быть не может. Просватана уж ты.

— Не хочу я.

— Аполлинария, не дури. Жених твой — чиновник Вахрамеев. Богач. Барыней будешь.

— Ой, тетенька, пожалейте. Он гнусавый, плешивый, беззубый. Ой, тетенька!

Заплакала навзрыд.

Варвара была непреклонна.

— Не хочу, — твердила девушка.

— Захочешь.

— Тетенька, пожалейте, не губите!

— Ты, Поля, меня пожалей, руки мои больные, ноги мои опухшие...

Варвара села на пол, схватила себя за волосы.

— Тетенька, чего это вы? Да разве я не понимаю?

Поля обняла тетку, тоже опустилась на пол.

Сидели, плакали.

— Я согласна, — сказала Поля.

За окном стояли березки. Полины ровесницы. На них сутились воробьи, чирикали...

Вечером приехал жених в собственном экипаже. Для пущей важности на нем был мундир с орлеными пуговицами, плешивую голову покрывала новенькая треуголка с кокардой, а худенькие ножки путались в прицепленной с левого бока шпаге. За ним Григорий в зеленой ливрее нес кульки.

Варвара, уже успокоившаяся, встретила жениха у порога. Кланялась низко. Рядом стояла Поля.

— Аполлинария Петровна, — расшаркался перед ней Вахрамеев, беря в свои сухие, дряблые ладони ручку Поли. — Рад снова лицезреть вас и принести сердечные чувства.

— Присядьте, Матвей Агафонович, — вымолвила Поля.

— При вас недостойн, — жеманничал старец. — Когда вы займете место, тогда и я.

Поля вздохнула и села. Гость опустился на другой стул, держа перчатки и треуголку на коленях.

— Знаете, прекрасная девица, по какому поводу я пожаловал к вашей тетушке?

— Да, знаю.

Вахрамеев привстал, треуголка и перчатки упали на пол.

— Какое же ваше решение?

Тетушка на кухне распечатывала кульки, восхищалась: жареные цыплята, фрукты, две бутылки шампанского, марципаны, банка паюсной икры и кусок провесной семги.

— Вот что значит богатство!

— Какое же ваше решение? — вторично задал вопрос Вахрамеев.

— Не люблю вас, Матвей Агафонович, и скрывать не желаю. Но поскольку тетушкой слово дадено...

— Стерпится — слюбится. Все усилия положу, чтобы быть полезным, птичьего молока и то достану-с. Я в годах, но еще молодец ей-богу. Значит, согласны быть моей супругой?

— Да, — произнесла Поля с трудом.

— Не пожалеете, Аполлинария Петровна. Примите от жениха.

Матвей Агафонович вынул из мундирного кармана большой кожаный футляр, раскрыл — и там нежно засветилось аметистовое ожерелье.

Поля как замороженная вбирала в себя этот нежный свет, и лицо ее невольно подобрело и исчезла горькая складка у губ.

— Ой, Полюшка! Благодарю благодетеля.

— Спасибо, — вымолвила невеста и взяла футляр.

Тетушка засуетилась. Накрыла на стол пеструю скатерку. Раскладывала на разнокалиберную бедную посуду богатые яства.

— Танцевать умеете, Аполлинария Петровна? — ласково спросил жених.

— Да, Сонечка Брянцева обучала.

— И всякие светские танцы, что на балах в столице, можете?

— Могу.

Матвей Агафонович зажмурился от удовольствия. Налил всем шампанского..

— Премного утешили. Всем взяли: и сердечком чистым, и видом ангельским, и поведением. За здоровье вашей тетушки! — и по-ухарски залпом выпил стакан шампанского (бокалов у Варвары и в помине не бывало).

Уезжая, Вахрамеев передал Варваре две сотни. На шитье для невесты приданого и еще десятку лично тетушке, чтобы купила себе посуды чайной и столовой.

— Вот видишь, дурочка, как старичка-то проняло, задело. Теперь он для тебя закуролесит.

Поля молчала. Сидела за столом, словно мертвая. Кот Тронька, рыжий и всегда голодный, жрал, как собака, в углу куриные кости, стонал от наслаждения и фыркал.

Поля взяла со стола футляр. Раскрыла. На вишневом бархате завораживающе засветились аметисты.

* * *

Обо всем этом и рассказала Поля Сиротину. Встретились на Соборной горке, присели на скамейку. Река обмелела. У перевоза качалась лодка. Он мял в руках картуз с надломленным козырьком.

— Мечтал я, Аполлинария Петровна, по окончании подать прошение в губернскую канцелярию. В священники я не гожусь, желание есть заняться сочинительством. Меня кое-кто знает как поэта.

— Я об этом наслышана, Василий Иванович. И что сочиняете?

— Всякое. Преимущественно такое, что начальству не нравится.

— Зачем же тогда? — удивилась Поля.

— Нельзя иначе. Кругом мерзость, неустройство, — ответил Сиротин. — Теперь о нашем. Мечтал — поступлю на службу, сниму квартиру, вы туда хозяйкой пожалуете...

Поля ловила устремленный на нее взгляд Сиротина. Видела его ставшее близким молодое лицо, и даже его веснушки казались ей удивительно привлекательными.

Сказала обреченно:

— Что же делать, Василий Иванович? На попятный не пойдешь. Тетушка и деньги на шитье приданого получила.

Он взял ее руку, маленькую и шершавую от работы, кончики пальцев жесткие — надо коклюшки перебирать по десять часов в сутки.

— Люблю вас.

Мимо прошли двое семинаристов. По обычаю сделали вид, что незнакомы.

— Мне пора, Василий Иванович, — поднялась со скамейки.

Стояла тоненькая, как хворостиночка. Одни глаза...

— Знаете, Аполлинария Петровна, жил давно в Италии поэт Данте. Он сочинил великую поэму «Божественная комедия». Там об аде, чистилище, девяти кругах. А на дверях надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Это ко мне относится: «Оставь надежду...»

По реке плыла рыбацья лодка. Снасти лежали на корме. Видно улов неудачен. Рыбак еле помахивал веслами.

— Поэт Данте всю жизнь любил прекрасную Беатриче. С первого взгляда оба влюбились. Влюбились, а не соединились.

— Почему? — девушка подняла глаза на семинариста.

— Такова фортуна, Полечка, простите, что так называю. Несчастливая фортуна, что значит — богиня судьбы!

Когда Поля ушла, он долго сидел, безучастно глядя на реку...

Начались занятия в семинарии, а тяжелое настроение Сиротина не сгладилось. Чтобы не растравлять себя мыслями о свадьбе Аполлинарии, много читал светской литературы.

Прочел в старом «Петербургском сборнике» роман в письмах «Бедные люди». Сначала было смешно. Живут двое рядом в одном доме, а переписываются. И все эти бесконечные эпитеты: «Маточка вы моя», все это нытье не нравились. Хотел бросить, но не смог. Чем дальше, тем занимательней становился роман. Маленький канцелярист Макар Деушкин был уже для Сиротина не смешным, и горечь охватывала за судьбу двух бедняков. Торжествуют богачи. Им все доступно. Почет и невесты — все на свете...

По ночам опять бессонница. Садился к столу, зажигал огарок свечи, писал. В сотый раз сажал в ад на всевозможные муки богачей: скулябинных, свешниковых, вахрамеевых — всех тех, кто охраняет их, всех тех, кто молится за них.

Одичал. Задавал преподавателям несусветные вопросы.

Суворов как-то зазвал Василия к себе на квартиру. Сели в зале. За окнами листопад, редкие прохожие. Николай Иванович принес графинчик черемуховой настойки. Налил по рюмке, поставил в вазочке домашнее печенье.

— С чего вы, Василий Иванович, опечалились? И ваш классный надзиратель. Ко мне жалобы идут от преподавателей. Какая муха вас укусила?

Суворов, ценивший поэтический дар семинариста, спрашивал деликатно.

— Надоела жизнь, Николай Иванович.

— Она у вас только начинается.

— Начало не из удачных.

Семинарист подряд выпил две рюмки.

— Каковы ваши поэтические успехи? — Суворов пригубил из рюмочки.

— Сочиняю, да толку что! Все равно для списков, а не в печать.

— Вашу поэмку во всех присутственных местах знают. Трудно будет вам, Василий Иванович.

— Трудно, Николай Иванович. Авось, канцелярское место дадут.

— А в священники? — осторожно спросил профессор.

— Почему же, Николай Иванович, вы им не стали сами? Вам бы как кандидату богословия в столице место нашлось. Там уважают ученых попов.

— Меня наука привлекла, археология и история, — сухо ответил Суворов и сделался замкнутым, официальным.

На улице листопад.

— Герцена читаете?

— Читаю. Многие семинаристы читают. Об этом, поди, и архиерей знает.

— Одобряете?

— Конечно. Вам об этом заявляю прямо. Не пойдете же вы к жандармам.

— Глупости! Как не стыдно!

Суворов обиделся. Зашагал по комнате.

Сиротин искренне удивился:

— Да чего вы это к сердцу приняли, Николай Иванович? Мы вас любим, верим вам. Если я не так выразился, простите.

Суворов успокоился.

— Выпейте еще рюмочку настойки, — проговорил ласково.

В зале было чисто и скучно. И казалось, что знаменитый историограф Николай Михайлович Карамзин в черной рамке на стене тихо и благоговейно дремлет...

Сиротин распрощался с Суворовым. Стало невмоготу

в этом уютном жилище молодого кандидата. Ушел в архиерейский * сад. Сад был большой, с прудом. Накрапывал дождь. Обнаженные деревья, листья под ногами. Пруд подернулся рясой. В беседке отдыхал бородатый лет тридцати пяти мужчина в широкополой шляпе и в черной суконной накидке с бархатным воротником. Такие носили художники и литераторы. Он курил. По запаху табак был «жуковский», дешевый. Табачный дым напомнил Сиротину о забытом дома кисете. Трубочка, однако, была в кармане семинарской шинели.

Он подошел. Представился. Бородатый сказал приветливо:

— Я заочно с вами знаком, господин Сиротин. Приятели-канцеляристы дали тетрадку с вашими стихами. Я, может, слыхали — слухами земля полнится, — живописец Платон Семенович Тюрин.

— Наслышан про вас, Платон Семенович. Серебряную медаль выдали вам за успехи в художествах.

— Медаль не кормит, Василий Иванович. Я женился. Дочка-малютка. Учиться поздно начал. Я ведь из крепостных.

Закурили. Разговорились о том, как трудно пробиваться без влиятельных меценатов и какие бывают подлецы эти покровители изящных искусств.

— Я с одного гофмейстера писал портрет. Натура великолепная, дурость и чванство во всем облике. Велел списать и любимую сучку Эльвиру. Барин выдал мне через камердинера пять червонцев и приказал накормить на кухне, а собаку изволил посадить на стуле в зале, где и сам завтракал. Сидит Эльвира, ей салфетку повязали на шею, и холуй прислуживает.

Беседовали поэт и художник. Курили. Потом вышли вместе. На гладкой аллее повстречали сухонького старика в меховой шинели. За ним слуга нес зонтик и книгу.

Сиротин снял картуз, поклонился низко, как не кланяются и ректору. Приподнял шляпу и Платон Тюрин.

Старик взглянул на них. В глазах лихорадочный блеск. Однако на поклоны ответил, кивнул головой, гордо проследовал дальше. Под его каблуками жалобно шуршали осенние листья. Это был большой Константин

* Ныне парк культуры и отдыха Вологодского вагоноремонтного завода.

Николаевич Батюшков, некогда учитель Пушкина, друг Жуковского, Гнедича и Вяземского, отважный офицер и прославленный поэт.

* * *

Вахрамеев торопился со свадьбой. Сваха то и дело бегала из богатого особняка в покосившуюся избушку.

— Матушка Варвара, что ты медлишь? Жених извелся, ночами не спит, похудел, прислал еще сторублеую. Торопитесь. В Дмитриевской церкви священник уж объявление о свадьбе по правилам православных канонов сделал.

Березки у крылечка осыпали мокрую побуревшую траву сухими желтыми листьями, а Поля еще откладывала день свадьбы.

— Не срами ты меня, Аполлинария! — взывала к ней Варвара.

Наконец Поля не выдержала и дала согласие на тридцать первое октября — на день апостола Луки и Иосифа Волоцкого.

Дьякон Амфилохий, встретив на улице Сиротина, сообщил:

— Знаешь, Василий, у нас на апостола Луку венчание. Старик Вахрамеев и певица Аполлинария. Дедушка и внучка. Черт и младенец. Вот что деньги делают! После свадьбы всему приходу угощение...

В храме зажгли все паникадила и лампы. Свечи освещали лики икон и фрески.

Нечестивые старцы бежали по стене, побиваемые камнями, похожими на пухлые мячики.

В храме благоухание ладана. Тепло. Публика чиновная, мундирная, много дам. Среди них мать и дочь Брянцевы. Они не очень веселые: им жаль молоденькую кружевницу. Пришли на свадьбу, чтобы не обидеть Полю и тетку Варвару.

По дорожке красного сукна провели жениха и невесту. Хор запел звонко, радостно: «Гряди, гряди, голубица». Поля в белом подвенечном платье и жених в мундире. Сзади во фраках — шаферы.

— До чего ж мила и безответна, — прошептала Брянцева дочери.

Соня в ответ:

— Бедняжка, а он сушая кикимора, шишига лесная!

Варвара в праздничном шерстяном платье плакала. Отчего плакала, и сама не знала. Кажись, богатство и дворянство рядом с Полей. Кажись, проснется завтра ее Поля барыней, советницей...

Сиротин в это время сидел в трактире и пил водку. Пил много и ожесточенно. Знал, что сейчас венчают Полю. Пропивал то, что заработал у купца Буторова за приведение в порядок торговых книг. Пропивал свою мечту о Поле, о семейном счастье, о любви.

Вышел, когда тускло мерцали редкие уличные фонари. На мостках чуть не упал. Шатало. Улица, казалось, перекосилась. Улица казалась пьяной.

Прислонился к уличному фонарю. Постоял, глотая сырой вечерний воздух. И опять пошел. Тоска была неотвязчивой. Тоска требовала выхода.

«Левая, правая, где сторона?»

Кто это прокричал? Для чего? Для исхода тоски? Или это сама тоска?

«Улица, улица, ты, брат, пьяна».

И повторил:

— Ты, брат, пьяна.

Фонари снова тускло замелькали. То справа, то слева. Фонари не желали стоять прямо. Как же так? Ведь для каждого предмета должно быть свое место. Они пьяны, эти кособокие, тусклые, как жизнь, фонари.

— Эх, господа фонари, вы ведь пьяны!

Сиротин засмеялся. Смех был грустен.

— Поэт знал: там, на набережной, в чиновничьем особняке советника и кавалера Вахрамеева — пир свадебный, гости кричат «горько!» и молодая подставляет свои юные губы сморщенному старческому рту.

— Горько! — прошептал Василий.

«Горько! Горько!» — замигали фонари.

Из-за туч показался месяц серпиком. Было новолуние.

«Эх! Как ни обновляйся, месяц, а ты, старина, дружище, симпатичный ты дядя, а все равно тебе не тягаться с чиновными звездами и золотыми крестами... Не тягаться... Да ты, брат, улыбаешься? Напился, что ли?»

Месяц улыбнулся и исчез. Так и не ответил.

Пошел косой дождь. Дождь и ветер. Ветер и дождь.

Правая — левая,
Левая — правая
Где сторона?

Добрел до сторожки. Вздремнул. Потом проснулся. При свете огарка начал писать. Ясно все увидел: и фонари, и месяц. Уловил и ритм сегодняшнего пьяного скучного веселья.

Раз возвращаюсь домой я к себе:
Улица странною кажется мне —
Левая — правая
Где сторона?
Улица, улица,
Ты, брат, пьяна...

Сиротин писал. Пусть эти строки будут для таких, как он. Пусть хоть немного утешают они таких же обездоленных, как он.

И фонари так неясно горят,
Смирно на месте никак не стоят, —
Так и мелькают туда и сюда.
Эх! Да вы пьяные все, господа.

За перегородкой с присвистом храпел дьячок. Храп не мешал. Поэт не замечал его. Не до того было.

Сиротин писал. Все хорошо, только немного ломит виски. Совсем немного. Отбивал такт ногой, отбивал такт кулаком. Исправлял, ставил кляксы, размазывал чернила. И становилось легче. Тоска уходила в строчки.

Ты что за рожи там, месяц, кривишь?
Глазки прищурил, так глупо глядишь?
Лишний стаканчик хватил, брат, вина:
Стыдно тебе, ведь уж ты старина.

Припев ложился уже спокойно:

Левая — правая
Где сторона?
Улица, улица,
Ты, брат, пьяна.

К утру стихотворение было готово. Удивился, переписывая его начисто в трех списках. Самому понравилось.

— Надо в трактир, — сказал вслух.

В трактире перед стойкой — знакомый буфетчик, сын хозяина, поклонник сиротинского таланта, любитель пения и чтения.

— Василию Ваньчу, — расплылся улыбкой, протягивая на подносе чайник, стакан, два куска сахара, сайку и рюмку очищенной.

— Почитай, — Сиротин положил на стойку листок.

Парень вежливо спросил:

— Музы вашей?

Сиротин сел за ближний столик:

— Моей музы, ночью сочинил...

Лицо у парня просияло. Дочитал до конца. Языком прищелкнул:

— Певучая штука, Василий Ваныч, пойдет в народ, верьте слову — живучая.

Поклонник сиротинского таланта не ошибся. «Певучая штука» пошла в народ.

Через некоторое время поэт вечером повстречал двух мастеровых малярного цеха. Шли по улице, и один из них высокой фистулой выводил:

Правая — левая
Где сторона...

Другой подхватил:

Улица, улица,
Ты, брат, пьяна...

А еще немного позднее, о чем Василий Сиротин не знал, в Москве «Улицу» издал нотный книготорговец Грессер и аранжировал для голоса с фортепьяно композитор А. Дюбек. Только почему-то наименовал ее «Цыганской песней», и исполняли ее в цыганском хоре у «Яра»*.

Там были иные слова: «Раз от цыганок иду я к себе», но в провинции продолжали петь по-сиротински: «Раз возвращаюсь домой я к себе».

Варьировался и припев. В Вологде, Великом Устюге, Грязовце пели:

Правая — левая
Где сторона...

В других местах:

Левая — правая
Где сторона...

Смысл от этого не менялся.

Через десятки лет, в 1947 году, когда в родной для Сиротина Вологде праздновали 800-летие города, знаменитый бас народный артист Максим Дормидонтович Михайлов спел «Улицу» как народную песню.

* В журнальчике «Арлекин» (1859) эта песня была в искаженном виде напечатана как «перевод с немецкого», а в сборнике издания Сойкина (1904) как «Песня пьяного студента». Автор не указан.

В 1957 году «Улицу» издало в Москве — в той же прашировке Дюбека — музыкальное государственное издательство, тоже как народную. И никто не указал имя автора текста — вологодского поэта Сиротина.

Все это было потом, знать об этом поэт не мог.

Но, услышав, как пели «Улицу» мастеравые, он понял, что люди приняли его песню.

В ту ночь приснилась ему Поля. Не госпожа Вахрамеева, а та Поля — кружевница. Она гладила его по волосам.

Потом пропала. И все пропало. Наступило серое утро под надоевший колокольный звон.

Время бежало, как в сказке. Недели. Месяцы. Годы.

Над Российской империей отшумела Крымская война. Новый царь Александр Второй произнес свою знаменательную фразу о том, что лучше освободить крестьян сверху, чем дожидаться, пока это придет снизу. В обществе заговорили о крестьянской, судебной, земской, университетской, военной реформах.

Из Сибири вернули декабристов и петрашевцев. Молодежь зачитывалась «Современником» Некрасова, статьями Чернышевского, романами Тургенева, «Севастопольскими рассказами» Толстого. Появились первые огненные статьи юноши Добролюбова. Достоевский напечатал «Записки из Мертвого дома».

В Вологде поставили в собор знамена ополченческих губернских дружин. На кладбище Прилуцкого монастыря похоронили Константина Батюшкова. На частных квартирах собирались врачи, либеральные чиновники, гимназисты и семинаристы, требовавшие организации земского самоуправления.

Жандармы несколько растерялись, притихли, но в недрах управления вели учет списков «неблагонадежных». А в глухом зырянском крае, у самой тундры, далеко за уездным Усть-Сысольском* на забытом погосте стояли деревянная церквушка, похожая на часовню с чешуйчатым куполом и две черные — поповская и дьячеческая — избушки. Здесь жил священник Сиротин — «бачка», как звали его коми-зыряне. Жил как в полусне. По утрам с дьячком произносил заученные молитвы, выезжал верхом по тремам к прихожанам, крестил, хоронил, венчал.

* Усть-Сысольск — ныне Сыктывкар, столица Коми АССР.

По воскресеньям дребезжали три захудалых колокола. Зажигали лампадки перед образами. Приходили урядник, лавочник, их супруги, почтовый чиновник, фельдшер с дочкой, старой девой — учительницей приходской школы. Ее воспитанники вразброд тянули песнопения.

После службы лавочник приглашал уважаемых сельчан и батюшку на пирог. Пили водку, сплетничали, ругали «инородцев»-зырян.

Василий Сиротин отмалчивался, не разговаривал с волостной знатью. И они не жаловали священника. Считали его нелюдимом, гордецом, сумасшедшим. Он не притеснял коми, брал, сколько ему давали за требы, горька была ему эта плата. Жгли ладонь медяки, и неприятно было класть в сани куски оленины или вяленую рыбу.

Здесь Сиротин был изгой. Страшное это слово — изгой! Отколовшийся от своей среды, никому не нужный.

Когда в Вологде Василий Иванович пошел наниматься на гражданскую службу, нигде не приняли. Вице-губернатор отказал пренебрежительно, председатель казенной палаты — сухо, а знакомые купцы отговаривались тем, что примешь такого вольнодумца конторщиком — начальство разгневается. Полицмейстер строго наказал никуда вредного писаку не принимать.

Елифаный Богословский, однокашник Сиротина по выпуску, устроившийся чиновником в архиерейскую канцелярию, посоветовал Сиротину:

— Знаешь что, друже, подавай прошение на место священника в Усть-Сысольский уезд. Сюда приехала за женихом дочка умершего попа из Кузьмодемьянского прихода. Все одно — никуда тебе не определиться.

— Веры у меня мало, — хмуро проговорил Сиротин, — нет ее у меня, понимаешь, Елифаный, нет!

— Ты держи это про себя — ухмыльнулся Богословский. — Тебе не вера нужна, а кус хлеба. Я, брат, тоже из маловеров, а помалкиваю. Кормить семью надо.

— Уехал бы я отсюда, противно мне все здесь...

— Глуп ты, Василий, выедешь из пределов губернии — обратно направят. Мог бы ты в академию податьсь, если бы имел первый разряд, а у тебя второй, да и то в конце.

— Нет, — решительно заключил Богословский, — женись и выходи в попы, другого места не дождаться.

Был Сиротин и у Николая Ивановича Суворова. Тот только разводил руками, сочувствовал, обещал поговорить с ректором Ювеналием, пусть у епископа попросит снисхождения.

Архиерей был доволен. Ведь предугадывал судьбу крамольного семинариста.

— Так и вышло, отец Ювеналий, так и вышло, — схищничал преосвященный. — Будет аки апостол у язычников.

Ювеналий нахмурился:

— Не слишком ли жестоко, владыка? Учитель Суворов утверждает, что Сиротин талант, а мы его — на край света. Он там сопьется. Правда, сей поэт и меня высмеивал, но справедливости ради — достоин сожаления.

— Грешник он, — настаивал владыка. — Не будет ему другого места, и не расстраивайте меня, отец Ювеналий.

Невеста из Кузьмодемьянского прихода оказалась перестарком двадцати девяти лет и, судя по нездоровому румянцу, чахоточной. К тому же сварливой и полуграмотной.

Сиротина женили, посветили сначала в дьяконы, затем в иереи, выдали «ставленную грамоту» и отправили в глухомань.

Коми землепашец, коми охотник и рыбак... Какие это сердечные люди, если к ним относиться без предубеждения! В каждом поселке, на каждом стойбище молодого «бачку» Васю принимали гостеприимно. Обираемые купцами и чиновниками, спаиваемые сивухой, смешанной с махоркой, терпящие невероятную нужду, болеющие трахомой и чахоткой, они готовы были отдать последние крохи за человеческое отношение.

— Ты, бачка, больно хорош, не кричишь, не бранишься, берешь, что дают, больше не требуешь...

В дымном шалаше, сидя на оленьей шкуре, слушал Василий длинные песни и сказки о храбрых охотниках, знаменитых богатырях, о волшебных оленях в упряжках. Он рассматривал глиняных черных божков, хранителей домашнего очага и покровителей охоты.

Его не возмущало то, что эти языческие реликвии почитались в каждом доме. Наоборот, они нравились

своей примитивностью. Он смеялся, слушая о том, как при удачной охоте божков обмазывали жиром, а при неудачной пороли розгами.

Епархиальное начальство требовало от Сиротина «неукоснительной строгости в отношении искоренения пагубных языческих верований среди инородцев вашего прихода», но он не обращал никакого внимания на эти приказы и отписывал кратко: «Всепокорнейше доношу, что отклонений от православной веры у прихожан Кузьмодемьянского прихода не наблюдается».

Дома жена постоянно грызла незадачливого пастыря.

— Ты, отец Василий, блаженный какой-то, пишешь ненужное, о прибытках не заботишься.

Весной и летом Сиротин с удовольствием занимался сельским хозяйством, возделывал свой кусок земли, сеял рожь, овес и репу, заготавливал на зиму дрова. Работа утомляла, давая успокоение. Зимой было хуже. Попадья кашляла, нудила причитаниями. Однажды, когда Сиротин был в отъезде, она сожгла все его рукописи: список поэмы «На докладе у сатаны», тетради по этнографии зырянского края и новые стихи...

Местные лавочник и урядник написали жалобу архиерею, что священник «над религией насмехается и православных сынов церкви, царя и отечества паскудит».

Прошение кончалось требованием убрать Сиротина и посадить его в монастырскую тюрьму.

Однажды, вернувшись домой, Сиротин застал жену, державшую у рта окровавленный платок. Она взглянула на него ненавидяще:

— Довел ты меня, поп, до гроба.

Василий хотел обнять жену, сказать что-нибудь утешительное, ласковое.

— Не подходи! — закричала она.

Василий опешил, сел на лавку, а жена, откашливая кровь и вытирая губы платком, плакала:

— Уму к весне я, отец Василий, освобожу тебя.

Весной Сиротин похоронил жену. К лету пришел указ из консистории, коим вменялось местному начальству отобрать у иерея Сиротина за недостойные поступки и зазорное поведение «ставленную грамоту» и взять с него подписку о явке в Вологду к архиерею для дальнейшего решения его участи.

Долго вспоминали жители Коми «бачку Василия», их друга и незлобивого человека.

* * *

Далее судьба Василия Сиротина теряется в неизвестности. Только в официальной записке «О состоянии вологодского духовного училища за сто лет его существования», составленной смотрителем В. Лебедевым, в списке второго отделения фамилия Сиротина сопровождается примечанием, что этот «известный во всей Вологодской губернии поэт был священником в Зырянском крае, по лишению сана был в Америке, умер в Вологодской губернии».

В воспоминаниях Алексея Попова, изданных в 1911 году, три странички отведены Сиротину. Попов — бывший вологодский семинарист, признавая талант старшего коллеги, почему-то ничего не сообщает о поездке поэта в Америку, а говорит лишь о том, что его сослали на покаяние в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере. Попов перечисляет стихотворения поэта, в том числе и «Улицу», особенно выделяя поэму «На докладе у сатаны».

При сопоставлении этих сведений с теми, что удалось почерпнуть у краеведов и в архиве, дальнейшая судьба Василия Ивановича Сиротина рисуется примерно так. Очевидно, свободолюбивый поэт в Соединенных Штатах не прижился. По всей вероятности, русские моряки помогли ему вернуться обратно в Архангельск.

Сиротин приехал умирать на родину. Епархиальные власти задержали его и сослали «на покаяние» в суровый Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере.

Больной поэт вынужден был посещать церковные службы, отмаливал земными поклонами грехи. Сырая келья, полицейский надзор отца-игумена, плохая пища окончательно подорвали здоровье. Обращения к столичным высокопоставленным особам о помощи оставались безответными. Только один раз из канцелярии ведомств императрицы Марии прислали пятьдесят рублей. Поэт с горечью писал:

Живу на Каменном у Спаса,
Приют мой нынче — монастырь,
Весь скарб мой — сапоги да ряса,
А библиотека — псалтырь!

Однажды ночью, когда несмелая северная весна заглянула в узкое оконце кельи, больной поэт поднялся, взял ватную куртку, надел на заплатанный подрясник, сложил в мешок самодельную тетрадь, хлеб, огарок свечи, несколько серебряных монет и тихонько вышел на монастырский двор. У ворот монастыря служка, зевая, спросил:

— Куда, отец Василий?

— Подышать воздухом. Пропусти.

Служка подумал и открыл калитку.

Больше Сиротин в монастыре не появлялся. Следы его затерялись на Вологодчине, и где он нашел свой конец — неизвестно.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ



РУССКИЕ НОВЕЛЛЫ

ИЗОГРАФ

Лысый протопоп, снимая епитрахиль, сердито спросил:

— Доколе своей образиной храм божий пакостить будешь?

Человек в коричневом кафтане, с лицом желтоватым, бритым и тоскливыми глазами, резко ответил:

— Доколе не сдохну.

В храме было холодно, сыро. Сквозь решетчатые окна сочился белый туманный рассвет. Он казался молочным и слабо освещал стены храма. От этого молочного полусвета блекли переливчатые тона красок на фресках. Синие, пурпурные, золотисто-лимонные, они уходили к церковному куполу и там замирали.

Протопоп важно пошел к выходу, снисходительно отвечал на поклоны редких прихожан. Старый дьячок в старом заплатанном черном подряснике торопливо гасил мерцающие лампадки. Высокий худощавый ктитор, с козлиной бородкой, в сером кафтане, недовольно пересчитывал свечную выручку.

Протопоп подошел к нему и густой октавой спросил:

— Скудная лепта, Петрович?

Ктитор, что не шло к его высокой фигуре, тоненькой фистулой ответил:

— Гроши, отец протопоп!

Человек в коричневом кафтане вдруг засмеялся. Смех гулко отдался в стенах храма.

— Ты это чего, еретик? — удивился протопоп.

Человек посмотрел на купол. Там в сером тумане плыли золотистые кони, невиданные цветы и веселые святые.

— На косушку хватит? — И человек протянул руку к ктитору. Тот плюнул в сторону.

— Иди, иди, — как-то испуганно проверещал он. — Иди, ради Христа!

Человек надел на растрепанные белесые волосы смешную рыжую треуголку и торопливо пошел к выходу. Вслед ему протопоп уронил:

— Пускать не след анафему!

Большая площадь тянулась от церкви к низеньким пузатым деревянным домишкам. Рыхлый талый снег хлюпал под ногами. По-весеннему кружились галки и вороны над обнаженными деревьями.

Засунув руки в карманы, человек шел по площади.

На углу был кабак. Человек дернул дверь, и его обдало запахом сивухи и пирогов.

* * *

...Был год тысяча семьсот двадцать четвертый. Март. Город Вологда.

Ранним утром, прыгая на снежных ухабах, кожаная кибитка со слюдяными оконцами неслась по Олонецкой дороге к городу. Возница в овчинном полушубке, привстав на облучке, дико гикал на лошадей.

За кибиткой едва поспевали сани; в них, подняв воротники полушубков, сидели двое преображенских солдат.

В кожаной кибитке было полутемно и стоял густой табачный дым. В неудобной позе — велик ростом — сидел пожилой мужчина, закутанный в меховой плащ. Треуголка от толчков сползла на ухо. Черные пряди волос лезли в глаза. Щетинистые усы двигались. В другом углу, в шубе и меховом чепце, дремала полная женщина.

Глаза мужчины были закрыты. Вот он открыл их, и, черные с желтизной, они по-орлиному вспыхнули и снова закрылись.

Мимо мелькнули белые стены монастыря со сказочными башнями. На башнях сидели вороны и по-весеннему каркали. Снег мокро шлепал, отскакивал от

конских копыт. Промелькнули пригородные амбары, постоянные дворы, каменная тюрьма, и по деревянному мосту кибитка ворвалась в город.

Церкви с золотистыми главками, церкви с синими куполами, церкви с шатровыми колокольнями стояли над тишиной деревянных одноэтажных и двухэтажных домиков.

Ближе к центру тянулись каменные палаты купцов, просшие в землю лавки. Над всем городом царил величественный белый собор с венценосным золотом пяти шлемов.

* * *

Человек в коричневом кафтане вышел из кабака. Его широкое русское лицо с мясистым носом и полными красными губами было оживленно. Серые глаза смотрели уверенно, а старая треуголка с повисшими краями была надета заливчатски набекрень. Он остановился на крыльце и посмотрел на церковь. Золотая луковка храма смело вонзала блестящий крест в серое небо.

Человек сказал:

— Ишь, куда лезет!

В молочном тумане послышалось гиканье ямщика и конский топот. Взмыленная тройка остановилась у крыльца кабака.

Дверцы кибитки раскрылись, и показалась фигура высокого пожилого мужчины в меховом военном плаще. Он выпрямился во весь рост, плащ спустился с правого плеча, и покраснели отвороты зеленого мундира.

И тогда человек в коричневом кафтане взглянул в лицо военного. Кроме глаз, он ничего не видел. Глаза были орлиные, черные, с желтоватым блеском.

Старая, с обвисшими краями треуголка сорвалась с головы. Белесые растрепанные волосы взметнулись по ветру.

— Узнал! — сказал военный густо и хрипло. И вздрагивающее в ответ:

— Узнал, ваше величество!

— Ну, коли узнал, тащи чарку анисовой и крендель!

Человек метнулся в дверь, забыв поднять треугол-

ку. Через минуту он выскочил обратно. За ним бежал кабатчик, держа на подносе большую оловянную чарку с вином и крендель. Царь взял чарку: выпил, отломил кусок кренделя, обтер обшлагом рукава губы и бросил серебряный большой рубль на поднос. Затем, поворотясь к человеку в коричневом кафтане, спросил:

— Из каких будешь?

— Изограф, сиречь мастер живописного дела, — прозвучало в ответ.

— Добро, — сказал царь. — Приходи ко мне на подворье.

Когда лошади отъехали, живописец поднял треуголку и, глядя вслед кибитке, тихо, как бы не веря себе, проговорил: «Государь Петр Алексеевич!..»

Его лицо просияло, и он почти побежал по мокрому лежалому снегу по направлению к церкви, все время повторяя:

«Государь Петр Алексеевич...»

* * *

Когда живописец снова вошел в церковь, там никого не было, кроме дьячка. Положив на скамью кусок дерюги с толченым кирпичом, он начищал подсвечники. Работал с увлечением, любуясь сверканием красной меди.

В церкви стало светлей. Притушенные утром росписи сейчас по-молодому переливались радужными нежными тонами.

Дьячок, на мгновенье оторвавшись от своего занятия, взглянул на пришедшего живописца:

— Чего делать будешь?

— Государь Петр Алексеевич седни прибыл в Вологду, — сказал живописец.

— Ну? — спокойно произнес дьячок. — Как ему ездить-то не прискучило?! Годами, почитай, на шестой десяток пошло, и все спокую нет! — И укоризненно: — Прежде государи настоящие из палат царских не вылазили!

И опять усердно зашаркал суконкой по подсвечнику.

— А чем он не настоящий? — спросил живописец.

— Чем? — нехотя молвил дьячок. — И обличем и рылом скобленным. Антихрист — не антихрист, а вроде

того! — И уже не обращая больше никакого внимания на живописца, перешел к другому подсвечнику.

Живописец стоял посреди храма и смотрел на росписи. Каждый раз, глядя на эти живущие на стенах фрески, он не верил, что они созданы им. Казалось, кто-то другой, сидящий в нем, вдохнул жизнь в эти синие, золотистые, нежно-голубоватые и пурпурные краски. Он ощущал движение фигур, бег золотистых коней, красоту невиданных арок, замков, шелест ярких деревьев, запах лимонных яблок и свежесть перламутровых небес.

Вон там упоенно пляшет Саломея в сарафане московской боярышни. Алым фонтаном брызжет кровь из усеченного тела Иоанна Крестителя. Мудрый Соломон поет «Песню песней», и восемь львиц лежат на ступенях его мраморного трона.

Живописец поднял голову к куполу: золотой конь плыл по голубому своду. Гибкая смуглотелая Ева подавала яблоко Адаму. И было видно, как, нарушая библейские заветы, Адам не обреченно, а радостно протягивал руки к мерцающему желтому плоду.

Кружились в белых с синими разводами плащах серафимы, и, утверждая жизнь, упруго поправ пурпурные облака, трубили в серебряные трубы веселые архангелы.

А с купола взирал на них Саваоф и удивлялся, как и сам художник, этому яркому языческому празднеству плоти и жизни.

Живописец смотрел, и мягкая улыбка скользила по его губам. Новые, еще не собранные, но уже ощутимые образы готовы были воплотиться в сочетаниях красок. И хотя в храме было холодно и сыро, он чувствовал согревающее биение своего сердца.

* * *

Петр Алексеевич вышел на крыльцо. Влажный весенний воздух. Сумерки. Талый снег. Обнаженные деревья. И проступающая сквозь пухлые облака луна.

Курил и смотрел, как струйка дыма таяла в вечернем воздухе. За эти два дня он устал от приемов городских властей, попов и обедов.

От комнат низеньких, с теплыми голландскими печами, от давящей обстановки чинно расставленных па-

радных стульев, пузатых кофейников и вышитых салфеточек с цветным нерусским узором тоска становилась еще сильнее. Даже присутствие больной жены, ее разговоры с хозяйкой дома, старой голландкой вдовой Гутман, раздражали.

Сердце билось неровно, прерывистыми ударами. Чувствовал, что нижняя рубашка влажна от пота. Подумал: «Не помогли марциальные воды...»

По талому снегу вышагивал солдат в полушубке, со старой алебардой в руке. Царь, взглянув на него, сказал кратко:

— Пошел вон, дурень!

Солдат испуганно поднял алебарду, для чего-то взял ее на плечо и попятился задом.

— Дурак, — сказал царь. — И на солдата не пож, Аника-воин.

Вспомнил, как посетил епископа Павла. Не узнал владыку: оплешивел, поглупел и растолстел. Когда в Петербурге от купели дочь Лизу принимал, был густоволосым, чернявым, веселым. Вздохнул: «На других посмотришь и поймешь, что годы назад не ворочаются».

Трубка зло засипела — кончился табак. Царь выколотил золу и сунул трубку в карман камзола.

На берегу, внизу за обрывом, молодой бабий голос запел: «Эх ты горе, горе горькое». К нему присоединился густой бас: — «Горе горькое...»

Голоса плыли над хмурой седой рекой и были красивы и печальны. «Эх, и тяжко мне, сиротинушке», — поднимался выше женский голос. «Без родного батюшки и без матушки», — вторил ей бас.

— Хорошо поют на Севере, — проговорил царь.

Совсем близко прохлюпали шаги. Прохлюпали и остановились.

— Ваше величество, — послышался тихий голос.

Царь, не удивляясь, спросил:

— Кто пустил?

— С берега реки до вашего величества пробрался. С городу-то охрана стоит.

— Это ты, живописец?

— Я, — прозвучало в ответ, и просяще: — К вашей милости государевой!

Передохнул и жарким шепотом:

— Червь и прах — перед лицом вашего величества, червь и прах.

На царя пахнуло запахом вина.

— Но мыслить, государь, с измальства приучен, а окрест меня одни каменья, хоть голову расшиби — не поймут.

— Чего просишь? — царский голос был суров.

— Правды взыскую!

— Какой? И где ее предел?

— Несть предела. Правда конца и начала не имеет — всевечна она.

Царь засмеялся. Смех был колюч и резок.

— На чем правду утверждаешь?

— На претворении жизни!

— А как сие претворяется?

— Ваше величество претворяет ее славными деяниями, а аз недостойный — ремеслом своим. Каждый по своему разуму отечеству служит.

— И претворил?

— По силе своей претворил, а никто и знать про то не хочет. Велегласно смеются, перстами тычут, аки на разбойника. Я, государь, храм расписал Ивана, что на Рощенье. Душу всю вложил, а одиноким остался.

Царь спросил повелительно:

— Толком скажи, чего надобно?

Человек упал на колени в снег и, тычась головой о каменные ступени, воскликнул:

— Пойдем со мной, государь, в храм, недалече тут, посмотришь...

И ответил просто царь:

— Пойдем!

За обрывом на реке певцы заканчивали:

...Не сыскать мне, бедному, талант счастья,
Коль на сердце спрятано горе горькое...

И как бы подтверждая это, мужской голос уронил:

«Горе горькое...»

* * *

Долго будили в сторожке дьячка. Старик после всепощной спал крепко и проснулся нехотя. Надел стоптанные валенки, накиннул подрясник на исподнее.

— Иисусе Христе, — зевая проговорил он, высовы-

ваясь за дверь. Увидел солдата с алебардой, за солдатом стоял живописец и рядом с ним исполинская фигура в меховом плаще и военной треуголке.

— Чего надо? — грубо спросил дьячок.

Но когда солдат цыкнул на него, старик оробел:

— Прости, Христа ради.

Живописец подошел ближе и тихо на ухо дьячку:

— Государь тут. Бери ключ и отворяй храм.

Дьячок, взглянув на высокую фигуру, стремительно бросился в сторожку за ключом.

— Господи, — шептал он, разыскивая ключ. — Господи! Спаси!

Через несколько минут тяжелая церковная дверь растворилась, и царь вошел в мрак, сырость и холод каменного здания.

Дьячок высек огонь, затеплил огарок и от него стал зажигать лампадки. И по мере того как свет распространялся по храму, оживали, переливаясь, краски на стенах.

— Сим утверждаю! — дрожащим голосом сказал живописец, указывая рукой на фрески.

— Утверждаешь правду жизни? — спросил царь.

Он стоял высокий, не снимая треуголки. Лицо было недовольно, обрюзгло, и темные с желтизной глаза смотрели поверх головы живописца.

Маняще улыбалась Саломея. Фонтан крови из усеченной главы Крестителя радостно вздымался вверх. Трубили в серебряные трубы попирающие облака архангелы. Пел «Песню песней» Соломон, и грациозные львицы простирались у его ног.

Зажженные паникадила, колеблясь от сквозняка, двигали фигуры на стенах, и, оживленные в гармонии красок, они кружились перед взором царя, а сверху, с купола, смотрел на них Саваоф и удивлялся.

Царь поднял голову и, взглянув на лик Саваофа, усмехнулся:

— Зело отменно!

Смех отдался в сводах и возвратился обратно.

— Проглядели, кудлатые, — уже спокойно произнес Петр.

Живописец замороженно смотрел на царя. Его лицо, озаренное светом лампад, было встревожено и полно ожидания.

— Тако выдумать, надо голову иметь! — сказал Петр.

Достал из кармана трубку, набил табаком. Прикурил от свечки, что держал дьячок. Тот зашипел от негодования, мелким крестом осенил грудь. Государь прошел в алтарь.

— Дед! — крикнул оттуда неожиданно озорным голосом. — Тащи огня!

Дьячок, творя молитву и озлобленно поглядывая по сторонам, исполнил приказ.

Семь свечей вспыхнули желтоватым блеском и отразились таким же блеском в зрачках у государя.

В алтаре, как и в храме, радостно утверждала жизнь певучая гамма неумирающих красок. Перед взором царя плясали пророки, великомученики и просто мученики. И царь снова сказал:

— Зело отменно!

Табачный дым, густой и терпкий, плыл из алтаря. Дьячок крестился и фыркал.

— Подойди, малый, — сказал Петр живописцу.

Живописец, трепеща, подошел.

Царь быстро взял его за плечо своей сильной рукой и улыбнулся.

— Готовься, — сказал, — поутру в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург поедем. Будешь у меня парсуны писать и первого Данилыча изобразишь, чтоб плясал, как та девка на стене.

Еще раз затянулся дымом и, гремя шпорами, вышел из алтаря. Живописец едва поспевал за ним.

На пороге притвора царь остановился, снова оглядел стены и весело проговорил:

— Правду молвил, здоров ты, парень, жизнь утверждать!

Луна смотрела из-за облаков. Спокойно спали приземистые домики, хлюпал снег под ногами.

* * *

Царь, ложась спать, сказал Екатерине:

— Знаешь, Катя, где я был? — На немой вопрос жены ответил: — Веселым святым молился. Един тут человек, живописец, великую мне милость оказал, великую: при всякой препозиции должно жизнь утверждать, должно!

Замолчал, посуровел.

— И покуда в груди моей сердце бьется — истину утверждать буду, Катя!

— Спи, Петруша, — сонно молвила Екатерина.

В соседней комнате на затейливых часах выскочила маленькая серебряная кукушка и кокетливо прокуковала двенадцать часов.

А живописец шел домой. Он жил на том берегу реки.

Луна то скрывалась, то снова показывала свой лик. Шлемовидные луковицы Софийского собора освещались дрожащим лунным светом.

Живописцу надо было пройти по деревянному мосту, а он не видел дороги. Питербурх, столица, новый парадиз стояли перед его взором. В ушах звенел голос царя: «Зело отменно!» Сердцу было тесно в груди, и живописец закричал:

— Зело отменно!

Мятущийся крик его вырвался на простор мартовской блеклой ночи, и не было уже дороги. Живописец, размахивал руками, бежал вниз по снежному косоугору. К реке. Лед местами потрескался.

У самого берега была прорубь, в которой бабы по утрам полоскали домотканое белье.

— Зело отменно! — победно прозвенел голос, и живописец вдруг почувствовал толчок, потерял равновесие. Пронизывающий холод охватил его крепкими объятиями. В последний миг, когда тело очутилось подо льдом, сердце дернулось порывисто сильным ударом, дернулось и остановилось...

Большая ворона опустилась на лед. Внимание ее привлек черный предмет, лежавший у проруби. Кособоко подпрыгивая, ворона приблизилась к нему. Скосила глаз и клюнула, затем досадливо каркнула и, тяжело взмахнув крыльями, полетела по направлению к собору.

У проруби осталась лежать смешная треуголка с обмякшими краями.

КАБИНЕТ-МИНИСТР

I

В эту ночь над Санкт-Петербургом разразилась сильная гроза. Яркие зигзаги молний освещали набереж-

ные, разводные мосты и шпиль Адмиралтейства. Казалось, огненные мечи раскалывают августовскую ночь на части.

Артемий Петрович Волинский*, высокий, с умным лицом вельможа (особенно хорошо был лоб, упрямый и выпуклый), раскрыл венецианское окно и смотрел на разбушевавшуюся стихию. Волосы, напудренные и перевязанные сзади бантом, распушились, и пудра с них развеялась. Свечи в канделябрах на письменном столе оплывали. Неровный волнующийся свет плясал по gobеленам, и в этом свете лик Петра Первого в массивной золотой раме был суров и гневен.

Волинский на минуту оторвался от своих размышлений и посмотрел на портрет.

— Ваше величество, — сказал он звучно, — приглашали иноземцев для служения государству Российскому, но потачки им не давали и паче живота своего пользу отечества соблюдали. А ныне немцы все государство заполонили и не только спокойствия, а и воздуха лишили!

В зал тихо вошел маленький и худенький веснушчатый молодой человек в синем камзоле, держа под мышкой пачку бумаг. Он остановился у стола и положил принесенные бумаги. Взял щипчики и снял нагар со свечей, затем слабым голосом произнес:

— Ваше превосходительство приказали составить опись имения.

Волинский неохотно отошел от окна, сел в кресло:

— Спасибо, Сергей Иванович, но, кажется, мне о сем имуществе беспокоиться впредь не придется.

Сергей Иванович — секретарь Волинского — вопросительно посмотрел на своего патрона. Он был душой и телом предан министру и хорошо понимал каждое его движение.

— Изволили быть на аудиенции у государыни?

Министр сердито стукнул кулаком по бумаге:

* А. П. Волинский (1689—1740) — русский государственный деятель. При Петре Первом занимал дипломатические и административные посты. При Анне Ивановне за подготовку свержения немецкой клики Бирона был арестован и казнен. (Энциклопедич. словарь, М., «Сов. энциклопедия», 1953, т. 1). Волинский был младшим современником и птенцом «гнезда Петрова» Ключевский В. О. Сочинения. В 8-ми т., т. 4. М., Соцэкгиз, 1958).

— Был удостоен такой чести! Докладывал государю не о лихоимстве господ придворных немцев, кои под покровительством герцога Бирона находятся. Не выдержал я, Сережа, характера своего и поведал царице обо всех делах и изменах Бирона и господ Левенвальде, канцлера Остермана*. О том также государыне поведал, как на дыбе поручика Анциферова засекали, как попа Михаила живого собаками затравили, как девку Катерину после кнутов солью растирали и потом повесили, как деньги от прусских и австрийских министров за измену получали — все поведал!

— Ну, и что их величество соизволили сказать?

— Соизволили, — насмешливо протянул Волынский, — соизволили с итальянским шутком забавляться, а мне велели немедля домой ехать и ожидать ее всемилостивейшего решения. А ты тут с описью имущества! Когда империя, волею Великого Петра созданная, гибнет, тут не до имения! Когда ярем чужеземный российский народу угрожает, тут не до этих писулек!

Министр нервно схватил листы описи и стал их рвать, бросая на ковер.

II

— Не проси, Эрнст, не проси, голубчик, не могу, — по-бабьи всхлипывала толстая, рыхлая, с лицом, изрытым оспой, с распущенными черными с проседью волосами императрица всероссийская Анна Ивановна. — Хоть убей, не могу!

Она лежала на мягких пуховичках, полузакрытая пунцовым шелковым одеялом. От императрицы пахло потом, а в опочивальне стояла духота от наглухо закрытых окон с опущенными портьерами.

Анна ужасно боялась грозы и при каждом глухом ударе крестила пухлой рукой свои обвислые груди.

У кровати в мягком кресле сидел высокий с надменно тупым красным лицом и крысиными глазками человек. Он был в пышном напудренном парике, в зеленом

* И. Э. Бирон — герцог Курляндский, всеильный фаворит императрицы Анны Ивановны, казнокрад, взяточник, опутавший всю Россию системой сыска и пыточных камер. Фон Левенвальде — один из любимцев императрицы, ближайший помощник Бирона. А. И. Остерман — канцлер, дипломат, игравший на руку немецкой придворной камарилье.

с золотыми разводами шелковом камзоле, бархатных зеленых штанах, белых чулках и башмаках с пряжками, на которых переливались бриллианты. Он сосредоточенно подносил ко рту свои короткие пальцы и обгрызал ногти.

Это был вершитель судеб государства Эрнст Бирон.

— Значит, — сплевывая откусанный ноготь, сухим надтреснутым голосом сказал он, — ты, Анхен, хочешь ради русского негодяя порвать со мной, твоим верным другом и слугою, и со всеми преданными тебе земляками? Неужели ты не знаешь, что только благодаря нам держится это паршивое государство?

— Герцог, — прервала Бирона Анна, — не забывай, что я дочь русского царя!

Бирон рассмеялся, смех был презрительный и хлестал Анну, как плеть.

— Только иностранцы, запомни, Анхен, могут править этим русским быдлом, — голос Бирона возвысился почти до крика, испарина покрыла его лоснящееся лицо. — Выбирай между мною и Волынским, или я завтра же уеду в Митаву!

— Не говори таких ужасных слов, — простонала Анна. — Я не могу послать на казнь Волынского, ежели знаю, что он ни в чем не виновен.

Герцог поднялся с кресла:

— Спокойной ночи, ваше величество. Я пойду готовиться к отъезду.

— Не уходи, Эрнст! — Анна схватила Бирона за руку, — я повелю Волынскому уехать в Тобольск, а его поместье перепису на тебя.

— Нет, — отрезал герцог, — Волынский должен быть казнен!

— Волынского любят, за него гвардия. Он знатного рода, его мой покойный дядя царь Петр выделял...

— Тем более он должен быть казнен, а насчет закона — все будет сделано, его обвинят в оскорблении вашего величества и умысле на империю...

Она посмотрела на герцога и отрывисто сказала:

— Дай указ!

У Бирона сразу прояснилось лицо. Он вынул из кармана указ об аресте Волынского и подал Анне гусиное перо. Анна криво вывела подпись.

Тогда Бирон взял ее руки и стал их нежно целовать.

Судьба единственного в правительстве русского министра была решена.

III

Отпустив секретаря, Волынский придвинул кресло к раскрытому окну, поглубже уселся в него и закрыл глаза. Спать министру не хотелось, он закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточить свои мысли. Он знал, что сегодня проиграл последнее сражение.

Он боролся на заседаниях кабинета с чужеземным влиянием Бирона. Сегодня же ясно осознал, что, как и Бирона, он ненавидит императрицу и ненавидит единственно за то, что у нее, русской монархини, нерусское сердце.

— Да! — голос Волынского гулко прозвучал в большом зале. — Да, это последняя моя ночь в доме... У меня много грехов и ошибок... много... но я не изменник!

В раскрытое окно донесся шум подъезжающей кареты.

— Вот и конец, — сказал он спокойно, — приехали янычары.

Министр встал с кресла, застегнул камзол, поправил кружевной воротник и пошел навстречу своей судьбе. Судьба явилась в образе чиновника тайной канцелярии и нескольких солдат.

— По указу ее величества самодержицы всероссийской Анны Ивановны вы, господин кабинет-министр, должны немедленно следовать за мною для препровождения вас в канцелярию тайных дел, — проговорил чиновник. И два солдата, обнажив палаши, встали по бокам Волынского.

Прежде чем навсегда уйти из своего дома, министр обернулся к портрету Петра Первого.

— Прощайте, государь!..

IV

С первого же допроса Волынского подвергли пытке. Его трижды поднимали на дыбу. И, когда поднятое на блок тело напрягалось всеми мышцами и кости выходили из суставов, били ременными плетьюми.

После нескольких ударов брызгала кровь, и человек терял сознание. Снимали с дыбы, клали на грязный

од и обливали холодной водой. Волынский приходил в возмущение. Звучал скрипучий нерусский голос следственных тайных дел прокурора:

— Назовите, сударь, своих преступных соучастников противу ее величества императрицы.

— Противу ее величества ничего не умышлял, — отвечал министр.

— А на особу его светлости герцога Бирона?

— Герцог для меня не государь. Аз есмь русский и, как все русские, ярем немецкий хуже татарского почитаю, — гордо отвечал Волынский.

И снова подвешивали, и снова из рассеченного тела брызгала кровь...

Приходил на допрос сам Бирон в сопровождении свиты, и измученный окровавленный Волынский с вывихнутыми суставами, слабеющим от нестерпимой муки голосом не переставал повторять:

— Аз есмь русский...

И когда выведенный из терпения Бирон подскочил к нему и хрипло крикнул: «Назови, падло, своих соучастников!» — Артемий Петрович, собрав последние силы, проговорил:

— Слушай, герцог, соучастником моим вся Россия была!..

Приговор гласил: «Лишив всех чинов, орденов и шляхетского звания, подвергнуть смертной казни через отсечение головы».

Анна Ивановна долго не соглашалась утвердить приговор. Бирон опять грозил отъездом, и в конце концов приговор был императрицей конфирмирован.

V

Позорный помост, на котором стояла плаха, окружали солдаты Измайловского полка. Это был новый полк, созданный Бироном в противовес старым петровским полкам — Преображенскому и Семеновскому. Шефом Измайловского полка считалась сама Анна. Офицеры были исключительно иностранцы.

Густая толпа народа теснилась за солдатами. Когда подъехала телега, на которой, закованный в цепи, сидел бледный Волынский, толпа взволнованно приветствовала приговоренного.

— Мало им крови! — раздавались голоса. — Потерпи, батюшка, за правду...

Сновавшие в толпе агенты тайной канцелярии тут же арестовали пять горожан.

Палач, здоровый детина со зверским бородатым лицом в традиционной красной рубахе с засученными рукавами, хотел помочь Волынскому подняться на эшафот. Волынский отстранил его, звеня цепями:

— Убери руки!

Он стоял спокойный. Его волосы развевались по ветру.

Через несколько минут все будет кончено. Жаль умирать, когда ты не старик, здоров и можешь сделать еще много нужного и полезного...

Какое голубое небо... Он его больше не увидит! Воробей сел на край помоста и чистит клювом свои перышки... Его он тоже не увидит... Сегодня придет вечер, но и его он не увидит... А ведь не верится, что сейчас все кончится...

Темнеет в глазах... Только бы не упасть... Только бы не дать этим псам увидеть его слабость...

Аудитор долго нараспев перечислял все мнимые вины кабинет-министра. Потом подошел священник. Священник был в черной епитрахили.

Волынский приложил сухие потрескавшиеся губы к кресту, затем, гремя цепями, подошел к плахе.

Палач сдернул с него камзол, и Волынский опустился на колени.

По знаку полковника фон Манштейна затрещали барабаны.

Аудитор, спеша и спотыкаясь, подошел к коленопреклоненному министру и переломил над его головой шпагу.

Артемий Петрович услышал голос палача:

— Баринок, шею-то вытяни...

Волынский подожил голову на плаху и неожиданно уловил запах сосны. Он шел от свежих досок эшафота. Расширив ноздри, он вдыхал этот запах, последний запах леса, и не видел, как палач широко размахнулся и обрушил страшный удар на его шею.

СУМЕРКИ АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА

Бархатные портьеры тяжело повисли над полураскрытыми венецианскими окнами. Где-то звонили к вечерне. Тягучие медные звуки плыли в опочивальню. Под шелковым голубым одеялом было жарко. Алексей Григорьевич Орлов* опростал руки из-под одеяла и сказал:

— Сенька, подай пить.

Карлик со сморщенным бритым лицом в голубой ливрее (любимый цвет графа) взял со стола кружку с лимонным морсом и поднес к губам больного.

— Жалеешь? — спросил тот.

У карлика дернулось лицо:

— Жалею, батюшка.

Граф сделал глоток и снова откинулся на подушки. Его атлетическое тело, казалось, утратило былой вес. Он ясно ощущал это. Но, чувствуя легкость во всем теле, Алексей Григорьевич не мог шевельнуть ни одним членом.

Медный тяжелый звон плыл в комнату.

— У Николы звонят, — сказал карлик.

Больной как бы в забытьи прошептал:

— В деревне, поди, на проталинах грачи, землей пахнет, на березках почки. Страсть до чего люблю, когда почки лопаются. Рысачки мои тоже, знать, весну чуют. Скучаю по ним.

— Поправитесь, батюшка, — сам не веря своим словам, промолвил карлик, — поправитесь, и в воронежскую вотчину к нашим рысакам, право слово, поедем.

Заходящее солнце бросило косые лучи в опочивальню, и от этого больной почувствовал гнетущую тоску.

Он смотрел, как лучи солнца позолотили темно-синие с серебряными разводами шторы, как отразились на бронзе бюста Екатерины и заиграли на перламутровых пуговицах ливреи карлика. Он не хотел этого видеть и поэтому прикрыл воспаленные веки. Карлик, заметив,

* Орлов А. Г. (1737—1807) — государственный и военный деятель. Принимал участие совместно со старшим братом Григорием в дворцовом перевороте, в результате которого Петр Третий был свергнут, а Екатерина Вторая возведена на престол. Был главнокомандующим русской эскадры при разгроме турецкого флота в 1770 г. в Чесменской бухте. Основатель конного завода, где была выведена знаменитая порода орловских рысаков.

что хозяин закрыл глаза, бесшумно отошел в угол и присел на корточки.

И была тишина, и не было больше медного звона, и только врывается легкий весенний ветер в полуоткрытое окно.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, герой Чесмы, кавалер всех русских орденов, не хотел умирать, но смерть стояла у изголовья его похожего на саркофаг ложа. Он старался думать о дочери, об усадьбе, но другие воспоминания, незабываемые, заполняли сознание, и тогда, подчиняясь неизбежному, Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, судорожно глотнув воздух, отдался их власти.

...Начало июля. Мыза. Ропша. Совсем рядом Ораниенбаум. В Санкт-Петербурге сверкающая молодостью, красотой и улыбкой императрица Екатерина Вторая начинает новую эпоху в истории Российской империи. Рядом с ней Григорий Григорьевич Орлов, гвардейский офицер, глава переворота и счастливый любовник Екатерины.

А в неуютных пустых комнатах ропшинской мызы он, Алексей Орлов, брат всемогущего фаворита, сидит за большим неприбранным столом.

Потускневшая бархатная скатерть, недопитые стаканы вина, бутылки, карты... Напротив него — землистое лицо бывшего российского императора Петра Третьего.

Алексей Орлов по приказу Екатерины и брата охраняет священную особу низвергнутого монарха. Кроме Петра и Орлова в комнате находится поручик князь Бярятинский в расстегнутом мундире кавалергардского полка.

Петр и Бярятинский играют в карты. Они оба пьяны. Петр проигрывает, бросает на стол карты и говорит с немецким акцентом:

— Проклятая Россия! Мерзкие люди! Скоты!

Князь Бярятинский смотрит в переносье Петра и грубо отвечает:

— Замолчи!

— Это вы мне?! Мне, которому присягали?

Бярятинский смеется:

— Я не подданный голштинского герцога!

— Мои голштинцы!.. — запальчиво перебивает Петр. — Вы не имеете права о них говорить. Один голштинец стоит сотни русских!

Барятинский хватает недопитый стакан вина и высккивает его в лицо Петру.

Император бледнеет, зубы его выбивают лихорадочную дробь. Он жалок и смешон. Худой, в залитом вином прусском мундире (на нем в золотой оправе блеснит усыпанный алмазами портрет короля Фридриха), Петр топает ногами. Тяжелые ботфорты и шпоры издадут неприятный звук.

— Гнида голштинская, — свирепеет Барятинский и подбегает к Петру. Петр бьет по лицу князя и истосно кричит:

— Подлец!

Тогда поднимается со своего места Алексей Орлов. В его ушах ласковый голос Екатерины: «Вы отвечаете мне за жизнь Петра Федоровича» и слова брата: «Слушай, Алеша, в случае какой оказии кончай с ним».

Алексей Орлов понимает — брат договорил то, что не могла сказать императрица.

Он медленно, как бы нехотя, приближается к Петру, затем поднимает свой кулак и тяжело обрушивает его на голову императора.

Петр сначала стоит, затем нелепо взмахивает руками и садится на пол. Из его рта бежит струйка крови. Кровь окрашивает паркет.

— Проклятая Россия! — хрипит Петр. — Зачем я сюда приехал!

Барятинский бутылью бьет по виску императора.

А в Санкт-Петербург следует депеша: «Государь император Петр Третий скончался от геморроидальных коллик».

Так Алексей Орлов выполнил приказ императрицы.

* * *

Ливорно. Бирюза моря.

На набережной шумная жестикулирующая толпа. Все в ожидании. На рейде под флагом адмирала императорского российского флота Алексея Орлова военные фрегаты. На фрегатах по реям яркие флажки.

От флагманского корабля к берегу отходит двенадцативесельная адмиральская шлюпка. В ней офицеры и сам Орлов. По берегу к пристани движется несколько карет. Из одной выходит дама в атласном платье с волнистым шлейфом.

Стройная, невысокая, с косящими влажными глазами, с какой-то неуверенной улыбкой, она быстро делает несколько шагов к мосткам пристани. За нею качалеры и дамы. Шлюпка у пристани.

Алексей Орлов, широкоплечий, мужественный, в нарядном синем мундире в сопровождении свиты подходит к даме, опускается на одно колено и почтительно целует смуглую и дрожащую ручку.

— Ваше высочество, я предоставляю в ваше распоряжение свое сердце и свой флот.

Молодая женщина тихим взволнованным голосом отвечает:

— Благодарю вас, Алексей Григорьевич.

Они спускаются к шлюпке.

Когда шлюпка, эскортируемая нарядными лодками с веселыми гостями, подходит к адмиральскому кораблю, десять приветственных залпов с корабля разносятся по рейду.

Толпа на пристани восторженно кричит, машет платками и шляпами.

На палубе корабля выстроились офицеры и матросы.

Торжественная встреча. Звучит музыка.

Алексей Орлов ведет даму в адмиральскую каюту. Кюта скорей похожа на гостиную: мягкие диваны, ковры, цветы.

Их только двое: Алексей Орлов и претендентка на русский престол княжна Елизавета Владимирская*. Ей двадцать три года. Она считает себя дочерью императрицы Елизаветы от тайного, но законного брака с Алексеем Разумовским. В этом ее уверили католические иезуиты, польские эмигранты и немецкие авантюристы.

Княжна была любовницей пана Радзивилла, получала деньги от иностранных принцев и турецкого султана. Игрушка в руках прожженных политиканов, слабая, бесхарактерная, она любила только развлечения и деньги.

Она писала под диктовку иезуитов обращения к различным монархам и обещала им, как только взойдет на престол, богатые российские земли. Алексею Орлову было предложено захватить самозванку.

Его брат Григорий уже не был фаворитом императ-

* Она же Елизавета Тараканова (княжна Тараканова).

рицы. Рядом с Екатериной теперь блистала звезда одноглазого Потемкина.

Когда императрица послала Орлова на «важнейшее для империи Российской тайное дело», он молча поклонился и уехал. В пути он обдумывал план действий так, как обдумывал со своими адмиралами план победы над турецким флотом.

Познакомившись с княжной Владимирской, Орлов притворился безумно влюбленным в нее и готовым на измену Екатерине, на измену родине. Он умел говорить пылко и осыпал поцелуями и деньгами дорогу к сердцу Елизаветы.

Молодая самозванка согласилась разделить жизнь и престол с Алексеем Григорьевичем.

В каюте он сказал княжне:

— Я у ваших ног, и священник готов соединить нас узами святого брака.

Княжна бросилась, плача от радости, в объятия графа.

Переодетый в ризу священника офицер из немцев разыграл комедию венчания.

Когда холод золотого кольца коснулся пальца княжны, она вздрогнула от предчувствия чего-то страшного. Но море было таким ласковым, так нежен был взгляд графа, так веселы гости, что княжна успокоилась.

Ее уверили, что эскадра должна была плыть к Стамбулу, где турецкий султан якобы готовился принять своего победителя с молодой женой как долгожданного союзника. И счастливая и усталая княжна легла отдохнуть. А в это время корабли русского флота отплывали от берегов Италии в другом направлении, держа курс на Кронштадт.

Когда княжна захотела увидеть мужа, к ней вошел незнакомый суровый офицер и объявил ее арестованной именем ее величества императрицы Екатерины.

Через восемь месяцев в Петропавловской крепости истощенная чахоткой княжна Владимирская скончалась.

* * *

Траурные полотнища на Зимнем дворце. Траурные полотнища на домах. Они неуклюже вздымаются и бесильно треплются по ветру.

К Петропавловскому собору движется похоронная процессия. Черные ризы духовенства, заунывное пение придворных певчих, приспущенные знамена полков и мелкий скучный дождь...

Похороны Екатерины Второй. Вернее, двойные похороны: вместе с Екатериной хоронят снова и Петра Третьего. Император Павел Петрович приказал вырыть останки своего отца из Александро-Невской лавры и похоронить их со своей матерью в усыпальнице русских императоров в Петропавловском соборе.

Вот он, маленький, курносый, в кургузом гатчинском мундире прусского образца и треуголке, из-под которой видны букли и пудренная косичка, идет, громыхая шпорами и палашом, за гробом своих родителей. За ним красноносая тупая физиономия генерала Аракчеева, нежный девичий овал лица любимого внука Екатерины Александра, а сзади, держа равнение, генералы, сенаторы, офицеры.

Павел злобно посматривает на идущего за катафалком Петра Третьего высокого плотного вельможу в адмиральском мундире со всеми орденами и крестами. Вельможа держит края покрывала, спускающегося с катафалка. Он идет, низко опустив голову, и ничего не видит. Это Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский провозжает гроб ропшинского узника.

Он думает о своей судьбе, о Екатерине и о пережитом позоре. Сегодня утром государь вызвал его и, багровея от гнева, приказал:

— Предписываю вам, граф, в полном параде быть сегодня на похоронах у гроба убиенного вами блаженной памяти императора Петра Федоровича.

Затем государь приподнялся на носках и засмеялся, глядя на побледневшее лицо графа.

И вот теперь Алексей Григорьевич идет за гробом Петра.

Совршается церемониал похорон, и перед Орловым, как в тумане, золотая корона на гробе той женщины, по ведению которой он шел и на великие подвиги, и на великие преступления. Гулкие пушечные залпы с верков Петропавловской крепости.

Затем хриплый голос Павла:

— Господин Орлов, немедля покиньте столицу, и ежели паче чаяния я узрю вас в оной, то, невзирая на ваши лета, прикажу повесить.

Расступившиеся ряды придворных. Злорадные и сожалеющие взгляды, и он, идущий через эту когда-то раболепствующую перед ним толпу.

Вздувшаяся черная Нева. И выплывающие из тумана на той стороне острый шпиль Адмиралтейства и памятник Петру Первому на вздыбленном коне. И косой петербургский дождь.

...Алексей Григорьевич поднимает исхудавшую руку, проводит ею по вспотевшему лбу и открывает глаза.

В опочивальне дремлющий в углу карлик и бронзовый бюст Екатерины.

В уши Орлова врывается хриплый крик Петра Третьего:

— Проклятая Россия!

И тогда, отогнав все воспоминания, с просветленным лицом умирающий произносит:

— Благословенная Россия!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА*

Он любил Тацита. Тацит всегда успокаивал его. Часто вечерами в походе, когда отекавшее тело чувствовало усталость, а ноги опухали, он раскрывал маленькую, пахнущую нюхательным табаком и духами книгу и с наслаждением, прищурив единственный глаз, читал.

Так и теперь, в этот холодный апрельский вечер, лежа в постели, он открыл пятую главу и прочел: «Наконец Нерон пожелал вовсе истребить добродетель в лице немногих оставшихся ее представителей...»

Бесшумно вошел лекарь. Остановился, неодобрительно покачал головой и тонко пропел:

— Ваша светлость, вы нарушаете дисциплину.

Старик, не отрывая глаза от книги, махнул пухлой с синими жилками рукой:

— Выйди, прошу.

Лекарь так же бесшумно исчез.

Несмотря на то, что в комнате с утра топили, старику было холодно. Он накинул на свои толстые обмякшие плечи грубое одеяло и подумал о теплой русской

* Рассказ посвящен последним дням жизни великого полководца Отечественной войны 1812 года М. И. Кутузова. В доме в Бунцлау (ныне — Болеславец, Польша), где останавливался фельдмаршал, по решению польского правительства открыт музей-читальня.

бане, о венике, о терпком запахе мыла и кислого ржаного хлеба.

— Амбреной надушили! — сказал он сердито. Клизмы ставят! А по мне — сушеной малины да водки.

За окном была чужая бледная луна, молодая и холодная. Нерусский пейзаж, чистенькие прилизанные домики с красной черепицей и вычурными флюгерами.

Город Бунцлау. Силезия. Штаб. Мундиры. Кругом иностранцы: в штабе были люди в белых австрийских мундирах, в черных и синих — прусских. И среди этой чиновной знати он один, умирающий, почти семидесятилетний старик, носящий титул светлейшего князя, генерал-фельдмаршала, главнокомандующего объединенных европейских армий, был русским.

В соседней комнате, где горели в медных шандалах восковые свечи, дежурили четыре офицера и генерал. Офицеры играли в карты и пили вино. Генерал сидел в кресле у камина и дремал. Его сухощавое лицо с черными баками и длинным носом освещалось красноватым пламенем угасающих углей.

У дома ходили двое часовых. Это были солдаты лейб-гвардии егерского полка: они носили тяжелые неудобные кивера и легкие шинели, перетянутые белыми ремнями. Один из них был старик с седыми усами, другой молодой.

Когда солдаты не видели дежурного офицера, они сходились вместе, стучали ногами в легких гетрах о мостовую и разговаривали. Голоса были сильные от переходов, маршей, дежурств на морозе.

— У нас, — говорил старый егерь, — в любой мороз дышать легче, дух сосновый, самый полезительный. Вот и Михайла Ларионович от этого духа враз бы поправился. — Он тяжело вздохнул: — Без него опять нашему брату петля будет: замучают артикулами! Одно слово — шагистика!

— А царь-то? — боязливо спрашивал молодой. — Он разве допустит?

Но старый солдат сурово перебил:

— Царь, царь! Знаешь? До бога высоко, до царя далеко.

А в двадцати верстах от города на запад двигались русские полки. Они шли, как на параде, отбивая такт, и на остриях трехгранных штыков блестела холодным светом иноземная луна.

Фельдмаршал знал, что он должен умереть, что этого хотели Вена, Берлин, Петербург, и прежде всего его величество император Александр Павлович.

Он помнил последний разговор в Вильно, когда государь, очаровательно улыбаясь, сказал:

— Вы будете избавителем всей Европы от узурпатора.

— А я, ваше величество, — ответил он тогда, — прочим державам не слуга. Русской солдатской кровью дорожу. — И еще сказал: — Увольте меня от сей великой чести!

И тогда Александр Павлович уставился своими небесными глазами в его лицо и прошептал ненавидяще:

— Пока вы не умрете, сей обязанности с вас не сниму.

После этого взял его под руку, вывел к генералам и дипломатам и произнес:

— Господа, вот вам главнокомандующий, который поведет вас освобождать Европу!

По знаку царя флигель-адъютант преподнес фельдмаршалу золотую звезду Георгия Победоносца первой степени, усыпанную бриллиантами.

«Так римские императоры посылали яд своим сенаторам в золотых ларцах», — подумал старый полковдец. Он недаром любил Сенеку и Плутарха, Тацита и Петрония...

О том, что фельдмаршал умирает от простуды, говорил весь свет, но истинную причину знал только он сам.

Теперь фельдмаршал имел время думать о себе, об окружающих, а главное, о своей родине. Правда, она рисовалась ему не в ореоле европейской славы, не с античными ахиллами и геркулесами. Нет, там, за полосатыми шлагбаумами, в синей дымке полей раскинулась деревянная избяная Русь с ее просторами, морозами, луковками церквей и тихими предвечерними звонами. Фельдмаршалу виделась обширная страна, ее крепостной народ, который — фельдмаршал знал это лучше других — своей грудью спас родину.

В соседней комнате послышался чей-то голос, хриплый и басовитый: «Мне бы светлейшего». И ответ дежурного: «Его светлость изволит почивать. Соблаговолите подождать, милостивый государь. По чьему повелению вы позволили себе в такой поздний час нарушать

покой главнокомандующего?» — И строптивый ответ «По личному!»

Фельдмаршал улыбнулся и почти по-молодому крикнул:

— Дежурного генерала ко мне! — Взяв со столика серебряный колокольчик, позвонил громко и повелительно.

Вошел генерал, по-немецки печатая шаг.

— Изволили звать, ваша светлость?

— Именно изволил, — с насмешкой сказал старик. —

Кто там?

— Ротмистр Назаров, — отчеканил дежурный.

— Зови, зови, — поспешно проговорил фельдмаршал.

Генерал повернулся и, пожав плечами, вышел.

Кутузов присел на постели. Когда в дверях показался приземистый Назаров, задушевно проговорил:

— Голубчик ротмистр, неужто это ты?

— Я, я, — стараясь говорить как можно нежнее и оттого еще более хрипло сказал кавалерист, принимая в свои руки пухлую руку фельдмаршала.

— Поцелуемся, брат, — и светлейший приложил свои губы к щеке офицера.

Тот бережно поцеловал руку фельдмаршала.

Назаров был его младший соратник, друг Багратиона, честный и неподкупный, и главное, свой, понятный, русский. Даже то, что от него пахло конским потом, сыростью, табаком и вином, было приятно старику.

Он тронул ротмистра за плечо и просяще сказал:

— Голубчик, мне бы капустки квашеной, а? Мне эти габерсупы приелись, тоскливо от них в желудке.

— Через три часа, Михаил Ларионович, доставлю. Умру, а доставлю, — проговорил офицер.

— Ну вот и хорошо. Это я так, не надо. Ведь, поди, на лошади часа три скакал. Не надо.

Фельдмаршал впал в забытие. На его оплывшем лице проступали признаки приближающейся смерти.

Назаров с болью смотрел на Кутузова и думал: «Неужто умрет?! Как же мы без него-то?»

Фельдмаршал как бы понял то, о чем думал его молодой друг: глаз старика ожил, на губах проступила улыбка, и он стал похож на римского философа.

— Знаешь, голубчик, — произнес он, — вопреки иным прочим жить я буду подольше, чем они: в тебе останусь, да и в армии меня забудут нескоро.

Он замолчал и, чувствуя усталость, чувствуя, что ему нужно заснуть, протянул руку офицеру.

— Иди, — голос его дрогнул. — Прощай! Спасибо тебе!

И тогда Назаров, положив кудлатую голову на край одеяла (голова почти упиралась в припухлый живот фельдмаршала), заплакал. Смелый офицер, человек, видевший постоянно перед глазами смерть, плакал как ребенок, и фельдмаршал, глядя его по жестким волосам, говорил утешающе:

— Ну не надо, голубчик, я ведь знаю, все знаю, иди и скажи там, чтоб меня не беспокоили. Ну их всех... — и фельдмаршал употребил густое русское ругательство.

Это привело в чувство Назарова. Он поднялся, еще раз низко поклонился и, ни слова не говоря, пошел к двери.

Дежурный генерал сидел у камина. Офицеры по-прежнему играли в карты.

Ротмистр резко остановился перед генералом.

— Светлейший приказал его не беспокоить. — Оборотясь к офицерам, вращая белками глаз, топнул: «У!» — и выбежал в сени.

— Коня!

Старый егерь подвел лошадь. Придержал стремя. Когда ротмистр ловко, одним махом взлетел на лошадь, подавая уздечку, спросил:

— Дозвольте узнать, ваше высокоблагородие, о его светлости...

— Не знаю, братец, — сказал Назаров, — в этом проклятом гнезде не выжить светлейшему. — Он дал шпоры коню и вылетел на городскую площадь.

Ветер свистел в его ушах.

Он вдруг уловил мелодичный бой часов с городской ратуши. Приподнялся в стременах, скользнул взглядом по крышам чистеньких домиков и погрозил кулаком мерцающим звездам.

В один из холодных апрельских дней с визитом к фельдмаршалу явился император. От Александра шел запах английских духов, немного горьковатый и пряный. Он был в своем любимом преображенском мундире, зеленом с красными обшлагами, в белых лосинах и ярко начищенных ботфортах. Через плечо переливалась голубоватым цветом андреевская лента, а на груди, кроме звезды, красовался Георгиевский крест.

На лице у него застыла притворная печаль.

Он вошел вместе с генерал-адъютантом — князем Волконским. Остановился посреди комнаты и тихим нежным голосом произнес:

— Дорогой Михаил Ларионович, питаю надежду, что вам лучше!

Приложил к глазам золотой лорнет и, обернувшись к Волконскому, распорядился:

— Обождите меня в дежурной.

Когда Волконский удалился, Александр, позванивая серебряными шпорами, подошел к постели и своей маленькой рукой пожал руку Кутузова.

Фельдмаршал метнул на Александра иронический взгляд:

— Государь, рад вас видеть.

— Я хотел, — дружески сказал Александр, — чтобы вы поняли мою искреннюю привязанность.

Кутузов промолчал. Александр, стараясь не смотреть в единственный глаз фельдмаршала, скороговоркой спросил:

— Что ты мне можешь сказать?

— То, что я умру, вы уже знаете...

— А что еще?

— Я бы просил, ваше величество, назначить моим преемником...

Александр перебил:

— Об этом еще рано думать.

Тогда фельдмаршал приподнялся на постели и приблизил свое лицо к лицу императора:

— Я еще хочу, государь, сказать вам одно: не забывайте о русском воине, — голос старика окреп, — и умерьте гатчинский дух, от коего солдат в пекло бежать готов.

— Замолчи, фельдмаршал, — прошептал Александр, — замолчи.. не твое это дело.

— Родине и престолу пятьдесят лет служил, а от вашего величества чистосердечия не видел, — твердо сказал фельдмаршал.

Александр зло ответил:

— Успокойтесь, Михаил Ларионович, успокойтесь.

Государь опустил глаза. Потом, комкая в руке бастиновый платок, отошел к двери. У двери задержался.

— Я и Россия не забудем ваших услуг!

Сохранилась старая литография, датированная тысяча восемьсот тринадцатым годом.

Эта литография впоследствии вошла во многие издания. На ней запечатлен момент смерти фельдмаршала. Посредине комнаты стоит походная кровать, на кровати, наполовину прикрытое, тело фельдмаршала. У постели священник, в руке его раскрытый требник, глаза обращены к небу. С другой стороны на коленях в глубокой горести адъютант. Кругом скорбное молчание. В красивых позах генералы и офицеры свиты и штаба. Все очень парадно, очень трогательно.

Под литографией напыщенная подпись с перечислением полного титула скончавшегося.

На самом деле все было совсем не так: гораздо проще, а главное, человечнее.

Пятнадцатого апреля, когда прозрачно белый лунный серпик висел над силезским городком, фельдмаршал взглянул в окно.

— Древние римляне, — сказал он, ни к кому не обращаясь (в комнате был только лекарь), — именовали луну солнцем мертвых. О, сколь это справедливо!

Фельдмаршалу припомнилось детство, отцовская усадьба и старая ключница, которая пестовала маленького Мишеньку.

Он улыбнулся и сказал, едва шевеля губами: «Месяц, месяц, мой дружок, покажи-ка свой рожок». — И внятно, как бы обрывая серебряную нить воспоминаний, закончил: — Завтра я умру!

И он действительно умер шестнадцатого апреля.

Русские полки шли по силезским дорогам, и на старых шелковых знаменах победно летел на запад русский орел.

Русские полки шли на запад, а старого фельдмаршала везли на восток, в Россию.

Тогда не было телеграфа, но весть о том, что фельдмаршал совершает последнее путешествие, распространилась повсюду.

Из сел и деревень на тракт спешили крестьяне. Они благоговейно становились на колени, а затем бежали к колеснице и шли по бокам ее почетным эскортом.

Вблизи Петербурга люди выпрягли коней и сами повезли колесницу.

Так фельдмаршал Кутузов въехал в Петербург.

РИМСКИЕ НОВЕЛЛЫ

ЦЕЗАРЬ И ПЕТРОНИЙ

Они стояли на галерее императорского дворца на Палатине и смотрели на вечерний Рим — сердце великой империи.

Император повернул свое обрюзгшее лицо к Петронию, положил жирную волосатую руку с короткими пальцами, на которых сверкали драгоценные камни, на его плечо и сказал:

— Феб на своей колеснице отправляется домой.

— Может, божественный цезарь устал? — Петроний хотел склониться в поклоне, но Нерон удержал его.

— Нет, благородный Петроний, твое присутствие меня успокаивает, останься. В такой вечер, когда мой дух страдает, только ты мне приятен. — Карие плотоядные глаза из-под полуопущенных ресниц следили за каждым движением мускулов на лице Петрония.

Петроний улыбнулся краешками губ. По лицу его трудно было судить, выражает ли оно почтение или иронию.

— Мои последние стихи, воспевающие бег коней, по моему, слабее песни, посвященной состязанию певцов, — сказал Нерон.

Патриций, облокотившись на мраморные перила, ответил спокойно и насмешливо:

— Да простит мне божественный: и стих о беге коней, и песнь о состязании я считаю слабыми.

Лицо Нерона покрылось красными пятнами. Этот наглый патриций, возмнивший себя первым писателем империи, кажется, позволяет себе слишком много.

В Греции, где он, Нерон, пел эти стихи, аккомпанируя себе на кифаре, ему преподнесли золотой лавровый венок как великому поэту. Греки же понимают в искусстве не меньше Петрония!

— Почему мои скромные стихи не понравились моему высокопоставленному другу? — в хриплом голосе императора звучал гнев.

Петроний, не обращая внимания на Нерона, вынул из рукава туники смарагд, приставил его к левому глазу и сказал:

— Какой зловещий и вместе с тем прекрасный закат! Жаль, что мы не обладаем гением Пиндара...

— Ответишь ли ты мне, наконец, Петроний? — почти прокричал взбешенный император.

— Я вижу гнев божественного цезаря. Гнев делает человека несправедливым и не способствует беспристрастию. Я хочу знать, кто со мною сейчас говорит: император или мой друг-поэт, потомок великого Гая Юлия? — Он опять вскинул к левому глазу смарагд и на этот раз посмотрел в лицо Нерона.

Сжатые в кулак руки цезаря стали потными. Он разжал их и вытер о края богатой туники.

— О мой Петроний! Ты знаешь, как я дорожу твоим мнением. Но ты уязвил самолюбие поэта, и хорошо, что поблизости нет людей, — многозначительно произнес Нерон. — Сейчас я обиженный твоим пренебрежением певец.

— Если так, — сказал Петроний, — то я должен прямо провозгласить — твои стихи, божественный, страдают отсутствием чувства, в них (я говорю о беге коней) сбит гекзаметр, особенно в двух последних строфах. Когда ты исполняешь их сам, то вытягиваешь недостающий слог и этим заставляешь слушателей не замечать ритмических недостатков... К тому же, скажу по секрету, в стихах твоих есть скучные метафоры, а скука, как тебе известно, божественный, убивает.

— Молчи, молчи, я сам это знаю. О! От твоего чуткого уха ничего не скроется. Значит, я плохой поэт, мой Петроний? Значит, золотые лавры не мне, а моему сану?

— Нет, божественный, — тихо засмеялся Петроний, — ты поэт, ты настоящий поэт. Ты, пожалуй, самый крупный певец нашего времени. Твои гимны отцу Зевсу и матери Юноне превосходны. Ими ты воздвиг себе памят-

ник, и старик Гомер охотно назвал бы тебя своим внуком. Вот почему мне и обидно, что твои последние песни хуже. Когда ты сам, подобный Аполлону с золотой кифарой, исполняешь их своим звучным голосом, люди, плененные полубогом, подносят тебе венки. Но когда их читаешь начерченными на пергаменте в тиши своего кабинета, то...

— Знаю, знаю, — воскликнул Нерон, и на лице его проступила самодовольная улыбка. — О мой беспристрастный судья и лучший из лучших друзей, разреши прижать тебя к своему сердцу, которое всегда будет благосклонно к Петронию. — На глазах его выступили слезы благодарности. Он прижал голову патриция к своей жирной груди и поцеловал в лоб. — Я в эти три дня займусь исправлением песен, и когда ты, Петроний, соблаговолишь явиться к певцу Нерону, он примет тебя. Еще раз благодарю. Чем вознаградить тебя за твою дружбу?

— Дружба великого поэта уже сама по себе достойная награда, — ответил Петроний и опять засмеялся.

* * *

Несомый четырьмя скороходами нубийцами Петроний, мерно покачиваясь, полулежал на носилках. Впереди бежал раб с факелом, выкрикивая: «Дорогу благородному патрицию Петронию!»

Размышляя о своем свидании с цезарем Петроний облегченно вздохнул: «Три дня не видеть эту противную рыжую свинью и его стихотворную блевотину — вот в чем истинная награда для меня».

* * *

Петроний во всем ценил красоту. Его библиотека, атриум*, триклиний** были заполнены лучшими произведениями искусства.

Больше всего Петроний ценил свою библиотеку. Ее украшали мраморные бюсты Гомера, Платона, Эпикура, Лукреция. Здесь Петроний работал над своим «Сатириконом», здесь он принимал самых близких друзей.

* Приемная.

** Столовая.

Нерон трижды посетил Петрония в его библиотеке и обещал прислать ему свой мраморный бюст, если, как прибавил император, благородный Петроний найдет возможным поставить бюст поэта Нерона в этом храме бога Аполлона. Петроний учтиво поблагодарил цезаря за такое внимание, не испытывая, однако, желания видеть Нерона рядом с Гомером и Эпикуром.

Утро следующего дня после посещения Палатина Петроний отдал литературным занятиям. Он записывал виденную им на днях сцену танца двух девушек.

Это было на пиру у Лукулла... Когда обожравшиеся редкими кушаньями и опившиеся хиосским и фалернским винами гости сонно возлежали на подушках, в триклиний вошли рабы. Они принесли деревянный помост, на котором сверкали закрепленные остриями кверху мечи. Одеты в легкие туники девушки-рабыни — одна золотоволосая, очевидно смешанной египетско-греческой крови, а другая с белой кожей, похожая на иудейку, — быстро вскочили на помост и начали исполнять танец среди мечей. Их распущенные волосы мерно развевались в такт движениям...

Танец должен был продолжаться до тех пор, пока одна из юных рабынь не падала на мечи, выбившись из сил. Ее уделом была мучительная смерть, а победительница получала в награду освобождение от рабства.

Лукулл сделал знак рукой рабам, и те еще быстрее стали ударять в тимпаны, заставляя танцовщиц ускорить темп пляски. Перед опьяневшими взорами гостей мелькали девичьи руки и ноги, умело избегавшие смертоносных мечей.

Страсти разгорались.

— Я ставлю на золотоволосую пятьсот сестерциев.

— А я на черноокую тысячу.

Ставки удваивались по мере танца. Пьяным сладострастием дышал воздух.

Петроний сейчас с отвращением вспоминает эти красные лица, раскрытые рты и глаза, устремленные на девушек.

— Быстрее, — приказывает хозяин.

Все волнуются. Еще минута-другая, и судьба одной из девушек будет решена.

Золотоволосая вдруг взмахивает руками, силы оставляют ее, и танцовщица левым боком падает на острия

мечей, вонзающихся в тело. Раздается короткий крик, полный ужаса и боли...

Черноволосая спрыгивает с помоста, который с умирающей танцовщицей рабы уносят из триклиниума. Пролитая кровь остается на мозаике пола. Счастливице щедрые гости бросают в фригийский колпачок золотые монеты, кольца, украшения...

Петроний встает и начинает ходить по библиотеке. Нелегко быть писателем, оставляющим для потомства такие записи нравов. Даже теперь здесь, в тишине и прохладе библиотечного зала, он чувствует дрожь омерзения, пробегающую по всему телу.

Мудро смотрит мраморный Платон. Улыбается Лукреций. Они жили в более счастливые времена! Грек Платон был свидетелем расцвета великой культуры эллинов, и с ним говорил богоподобный Сократ, а римлянин Лукреций жил во времена Суллы и Спартака и был участником пышных празднеств в честь триумvirата Цезаря, Помпея и Красса!

Платон и Лукреций были последователями противоположных учений. Петронию ближе Лукреций, и сейчас, чтобы отвлечься, он достает свиток его сочинения «О природе вещей» и медленно, с наслаждением скандирует:

Судостроенье, полей обработка, дороги и стены,
Платье, оружие, права, а также и все остальные
Жизни удобства и все, что способно доставить усладу:
Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй —
Все это людям нужда указала и разум пытливый
Этому их научил в движеньи вперед постепенном.
Так изобретенья все понемногу наружу выводит
Время, а разум людской доводит до полного блеска.

Читая строки любимого поэта, Петроний успокаивается.

* * *

Нерону не удавались две новые песни.

Потный, в распушенной тунике, он напрасно вздымал к небу свои руки, покрытые рыжими волосами, воображая себя Пиндаром, Аполлон смеялся над его потугами.

Вольноотпущенник Павел, доложивший цезарю о приходе посла из Галлии Цезальпийской, получил пиннок. А Нерон, взяв кифару, запел охрипшим голосом

свои старые гимны, пытаюсь настроиться на новые. Но безуспешно. Он представил лицо Петрония с его насмешливой улыбкой.

— Я ненавижу этого человека, — закричал цезарь и бросил кифару на мраморный пол. — Я не хочу больше терпеть его холодных насмешек. Он должен умереть!

Что Нерону распростертая у его ног империя, когда не удаются стихи?! Что для него волнения в Галлии Цезальпийской или Иудее, когда Петроний завтра презрительно скажет: «О божественный, твои стихи меня не удовлетворяют».

Нерон хлопнул в ладоши. Вбежал Павел.

— Позови немедленно Ганимеда и принеси вино и два кубка.

Вольноотпущенник Ганимед, красивый стройный юноша с острова Лесбоса, был поэтом и переписчиком Нерона. Когда у Нерона не клеились стихи, он помогал ему, находя нужные слова и сравнения.

Юноша вошел и распростерся ниц перед повелителем.

— Ганимед, послушай, что я тебе спою, и продолжи начатое, — приказал Нерон. — Я устал, жара гнетет меня, и мне трудно сосредоточить мысль на поэзии.

— О господин, мои недостойные уши ловят твое бесподобное пение.

— Встань и слушай.

Нерон поднял кифару, провел по струнам и запел:

О я скиталец земли безотрадной унылой,
Имя Нерон мне и песня мне сладостный дар...

Глаза цезаря, поднятые кверху, загорелись вдохновением, поэзия снизошла на него неожиданно.

Но для чего вы, о боги, сокрыли певницу,
Ту, на которой Эрот златокрылый играл?..

— О! — всплеснул руками Ганимед. — О боги, кто равен великому Нерону! Сам Феб говорит устами цезаря.

Нерон как бы очнулся, посмотрел на юношу, затем подошел к нему и передал ему кифару.

— Думай дальше...

Ганимед запел. Но Нерону не понравились предлагаемые ему строфы. Он капризничал, площадно ругался. И наконец прогнал Ганимеда.

Ночью, проснувшись, при свете луны Нерон босиком, взяв кифару под мышку, вышел на галерею. Сияли звезды, воздух был прозрачен, свет луны спокойно лился на город. Он был прекрасен, его город, но Нерон не хотел этого видеть. Как лунатик, император вытягивал шею вверх к звездам, но они только смеялись над ним.

О умоляю вас, сжальтесь,
вечные звезды, Селены сребристой друзья...

Внизу послышалось бряцание оружия. Гвардейский караул совершал обход вокруг дворца.

Цезарь прошептал:

— Петроний должен умереть.

* * *

Нерон решил дать ход делу Петрония. Фискалы уже давно подбирали доказательства измены Петрония императору. Они не брезговали подкупом лжесвидетелей и подложными документами.

Когда цезарю доложили о прибытии патриция, он принял Петрония, как всегда, с распростертыми объятиями.

— Дорогой мой, — любезно спросил Нерон, — почему у тебя такой усталый вид? Или ты недоволен, что видишь своего друга? О, я замечаю, что за последние месяцы ты охладел ко мне. Не оправдывайся, высокорожденный, но это так, — его глазки злобно сверкнули.

Лицо Петрония было равнодушно-почтительно. Он рассматривал цезаря, как наскучившее ему насекомое.

— Мне говорят, — продолжал Нерон, возвышая свой крикливый голос, — но я не верю, что ты замышляешь недоброе против меня, что смеешься над моим саном и над моими талантами, что ты двуличен, как янус, и меняешь свою окраску, как хамелеон. Я не даю веры доносам, я не желаю лишиться своего Петрония. Кто же будет тогда говорить правду мне о моих песнях?

Нерон в нетерпении желал увидеть испуг на лице Петрония, но тот по-прежнему стоял с застывшей улыбкой. Его умные насмешливые глаза смотрели прямо на кривлявшегося императора. Нерон чувствовал нравственное превосходство Петрония и еще более злился.

— Да, я не хочу твоей смерти. Даже если бы Петроний действительно умышлял против цезаря, Нерон

не смог бы вынести ему приговор. Сердце Нерона разорвалось бы от горя... Клянусь Геркулесом, я не желаю этого, мой Петроний.

— Божественный цезарь, — проговорил наконец Петроний, — жизнь не такая уж соблазнительная вещь, чтобы цепляться за нее, особенно тогда, когда имеешь несчастье жить в нынешнем Риме. Времена Помпея и Цезаря кажутся мне легендарными, и я мечтаю на берегах Стикса встретиться с этими героями. Мой ум отупел от частого разговора с тобою, о рыжебородый толстяк, извлекающий из своей охрипшей глотки бездарные стихи. Глядя на тебя, я вспоминаю басню Эзопа о лягушке. Не раздувайся хромыми стихами, о мешок навоза, — все равно не сравняешься с Пиндаром! Для того чтобы быть большим поэтом, надо быть большим человеком. И навозный жук блестит на солнце, но пища его все же не мед роз, а нечистоты! Как я счастлив, что наконец-то могу высказать тебе свое искреннее мнение о твоих талантах!

Нерон, пригвожденный к месту словами Петрония, выкатив глаза и раскрыв рот, как бы лишился языка.

— Закрой свою пасть, о божественный, — сказал Петроний и улыбнулся, — и знай, что я тебе раньше этого не говорил только потому, что тогда еще не закончил «Сатирикон», не насладился полностью любовью и не приелся яствами. Меня всегда угнетала необходимость слушать твой хриплый лай, но я не хотел раньше времени идти дорогой благородного Сенеки, твоего учителя, погубленного тобой. О бездарный матереубийца! Сегодня я могу доставить себе удовольствие не слушать твоих стихов! И здесь я перехитрил тебя: ты думал пленить меня своими недоносками, которыми разрешился, а я тебя надул. Я умру счастливый уже тем, что больше никогда не увижу тебя.

Петроний пренебрежительно поклонился Нерону, повернулся и пошел к выходу.

Цезарь побежал за ним, схватил Петрония за край тунники.

— Ты сам себя приговорил, сам! — На глазах у Нерона блеснули слезы. — О как ты отплатил мне, неверный друг! Я осыпал тебя милостями, а ты... О Петроний! Ты осудил себя на смерть, и цезарь должен выполнить свой долг. — Он взмахнул руками. Золотые браслеты зазвенели на толстых запястьях. — Но Не-

рон, твой бывший друг, не хочет твоей смерти! Он тебя прощает, иди с миром! Когда-нибудь ты поймешь, что был неправ, и снова вернешь свое расположение оскорбленному тобой певцу. — С этими словами Нерон приложил руку к глазам, как бы не желая, чтобы Петроний видел его отчаяние.

И тут случилось неожиданное: Петроний обернулся к цезарю и снисходительно, как клиента, похлопал его по животу. Затем, смеясь, вышел из зала.

* * *

Нерон был взбешен. Все прислужники, испуганные гневом императора, старались не попадаться на глаза своего владыки. Цезарь отвесил две полновесные оплеухи любимому рабу, фракийцу Нарциссу, разбил дорогую этрусскую вазу и немного успокоился, только когда к нему пришел начальник преторианской гвардии Тигеллин. Этот грубый солдат, жестокий и корыстный, потакающий изменным страстям Нерона, ненавидел писателя Петрония.

Когда цезарь рассказал своему фавориту об оскорблении, нанесенном Петронием, Тигеллин задрожал от радости.

— О великий цезарь, прикажи своему рабу, и Петроний завтра станет прахом.

Нерон для вида слабо возражал.

— У меня слишком мягкое сердце. Ты это знаешь. Я не переживу суда над бывшим другом и его позорной смерти! Но и оставить его в живых нельзя. Пусть сегодня вечером он сам покончит с собой. — Цезарь вздохнул. — Петроний мне признался, что ему надоело жить и что от жизни он взял все. Я окажу ему этим последнюю услугу.

Нерон махнул рукой, давая знак Тигеллину удалиться. Ему хотелось создать новые стихи, свой венок на урну неверного друга, разбившего сердце поэта...

А в это время слуги Петрония украшали гирляндами свежих роз триклиний. Повара на кухне нанизывали на вертела жирных куропаток, фазанов и молодых ягнят. Виночерпий приготавливал серебряные и золотые чаши и пробовал вина. Вольноотпущенник Иоан, сопровождаемый двумя рабами, разносил друзьям Петрония приглашения на вечерний пир.

Большое яркое солнце стояло над Римом, и в его

лучах город казался ослепительно белым. Общественные здания, храмы богам и памятники горделиво возносились к голубому чистому небу. И казалось, величие Рима не будет конца...

ЛИК ВЕНЕРЫ

Фортунат знал, что Хронос скоро призовет его к Стиксу, в лодку Харона. Ему было шестьдесят восемь лет, и поэтому он с особым трепетом и благоговением встречал каждую новую весну. Когда-то знаменитый оратор и философ, он теперь с отвращением смотрел из своего уединенного дома на то, что творилось в Риме. Любитель диспутов, где можно блеснуть отточенной фразой и знанием накопленной мудрости, Фортунат не мог и не хотел диспутировать с нынешними хозяевами школ — христианами. Их нетерпимость в спорах, отсутствие эрудиции, многословие и плохое знание языков возмущали его.

Жил Фортунат недалеко от Аппиевой дороги. Путешествующие в Рим видели за рощею оливок увитую плющом скромную виллу Фортуната. Два старых платана, как верные часовые, охраняли вход в жилище. Каменная ограда окружала сад. В саду розы, магнолии, лавры. Посредине небольшого мраморного бассейна на пьедестале изваяние Венеры. Эту скульптуру подарил Фортунату друг, ваятель Алипий, незадолго до своей трагической смерти (его убили фанатики в мастерской, когда он работал над статуей Аполлона). Ученик Алипия Геласий, приютившийся у Фортуната, рассказывал, как трудно было разжать руку мертвеца, крепко державшую резец.

В атриуме дома Фортунат бережно хранил две подлинные статуи Клеомена — Аполлона и Дианы. Он их приобрел во время своего путешествия в Элладу. Ему пришлось продать половину наследственного виноградника, чтобы оплатить эти сокровища.

В библиотеке ученого было много старинных рукописей, среди них очень редкие. Жил Фортунат вместе со своей племянницей Валерией и молодым скульптором Геласием. Кроме них в доме было трое слуг: старик Сильван, его жена Аглая и дочь Архелая. Слуги были уже давно отпущены на свободу Фортунатом, но привязанность к хозяину имели безграничную.

В ту лунную ночь Фортунат сидел в своем садике. Черное небо с золотыми звездами опрокинулось над ним. Фортунат смотрел на звезды и узнавал старых друзей. Большая Медведица мерцала зеленоватыми огоньками. Марс казался более красным и зловещим, чем прошлой весной. Когда краснеет Марс, это предвещает войну — так говорил древний оракул.

Печальные крики и шелест невидимых крыл раздалась над Фортунатом. Фортунат поднял голову выше, стараясь увидеть диких гусей, летящих на север. В саду пахло магнолиями. Их запах будил в Фортунате сожаление о прожитой жизни.

Медленно прошелся он около бассейна. В мягком свете луны статуя Венеры была едва различима.

— О богиня, — сказал Фортунат. — Какое утешение сознавать, что красота бессмертна. И ночь, теплая и тихая, и небо, высокое и бесконечное, и разлитые в воздухе ароматы цветов, и шелест листьев — все это бессмертно, ибо это красота. Бессмертное не может исчезнуть.

В беседке, стоявшей в глубине сада, кто-то разговаривал. Старый ритор приблизился к ней.

— Любимая, — узнал он голос Геласия, — почему ты так изменилась? Почему мы не слышим твоего смеха, а пурпур твоих щек побледнел? Ты так часто заходила в мою мастерскую и давала мне великое счастье создавать из мрамора Диану. Вот уже три долгих дня я не слышу шуршания твоей туники в мастерской. Мой резец, тот резец, который мне дал великий скульптор Алипий, лежит у подножия незаконченной статуи. О, скажи мне, наконец, чем я прогневал тебя, любимая?

Фортунат остановился, и ему показалось, что он слышит дыхание ночи.

— Я не могу, — девичий голос звучал тоскливо, — я не могу, о мой Геласий, служить прообразом богини. Если я пришла сюда, то только для того, чтобы сказать тебе последнее прощай. Не называй меня больше возлюбленной и не говори о своей любви. Я уйду из дома моего дяди в Рим, чтобы просветиться истинным светом, я хочу быть рабой Агнца и вкушать иные радости духовной жизни. Я могу тебя любить лишь как своего заблудшего брата и молиться свету истины и нашему божественному искупителю.

Раздался хриплый смех Геласия — в этом смехе были тоска и боль.

— Они отняли у меня учителя, а теперь отнимают и тебя, о Валерия! Ты изменяешь бессмертным богам Олимпа, ты, девственная и нежная, жестоко разбиваешь сердце благородного Фортуната, заменяющего тебе отца, и ты глумишься над моей любовью! О, как я мечтал услышать через месяц перед алтарем богини твои слова: «Где ты, мой Кай, там и я, твоя Кайя».

— Не говори больше ни слова, — как будто лопнула в воздухе струна арфы — так был мелодичен и скробен ее голос, — не говори больше о любви, Геласий.

— И больше ты ничего не скажешь?

— Ничего.

— Да спасут тебя великие боги!

— Ваши боги — это камни, вы их сотворили по образу и подобию своему.

— А разве это плохо — быть подобным богам?

И тишина...

Фортунат слышит дыхание ночи, ему делается холодно, старое сердце тоскует. Валерия, которую он считает своей дочерью, стала христианкой. Тлетворный дух Рима отравил воздух и его сельского уединения!

Шаги... Из беседки выходит скульптор. Его останавливает голос Валерии:

— Я хотела тебе сказать еще одно: перед тем как прийти сюда, я была в твоей мастерской и молотком разбила незаконченную статую Дианы. Прости, Геласий, но так надо. Так мне приказывает моя вера.

Тишину ночи пререзал крик юноши:

— О боги! И земля не расступилась перед ней? О фанатики, как я ненавижу вас!

И Фортунат, как эхо, тихо повторил:

— О, фанатики, как я ненавижу вас!

* * *

Всю ночь старый ритор не мог заснуть. Утром он вызвал к себе своего верного управляющего Сильвана.

— Когда проснется благородная Валерия, пригласи ее ко мне, сам доведи ее до библиотеки.

Сильван поклонился. Его бритое лицо с добрыми морщинками вокруг припухших век было озабочено. Тогда Фортунат спросил его:

— Ты, кажется, друг, взволнован? Скажи мне, отчего?

Сильван тяжело вздохнул.

— Да продлят боги жизнь господина, да будут мирны твои пенаты! В нашем доме творится неладное. Эти христиане, взявшие власть над императором и Римом, проникли и в твой, и в мой дом. И может быть, в этом повинен я. Я молчал, не желая нарушать твоего покоя. Я имею в виду благородную Валерию и своих женщин. К моей жене ходил ее дальний родственник Прохор. Я не знал, что он жрец христиан, не знал, что он носит у них звание диакона.

— Это тот горбун с черной бородой, который кажется таким изможденным, как будто у него тяжелая грудная болезнь?

— О да, господин, это тот самый. Он, как змея, принес на своем языке яд. Жена и дочь вскоре стали уходить в Рим, иногда с ними уходила и благородная Валерия. Затем, хозяин... — голос старика упал до шепота. — Лучше бы молния Юпитера поразила меня!

Фортунат почувствовал дрожь в ногах. Яркое солнце, которое проникало в библиотеку, показалось ему зловещим. Большая зеленая муха назойливо зажуужала в притаившейся тишине. Крылышки у мухи были разноцветны, и Фортунат подумал, что они похожи на радугу.

— Говори, все говори, Сильван, — прошептал он, — только сначала прогони муху, она мешает мне сосредоточиться.

Сильван недоуменно посмотрел на ратора.

— Муху? — переспросил он.

— Ну да, — нетерпеливо сказал Фортунат, — вот эту, зеленую.

Сильван стал махать руками, и муха улетела в раскрытое окно.

Тогда Сильван подошел ближе к своему хозяину.

— Несколько дней тому назад, вечером, жена и дочь объявили мне, что они приняли христианство. Жена со слезами уговаривала меня тоже креститься — это называется у них «смыть грехи в чистой воде искупления». Я закричал на них, но они спокойно заявили, что закон империи охраняет христианскую веру. Они сказали, что в доме, где хозяин язычник и служитель идолов (да простит мне добрый господин, так

они называют изваяния бессмертных богов), они не могут жить. А когда я узнал, что и благородная Валерия вместе с ними приняла христианство, я разорвал на себе тунику и призвал на голову несчастного Прохора справедливый гнев Горгон. Жена была моей спутницей в течение долгих тридцати лет. Глупый, я думал, что знаю все ее мысли и поступки и что мы вместе пойдем к Стиксу. Как же так, хозяин, — вскрикнул он, — как же так: прожив со мной тридцать лет, уйти с дочкой, взяв с собой лишь одну плетеную корзинку с носильными вещами?! Когда я спросил ее: «А если бы ты была несвободна, ты бы посмела уйти?» — она ответила: «Нет, я бы осталась у хозяина, ибо наша религия учит, чтобы рабы повиновались своим господам». Она обещала молиться своему новому богу за вас и за меня. О, зачем я дожид до этого часа! О благородный ритор, убей меня, ибо жизнь моя окончена!

И тогда Фортунат сказал:

— Нет, я не хочу видеть племянницу, я не хочу с нею говорить. Запри дверь ее комнаты на засов и скажи, что я велел ей ждать моего решения. Пойди к нашим виноградарям и отбери из них двух сильных молодых, и пусть они станут на страже у ее окна.

Он сделал вид, что углубился в чтение свитка, и отпустил Сильвана.

* * *

На собрание верующих Валерия не пришла, хотя Аглая сказала, что девушка обещала прийти вслед за ними. Прохор послал узнать о причине опоздания Валерии ловкого мальчугана, сына одной пожилой христианки.

Посыльный вернулся через два часа и сообщил, что благородная Валерия находится под караулом по приказу ее дяди. Мальчуган перелез через ограду и сам видел стражу, разгуливающую под окнами патрицианки.

Среди верующих поднялся ропот.

— Слишком много позволяет себе безбожный Фортунат! Он хочет воскресить времена Диоклетиана.

— Он считает себя в своем мерзком капище недоступным для гнева всевышнего!

Прохор поднял руку, и в его черных глазах за сверкало безумие.

— О боже, ты видишь, на что способны служители Ваала! Пойдемте, братья, и освободим невесту Христа! Разрушим капище Фортуната и повергнем в прах его идолов.

* * *

Был полдень, когда большая толпа, предводительствуемая Прохором, подошла к жилищу Фортуната.

Она состояла не только из христиан, к ней присоединились и охотники до легкой наживы, и любители сильных ощущений, и те подонки Рима с грубыми лицами и палками в руках, для которых разрушение составляет цель жизни. Среди наэлектризованной выкриками Прохора толпы было немало женщин с горящими глазами и распущенными волосами. Среди них были и Аглая и Архелая. Они, как и все, кричали:

— О милосердный Иисус, спаси узницу, о милосердный Иисус, покарай грешников!

Стояла невыносимая жара, и нескольким женщинам сделалось дурно. Это еще больше возбудило толпу.

Под ударами камней и под напором тел ворота виллы распахнулись, и толпа ворвалась в сад Фортуната. Двое молодцов, охранявших Валерию, испугались и, перемахнув через ограду, скрылись в виноградниках.

— О мой добрый хозяин! — вскричал Сильван, вбегая в библиотеку, где задумчиво сидел Фортунат. — Они пришли! Уходи через парадный ход в виноградники и скройся там в пещере, я постараюсь задержать этих безумцев. Я выведу к ним Валерию, и это может умилосердит их. Беги, хозяин!

— О нет, — спокойно ответил Фортунат, — я римский всадник, и не пристало мне бегать, как зайцу. И как ты мог подумать, Сильван, что твой хозяин покинет родные пенаты? Парки уже кончают прясть нити моей жизни. Не мне, почитателю бессмертной красоты, бояться смерти. — Он выпрямил свой сгорбленный стан и, высоко подняв голову, пошел из библиотеки на террасу, и шаги его были властны и спокойны. За ним следовал Сильван.

— Открой дверь комнаты Валерии и приведи ее ко мне, — приказал Фортунат Сильвану.

Когда ритор шел к террасе, его догнал скульптор. В руке Геласий держал меч, и черные кудри его слились на лбу.

— Постой, благородный Фортунат, выйдем вместе. Только через мой труп они пройдут к тебе!

Фортунат тихо засмеялся.

— Мальчик! Храбрый, но безрассудный ребенок! Неужели ты думаешь этой смертоносной игрушкой остановать толпу? Ты видел ли когда-нибудь, как вода прорывает плотину? И какая сила может загородить ее бег? Брось меч.

Юноша горячо возразил:

— О нет, благородный Фортунат, прежде чем я умру, я отправлю в царство ада десяток этих негодяев, отнявших у меня учителя и невесту. Я не хочу, как баран, быть зарезанным фанатиками. — Он опередил старого ритора и первым выбежал к толпе.

Диакон Прохор в запыленной тунике грозил посохом. Несколько человек влезли на террасу и потрясали палками.

— Что вам надо? — спросил юноша.

— Что вам надо? — повторил и Фортунат, обращая свой взор на Прохора.

— Отдай нам девушку, воспринявшую свет истинной веры, — крикнул Прохор.

И тут на террасе показались Валерия и Сильван, Лицо у Валерии было бледно, побледнели даже губы, и лишь одни глаза сияли лихорадочным блеском.

В толпе закричали:

— Вот она, чистая голубица, вот она!

Валерию подхватили на руки, и она исчезла в толпе.

Поводов к возмущению больше не существовало, но те, кто пришел, не хотели уходить, да и Прохору победа казалась неполной. Он указал рукой на статую Венеры. При ослепительном блеске солнца богиня, изваянная из паросского мрамора, была прекрасна. Она была сама красота и сама жизнь.

— Надо уничтожить эту нечестивицу, — громко проговорил Прохор. — Ее вид оскорбляет взор истинного христианина.

Кто-то из толпы крикнул:

— Эй, старый безбожник, бери вот эту палку и разбей блудницу!

Предложение понравилось толпе:

— Так угодно всевышнему!

Грубые руки схватили Фортуната и потащили к фонтану. Он упирался и твердил одно лишь слово:

— Никогда, никогда, никогда...

Сильван и Геласий бросились ему на помощь. Решительный вид юноши и его меч произвели в толпе замешательство. Ритора отпустили.

— Мы его знаем, — раздался голоса в толпе, — это скульптор, он создает идолов.

— У него в мастерской, — Сильван узнал голос своей дочери Архелаи, — много нечестивых статуй.

— А у господина, — выкрикнула в исступлении Аглая, — в атриуме сберегаются еще два идола.

— О будьте прокляты и ты, жена, и ты, дочь, — простонал Сильван, — да поглотит вас Тартар!

Но ему не дали договорить. Заросший рыжими волосами бродяга ударил Сильвана по голове камнем. Брызнула кровь, и старик упал на песок. Сверкнул меч Геласия.

Убийца, хрипя, повалился рядом с трупом Сильвана.

Дальше ничего нельзя было разобрать в окружившей Геласия массе людей. Слышались только возгласы, удары, нечленораздельные выкрики.

Из дома и мастерской доносились звуки разбиваемых статуй. Начался погром.

— Так покарает всевышний всех нечестивых агарян! — кричал Прохор, стоя на террасе и размахивая посохом. — Гибель неверных да будет искупительной жертвой!

И старики, и молодые женщины, как одержимые, носились по саду, по атриуму, топтали осколки мрамора, разрывали зубами свитки рукописей.

О старом риторе забыли. Он стоял у фонтана и безучастно смотрел, как упала в воду бассейна разбитая Венера.

— А ты еще стоишь! — набросился кто-то на Фортуната и ударом по голове свалил его с ног.

Зеленая муха, сверкая на солнце крылышками, опустилась на залитое кровью лицо философа.

И снова была ночь. Темная, как бархатная завеса.

Дрожащим светом переливались звезды.

Сияла большая круглая луна.

Фортунат, застонав, медленно приподнял голову. Попытался встать на ноги, но не смог. Тогда он пополз к бассейну. На дне его Фортунат увидел освещенный светом луны божественный лик Венеры.

НОВЕЛЛЫ И ЭТЮДЫ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ



ПОЭТ И ЦАРЬ

Няня плакала. Из полуоткрытой двери дуло. Фельдъегерь простуженно кашлял.

— Скорее, господин Пушкин.

— Да куда же ты его, моего кормильца, батюшка, увозишь?

Фельдъегерь грубо бросил:

— Не твое дело, старуха.

— Не плачь, мама! — Пушкин надевал дорожную шинель, и сердце его тревожно билось. — Не плачь, мама, куда царь ни пошлет, все хлеба даст. — В карман сунул пистолет.

Фельдъегерь быстро проговорил:

— Не дозволяется при оружии ехать.

У Пушкина сверкнули глаза.

— В предписании начальства ничего не говорится о запрещении иметь личное оружие, и без оногo я, милостивый государь, не уеду.

Фельдъегерь промолчал.

Во дворе звякал колокольчик. Надо ехать. В потайном кармане сюртука стихотворение «Пророк» («Восстань, пророк, и виждь и внемли...»).

— Дай я тебя, голубчик, благословлю!

И опять дрогнуло сердце. Как маленький, как в детстве, на одно мгновение прижался головой к груди Арины Родионовны. Целовал сморщенные ее руки, щеки, смотрел в любимые выцветшие глаза.

Она перекрестила и побежала за ним вслед.

— Береги себя, голубчик, меня, старуху, не забывай.

— Не забуду, вовек не забуду!

И дорога... Фельдъегерь сидит молчит, и он молчит, и лес молчит, и небо молчит, только колокольчик...

И пошли: станционные смотрители, ямщики, перекладные...

На другой день приехали в Псков, прямо к губернаторскому дому. Губернатор фон Адеркас встретил любезно, но к столу не пригласил. Пушкин был голоден, сердит.

— Приказано вас, Александр Сергеевич, — сказал губернатор, — доставить в Москву к дежурному генерал-адъютанту его величества.

— Как арестанта? — деловито спросил поэт.

— Ну что вы! — На сухом лице губернатора с висячими бакенбардами улыбка. — Совсем нет. С соблюдением к вам как к дворянину полного уважения. А с фельдъегерем — чтобы в пути никаких задержек не было.

На стене станционного дома написал на память: «Господин фон Адеркас, худо кормите вы нас, ты такой же ресторатор, как великий губернатор». И засмеялся, сразу от сердца отлегло.

И снова дорога. Фельдъегерь торопился. Не жалел ни ямщиков, ни кулаков, ни ругани.

Через три дня после выезда из Михайловского кибитка Пушкина въехала в Москву. Вот и Чудов монастырь, а рядом с ним Малый Николаевский дворец.

Запыленный, уставший с дороги поэт был введен в комнату дежурного генерала.

— Ага, мсье Пушкин, — сказал полнеющий, гладко выбритый, с веселыми глазами дежурный генерал. — Прекрасно, пройдемте к его величеству.

— Но я, генерал, в таком виде, — заметил Пушкин.

— Ничего, ничего, его величество приказали немедленно по приезде представить вас ему.

— Ну что ж, если так, то извольте, я готов.

В потайном кармане сюртука лежит «Пророк». Вспомнил последние строки: «Иди и с вервием вокруг выи к убийце гнусному явись». Если Николай посмеет его оскорбить, он, ссыльный поэт, бросит ему в лицо эти строки, пусть и его, Пушкина, повесят на кронверке Петропавловской крепости, как тех мучеников.

Поэт идет вслед за генералом по лестнице в зал. Золото мундиров, бархат и шелк дамских туалетов, фраки и бриллиантовые звезды сановников.

Генерал и за ним Пушкин, и все смотрят на них. Многие знают поэта, но никто ему не кланяется. На него смотрят с недоумением, с осуждением, даже с брезгливостью. Еще бы: воротнички запылились, сюртук старый, лицо усталое, а глаза, — как он смеет так смотреть, — с таким вызовом?! О, он себе очень много позволяет, этот Пушкин. Ведь сейчас, может быть, государь прикажет жандармам отправить его на Соловки или в Шлиссельбург.

Около массивной двери, как истуканы, два кавалергарда. Генерал полуоткрывает дверь и почтительно спрашивает:

— Разрешите, ваше величество? Я привел господина Пушкина.

Отрывистый голос:

— Входи!

Кабинет, мягкий ковер, в камине трещат поленья, а у письменного стола в картинной позе Николай, самодержец всероссийский. Одной рукой царь оперся о край стола, левая нога в сверкающем ботфорте подрагивает серебряной шпорой. Красивое лицо благосклонно. Он, кажется, даже улыбается, — так думает Пушкин и смело смотрит в глаза Николая. Взоры их встречаются. Такие холодные и вместе с тем притягивающие глаза Пушкин видел у гадюки в Михайловской роще. Гадюка выползла на старый пенёк и грелась на солнце. Но это, может быть, показалось? Ведь царь действительно улыбается, он даже протягивает Пушкину руку, большую белую руку с розовыми ногтями... Эту руку он поднимал в морозный день четырнадцатого декабря, приказывая стрелять, этой рукой он подписывал приговор друзьям Пушкина... Нет, Пушкин не может поцеловать царскую руку. Он только слабо пожимает ее.

На лице Николая разочарование, но царь все же говорит ровным, спокойным голосом:

— Здравствуй, Пушкин.

— Здравствуйте, ваше величество, — отвечает поэт.

— Ты можешь выйти, — поворачивается Николай к генералу, и тот уходит.

Теперь они наедине: Потрескивают березовые поленья в камине. Из золотой рамы, грациозно склонив голову, улыбается Александр Первый, а за окном весь белый Успенский собор и серое предвечернее небо.

— Скажи, Пушкин, — раздается голос царя, — ты участвовал в заговоре?

— Нет, — отвечает он.

— И не состоял в тайном обществе?

И опять односложное «нет».

— А если бы ты был четырнадцатого декабря в столице, то принял бы участие в мятеже?

Поэт молчит. Он вспоминает своих друзей: смешного и пылкого Кюхельбекера, сурового Пестеля, вдохновенного Рылеева и отвечает:

— По совести говоря, ваше величество, принял бы.

Вот сейчас Николай возьмет серебряный колокольчик и позвонит, и все будет кончено.

Пушкин кладет руку на сердце, здесь «Пророк». Тогда он бросит в красивое солдатское лицо царя свои стихи...

Но вместо звонка тот же спокойный надменный голос:

— Довольно ты, Пушкин, подурачился в молодости, пора остепениться. Даешь ли ты мне — своему государю — слово русского дворянина, что больше никогда, ничего не будешь писать противное правительству и религии?

Пушкину становится холодно. Он подходит к камину и начинает греть руки. Греет и никак не может согреть. Он не оборачивается в сторону царя, но чувствует его взгляд на себе.

— Ну, Пушкин, я жду! — В голосе уже недовольные нотки.

У Пушкина щемит сердце. Ах, няня, няня, как хорошо сейчас в Михайловском... Но ведь его отправят не в Михайловское, а в Шлиссельбург или Петропавловскую крепость, и тогда прощай стихи!

Поэт быстро поворачивается в сторону Николая и говорит:

— Даю слово, ваше величество.

Николай доволен. Он благосклонно улыбается.

— Иного ответа от тебя не ожидал. — В глубине души Николай возмущается этим штатским человечком, который совсем не умеет держать себя в присутствии царя: поворачивается спиной, греется у камина... Недаром его так не любил покойный брат. Но Николай чувствует, что Пушкин — какая-то непонятная даже ему сила и что эту силу надо покорить.

Царь спрашивает.

— Ты много пишешь, Пушкин?

— Пишу-то много, да мало пропускает цензура. — Говоря это, Пушкин поднимает правую ногу и греет у камина.

Николай с возмущением смотрит на Пушкина.

— Так отчего же ты пишешь то, что не пропускает цензура?

— Цензура у нас дура, придирается ко всякой малости.

— Ну хорошо, я сам буду твоим цензором, — говорит Николай, желая окончательно покорить Пушкина. — Все, что ты напишешь — присылай ко мне, я буду твоим первым читателем и ценителем.

Пушкин не очень польщен такой милостью, однако он кивает головой.

— Благодарю, ваше величество.

— Поверь, Пушкин, — в голосе у Николая фальшивые сентиментальные нотки (Пушкин это чувствует, и ему неловко), — поверь, я люблю просвещение и желаю только одного — блага своему народу. Надеюсь, что мы не будем ссориться.

Царь берет Пушкина под руку.

«Простите меня, друзья...», — как бы молится поэт теням погибших и сосланных друзей. На глазах у него слезы, но их нельзя вытереть: царь крепко держит его за локоть, свободной рукой открывая двери в зал.

Вся раззолоченная светская челядь низко склоняется перед монархом и перед Пушкиным.

Николай отчетливым командным голосом произносит:

— Вот вам, господа, новый Пушкин, а о прошлом забудьте. — И уходит.

Поэт в окружении сановников, дам, генералов. Ему пожимают руки, обнимают, приглашают в гости. И куда бы ни бросил Пушкин свой взор, везде он встречает заискивающие улыбки и скрытую зависть.

И вот он снова на улице. Нанимает извозчика. Дежурный жандарм бережно ставит в экипаж его дорожные вещи. Поэт приказывает везти себя в гостиницу на Тверскую.

Думать о царском приеме не хочется. Перед ним Красная площадь, Лобное место, Василий Блаженный.

Да, вот она Русь, Родина, и эта площадь — свиде-

тельница многих событий. Тут стоял народ, его народ, его он воспевает в «Борисе Годунове». Через эти ворота проходил и Грозный, и Борис, и Лжедмитрий Первый, сюда вступали воины Минина и Пожарского.

Извозчик сворачивает к Тверской. Будочники зажигают уличные фонари. Начинает накрапывать дождик. Пушкин снимает шляпу и громко говорит:

— Здравствуй, Москва!

* * *

Москва торжественно короновала молодого императора Николая Павловича.

На Тверском бульваре висели гирлянды разноцветных плошек: синих, белых, голубых, красных.

На фронтонах дворянских особняков, казенных зданий, купеческих домов и даже на церквях разноцветные фонарики образовывали сверкающий вензель: «Н. П.»

В Москву устремилось множество народа: петербургские сенаторы, камергеры, статс-дамы, фрейлины, отставные полковники, дворяне из хлебосольных российских уездов и прочий люд.

Обер-полицмейстер с красным распаренным лицом носился кометой на своей щегольской пролетке, запряженной двумя чистокровными рысаками, по украшенным улицам первопрестольной.

Полицейские сбились с ног. Нередко можно было видеть, как частный пристав в треуголке обходил введенные его попечению кварталы и, если замечал какого-нибудь обывателя с нахмуренным лицом, то подзывал к себе указательным пальцем и спрашивал:

— Отчего же это, братец, у тебя лицо как у разморенного судака? Отчего ты, сукин сын, в сии высокопозорные дни коронации возлюбленного монарха скучную морду выставляешь?

— Да так, выше благородие, жена на сносях, торговлишка хромает, детишки от рук отбились.

— Я вот тебе в части мозги-то на путь истинный направлю — посидишь в холодной, так сразу поймешь.

— Да я, ваше благородие, и так понимаю, — восторженно говорил обыватель, — я за его императорское величество денно и ночью господу молитвы возношу.

— Ну ежели так, — решал пристав, — то ты должен выпить за здоровье его величества.

И тогда догадливый обыватель приглашал его благородие в пивную, где на последние монеты пил и за его величество, и за весь царствующий дом, и за господина пристава (чтобы ему ни дна, ни покрышки!).

— Вот теперь я вижу, — говорил охмелевший пристав, покровительственно хлопая обывателя по плечу, — что ты есть верноподданнейший и никакого отношения к петербургским возмутителям не имеешь.

Москва веселилась. Она сверкала огнями, золотом листьев, куполов и мундиров.

В один из теплых вечеров особенно много публики тянулось по направлению к Большому театру. Шли по одному, по двое и целыми семействами.

У Большого театра было тесно. Стояли плотной стеной и, утирая пот, терпеливо ждали, когда царская чета в сопровождении свиты соизволит приехать на спектакль.

Высокий пышнокудрый дьякон в фиолетовой люстриновой рясе довольно невежливо расталкивал толпу локтями.

Провинциальная чиновница в сиреневом платье, сюсюкая, умоляла квартального надзирателя пропустить ее вперед, дабы лицезреть царскую чету.

— Я вас прошу, — ворковала она, — я вас умоляю, господин офицер, примите во внимание, что я из самого Тамбова приехала!

И квартальный «принимал во внимание» и ставил даму на выгодное место.

Студенты в мундирах стояли особой группой и перешептывались. На них неодобрительно поглядывали жандармские чины и степенные купцы в длинных синих сюртуках.

В толпе сновали продавцы сбитня, московских пирожков с изюмом, саек на меду и игристого царского кваса. Какой-то парнишка влез на дерево и гордо взирал на снующих под его ногами людей.

И вдруг в толпе как дуновение ветра пронеслось:

— Едут, едут! — и все еще плотнее надвинулись на первые ряды.

Вдали показалась парадная коляска. Толстый бородастый кучер сдерживал бег белоснежных коней.

Император был в серебряной кавалергардской каске, сидел вытянувшись. Императрица держала мужа под руку, и, как следствие переживаний в морозный день

памятного четырнадцатого декабря, ее маленькая головка на длинной шее сотрясалась от нервного тика.

При виде ожидавшей его толпы Николай Павлович выдавил на своем лице холодную улыбку. В толпе раздались приветственные крики, обнажились головы, военные встали во фронт.

Эффектным жестом приложив руку в белой перчатке к каске, император, чеканя слова, отчетливо произнес:

— Москва всегда была любезной моему сердцу!

В ответ прозвучало нестройное «ура!».

— Он с таким же лицом посылал тех мучеников на казнь! — сказал один из студентов.

Подъезжали и другие высокопоставленные особы.

Чиновник с лицом скопца, захлебываясь от удовольствия, называл провинциальной даме и двум купцам имена и звания сановников.

— Вот этот-с, — с почтением пояснял чиновник, — генерал с андреевской лентой через плечо — граф Чернышов, военный министр.

— Палач, пославший в Сибирь своего брата! — снова раздался недовольный голос в толпе студентов. — Это ему бросил сорвавшийся с петли Муравьев-Апостол: «Снимите ваши аксельбанты и вешайте на них».

— Тише, господа! — предостерегающе произнес пожилой отставной моряк, стоящий недалеко от студентов. — А то и так на вас квартальные косятся!

— А вот это, — упоенно разглагольствовал чиновник, — генерал Бенкендорф, а с ним рядом князь Васильчиков, богатейший вельможа и просвещенный меценат.

— Насчет просвещенности, — загудел низким басом дьякон, — затрудняюсь сказать, а что касается девиц — растлитель отменный!

— Что вы, отец дьякон, — всплеснула руками провинциалка, — про такую особу и такие грубости.

Но вот вся толпа за исключением немногих лиц перестала обращать внимание на сановников. Послышались восторженные радостные крики. Студенты приподнимали треуголки. На их лицах появилось выражение идущего от сердца волнения:

Офицеры (среди них было много молодежи) приветственно, совсем не по-казенному, отдавали честь.

Толпа образовала коридор, и по этому коридору

прошел невысокий молодой человек в черном плаще, держа поношенный цилиндр в одной руке и палку с белым костяным набалдашником — в другой. Его смуглое лицо с мясистым носом и красными толстыми губами, обрамленное каштановыми баками, освещалось мягкой улыбкой. Вьющиеся волосы колебались от ветра.

— Пушкин! Наша гордость! Наша слава! — восклицали студенты.

— Александр Сергеевич! — пробрался через толпу какой-то молодой офицерик, преграждая путь поэту. — Александр Сергеевич, дозвоьте пожать вашу руку!

— С величайшим удовольствием! — сказал Пушкин и подал ему руку.

— Пушкину слава! Ура! — вновь раздались приветственные крики, и даже дьякон, поддавшись общему увлечению (как будто он стоял на амвоне), возгласил: «Многие лета!»

— Тише, господа! — сказал поэт, указывая глазами на квартальных. — А то мне недолго придется быть с вами.

— Не понимаю, — пожимал плечами чиновник, — сочинителю, да еще крамольному, такой почет. Ну, принял его государь во дворце, простер отеческую длань на непокорную голову, но к чему же устраивать такие камуфлеты? Не понимаю! И чего смотрит полиция!

— Знаменье времени, — сказал вольнодумный дьякон, — знаменье времени. Сей Пушкин хоть и в малых чинах обретается, но, по моему рассуждению, двадцати генералов стоит.

— Что ты, дьякон, что ты суесловишь! — возмущенно проговорил толстый купец с бородой веером.

А Пушкин, сопровождаемый, как почетной свитой, студентами и офицерами, шел к театру, и мягкая улыбка не сходила с его губ. Вот он взошел на ступеньки театра, приветственно махнул рукой и скрылся за массивными дверями.

Толпа расходилась.

Над фронтоном театра зажглись разноцветные плашки, образуявая напыщенный и хвастливый вензель: «Н. П.»

СУДЬБА «БОРИСА ГОДУНОВА»

В зале старинного особняка Веневитиновых к двенадцати часам собралась избранная московская молодежь. Хозяин-поэт заранее объявил собравшимся, что Пушкин будет читать свою новую драматическую комедию о царе Борисе Годунове и о Гришке Отрепьеве.

За окнами во всей своей красе стояла московская осень. Клены и березы на соседнем дворе осыпали землю красными, оранжевыми и золотистыми листьями. С холодного синего неба смотрело багровое солнце, и в легких белых облаках его лучи казались серебряными.

У круглого стола на диване сидели двое: немного томный, с красивыми печальными глазами на слишком бледном лице Веневитинов и напыщенный высокомерный молодой ученый Степан Петрович Шевырев. У камина приземистый историк Погодин оживленно говорил поручику Муравьеву:

— Не дождусь Пушкина, дрожу от волнения.

Белокурый поручик Муравьев, начинающий поэт, смеясь, ответил:

— А мне кажется, любезнейший Михаил Петрович, что историческая тема о Борисе Годунове совсем не подходит для таланта Пушкина. Такая тема хороша лишь под пером Карамзина.

Кроме них в зале было еще несколько человек штатских и офицеров-гвардейцев — любителей изящной словесности.

— Теперь в Москве Пушкин да генерал Ермолов погоду делают, — весело бросил кто-то из них. Присутствующие одобрительно засмеялись.

— А он, пожалуй, не приедет, сидит с Соболевским да вино дует, потешаясь над нами, дураками, — сказал Муравьев.

Шевырев повернулся к Веневитинову и, растягивая слова, процедил:

— Это просто невоспитанно — задерживать общество. Я тоже склонен думать, что у Пушкина талант не исторический, а поэтический, ему поэмы сочинять, а не истории, где должно философские мысли о государстве высказывать. На сие у него знаний не хватит.

Веневитинов сухо возразил:

— А вы сначала, мой друг, послушайте Пушкина, а потом и судите. Я вас заверяю, его «Борис» — произ-

ведение глубоких мыслей и возвышенных чувств, так еще никто из нас не писал.

Едва Веневитинов закончил свою фразу, как быстро вошел Пушкин, а за ним Соболевский. Поэт был оживлен, улыбался, и его белые зубы сверкали. Маленький, в черном сюртуке, с небрежно повязанным галстуком, он всем показался не таким, каким его хотели видеть. Ожидали — войдет как олимпиец, как сладкозвучный Аполлон, а тут вдруг совсем иной...

— Как обезьяна вертлявый, — прошептал на ухо Погодину Муравьев.

Те, кто видели Пушкина в первый раз, разочарованно вздохнули. Веневитинов поднялся навстречу.

— Александр Сергеевич, — сказал он своим томным голосом, — разрешите поблагодарить вас за посещение и познакомить с сими неофитами, жаждущими лицезреть вас.

— К чему столь торжественно, милый Веневитинов, давайте без чинов, — и Пушкин начал быстро обходить присутствующих, энергично пожимая руки...

Поэт раскрыл принесенную рукопись и начал медленно читать. Читал он совсем по-особому. Сначала его было трудно слушать: привыкли к декламации нараспев, которую ввел в Московском университете профессор словесности Мерзляков, а Пушкин читал негромко, слов не растягивал, и все же чувствовался своеобразный напев, отдельные фразы поэт произносил совсем по-домашнему.

Сидели в недоумении: хорошо или плохо — не понять, только знали — это не прежняя трагедия с ходульными романтическими героями, а — новое.

Пушкин читал сцену в келье Пимена. Разговор Григория с монахом насторожил. Погодин замер, приоткрыл рот и смотрел на Пушкина, как будто хотел его проглотить. Кто-то прошептал: «Вот это да!»

Голос у Пушкина зазвучал как медь. Все вздрогнули. Из уст поэта полились глубокие слова пименовского монолога:

Я долго жил и многим наслаждался...

«Кто сказал, что Пушкин маленький и вертлявый? — думал Погодин, глядя на поэта. — Он величествен и прекрасен. Он настоящий гений! Как он понимает людей, как он понимает страсти!»

Пушкин обвел всех глазами — глаза прожигали насквозь, но вряд ли поэт кого-нибудь видел! Перед ним был Иван Грозный в келье Кирилла многострадального и его исповедь. И Пушкин дрожащим голосом читает:

Да ниспошлет господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной...

А там новое волнение — сцена в царских палатах, монолог Годунова:

Достиг я высшей власти...

Слушатели не выдерживают: кто вскакивает с места, кто плачет и не стыдится своих слез.

«Да разве можно стыдиться? — говорит Погодин сам себе. — Ведь это бывает так редко в жизни! О, Пушкин, Пушкин, что с нами делаешь! Вот он, Погодин, — ученый, историк и литератор, он много читал, много знает, но что знания в сравнении с тем, что знает и видит вещими глазами великий поэт!»

А Пушкин читает дальше... Сцена в корчме. Сцена у фонтана. Гордые слова Димитрия:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла...

Какое торжество! Какой пир творчества! И Степан Петрович Шевырев — напыщенный высокопарный ученый, любомудр, забывает, где он, и истерически кричит: — Что вы с нами делаете, Александр Сергеевич?!

«Да, действительно, что он с нами делает! Где он подслушал то, о чем говорит народ, где мог слышать своего юродивого с песенкою «Месяц светит, котенок плачет...»? Какая великая, какая страшная правда в пушкинском «Борисе»!»

...Пушкин заканчивает чтение трагедии обращением убийцы сына Годунова, боярина Мосальского, к народу: «Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!»

Последнюю фразу поэт произносит почти шепотом: «Народ безмолвствует».

Один из офицеров бросается к Пушкину, целует его и восторженно кричит:

— Что я такое, господа? Я — грош, копейка, а вот когда смотрю на Александра Сергеевича, то вижу миллион...

Все рукоплещут, обступают Пушкина — и Веневитинов, и Шевырев, и другие.

— Какой день вы нам подарили, какой день!

Приносят шампанское. Пушкин читает свои стихи о Стеньке Разине, потом еще и еще. Общий восторг действует на поэта. Он развеселился, громко смеется.

Наступает вечер. Приносят свечи. И у всех хорошие чистые лица, и все забыли о житейском, и всех объединяет одно — великая любовь к творчеству и к людям.

А за окном московская осень, неверный свет редких фонарей.

* * *

А. С. Пушкин в ссылке, в Михайловском, работает над «Борисом Годуновым». В письме сообщает своему другу Вяземскому: «Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: *Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Воронице. Каково?»* (13.VII. 1825 г.).

Тому же адресату седьмого ноября 1825 года: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Пушкину тогда было только двадцать шесть лет, а он пророчески предсказывал: «Успех или неуспех моей трагедии будут иметь влияние на преобразование драматической нашей системы».

После восстания декабристов и «помилования» Пушкина Николаем Первым поэт читал свою трагедию в Москве в нескольких знакомых домах. Историк Погодин восхищался, друзья хвалили, но особенного резонанса она не произвела. Н. В. Гоголь впоследствии с горечью восклицал:

«Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа?»

Нет, не понимали. От Николая Первого, советовавшего поэту переделать трагедию в роман «на манер» романов Вальтера Скотта, до генералов и статских советников, удивленно пожимавших плечами, до Фаддея Булгарина, лившего помой на Пушкина.

Великое творение Пушкина вдохновило гений Мусоргского. В опере «Борис Годунов» ярко и смело звучали революционно-демократические взгляды композиторов «Могучей кучки». После «Ивана Сусанина» («Жизнь за царя») Глинки не было еще такого мощного музыкального произведения. Но в «Иване Сусанине» содержание народного подвига было принижено, приглажено в либретто барона Розена — царедворца и монархиста, к тому же посредственного литератора.

«Борис Годунов», а позднее «Хованщина» (после смерти композитора закончена Римским-Корсаковым) по изображению народных сцен не имеют себе равных в мировом музыкальном творчестве. Мусоргский ввел еще в «Бориса Годунова» пятый акт — наиболее демократический — с речетативом, с хорами («Поднялась сила подонная»).

Новаторство Мусоргского — ученика Даргомыжского — с его ансамблями, хорами и речетативом подверглось осмеянию ретроgrадами и чванной дворянской публикой, и вскоре опера была снята с репертуара, а еще раньше из нее была изъята последняя, пятая, сцена.

Знаменитый критик Владимир Стасов писал с негодованием и иронией: «Наши оперы нечто вроде беззащитных цыплят перед всемогущим поваром. Какой-нибудь Терентий или Пахом имеет все права в любой день или час словить талантливую русскую оперу за крыло, отрезать ей лапы или хвост, перерезать горло и потом стряпать из нее какое ему только взбредет на ум фрикассе».

Только через много лет после смерти Мусоргского «Борис Годунов» был поставлен в частной опере Мамонтова. В исполнении Ф. И. Шаляпина «Борис» прогремел не только в России, но и в Европе и Америке...

У А. С. Пушкина и М. П. Мусоргского выразителями народной воли являлись не только посадские люди и крестьяне, но еще и юродивый, под видом шутовства и якобы нелепых поступков говорящий правду царю и вельможам.

Таков Николка Железный колпак. Когда-то на сцене Большого академического театра его изумительно исполнял народный артист СССР И. С. Козловский. Вспомните песню Николки:

Месяц светит,
Котенок плачет,

Юродивый, вставай,
Богу помолися...

И его ответ на просьбу царя молиться за него: «Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит».

Вот оно народное мнение: царь — ирод.

Для большинства народа Борис — ирод, потому что не истинный царь — по его указу убит маленький царевич, он — не защитник крестьянства.

У Мусоргского удивительная фигура юродивого снова появляется в конце оперы в стане восставших против Бориса.

Кто же был тот юродивый?

Н. М. Карамзин, памяти которого посвятил свою трагедию А. С. Пушкин, сообщает в «Истории государства Российского», что некий Иоанн юродивый из Вологды «с распущенными волосами, ходя нагой по московским улицам, предсказывал бедствия и торжественно злословил Борису, а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла».

Итак, прототипом пушкинского Николки Железного колпака был вологжанин Иоанн Большой колпак. В примечании Карамзина говорится, что Иоанн еще в Вологде удивлял земляков внешним видом и образом жизни — питался только хлебными корками и водой, носил на теле железные вериги, на голове тяжелый железный колпак. И в Москве он пользовался таким расположением горожан, что, когда умер, его торжественно похоронили под спудом церкви Василия Блаженного.

Вот кто под пером Пушкина и в музыке Мусоргского явился грозным обличителем царя и бояр.

Еще в июле 1825 года Пушкин писал Вяземскому:

«Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»

Только через шесть лет правительство Николая Первого разрешило опубликовать «Бориса Годунова» (1831). Как драматическое произведение трагедия была поставлена на сцене (с сокращениями и цензурными искажениями) лишь в 1870 году в Петербурге.

«КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»

Внизу играли веселый вальс.

Чуткое ухо Тургенева улавливало фальшь в партии скрипки.

После вальса хозяйка дома пела итальянские песни. Ее голос звучал все еще чарующе.

Долго и шумно хлопали в ладоши.

А здесь, наверно, в неудобном темном кабинете было холодно и тяжело. И от воздуха непроветренной комнаты, и от тоски. А может быть, и от сердца...

«Как хороши, как свежи были розы...»

Это стихотворение в прозе он написал недавно.

Внизу опять надоедливо заиграл оркестр. Скрипка не переставала фальшивить.

Шемящая боль... Он чувствовал сердце... Это очень неприятно — чувствовать сердце... Можно было бы зажечь свечу, и теплый мерцающий огонек разогнал бы серую мглу... Но стоит ли?

Однажды Флобер спросил его, как он может терпеть эту обстановку? Он ответил ему: «Дорогой друг, я ее не замечаю».

Флобер пришел в восторг: «Какой вы тонкий художник!»

Да, он был им. Был лет пять тому назад. А теперь? И опять всплыло: «Как хороши, как свежи были розы...»

Сегодня утром Полина вызывала врача. Врач, солидный, с эспаньолкой, долго выстукивал и выслушивал его.

— О! — сказал он, — вы, дорогой мсье Тургенев, можете стать молодым, если уедете на юг. Солнце, воздух, уход, близкие друзья — самое прекрасное лечение.

Полина мило улыбалась, нежно гладила по волосам.

— Какие мягкие, шелковые у вас волосы, мой друг!

Потом Полина взяла под руку доктора, сделала серьезное лицо, и они ушли в другую комнату и о чем-то вполголоса говорили. И он улавливал в голосе Полины такую же фальшь, что звучала сейчас у скрипки. У него было чуткое ухо.

Как хорошо прижаться горячим лбом к холодной кожаной спинке дивана, улавливая тонкий запах духов. Он любил хорошие духи, пожалуй, не меньше, чем цветы.

«Как хороши, как свежи были розы...»

Он не хочет жаловаться на судьбу. Судьба благоволила к нему, именно благоволила. Она одарила его великим счастьем творчества.

Иван Сергеевич широко открывает глаза и смотрит в серый сумрак комнаты. За окном накрапывает августовский дождик. Он, должно быть, теплый, этот дождик, но он неприятен. Он неприятен уже по одному тому, что напоминает о чужом небе и о старости на чужбине.

Слышен звук отворяемой двери. Тянет сквозняком. Полоска света падает в комнату.

— Почему вы, мой друг, сидите в темноте?

Это входит Полина. Она зажигает свечу и присаживается на край дивана. От нее резко пахнет духами. Ее полная шея напудрена. Глаза немного подведены. Большие и томные глаза Полины, которые он так любил.

Она смотрит на него вопрошающе, с чуть заметным раздражением, хотя и старается придать своему взгляду нежность. Но Тургенева трудно обмануть: у Ивана Сергеевича не только чуткое ухо — у него чуткие глаза художника.

Он любит эту женщину. Пусть она постарела. Пусть заметны складки на ее шее и резкие морщинки сеточкой у глаз.

Все равно, все равно он будет помнить:

«Как хороши, как свежи были розы...»

— Вам, — говорит Полина, — не мешает наш шум? Я устроила для девочек скромный вечер. Они, бедные, так мало имеют развлечений. А мне приходится, несмотря на мое желание быть с вами, играть роль хозяйки дома... Вы не сердитесь?

Нет, Иван Сергеевич не сердится... Он очень рад, что девочкам этот вечер доставит удовольствие. Он сам, если бы был в силах, принял участие в нем. Пусть Полина исполняет свою роль хозяйки. Он знает, что она его любит. Это — лучшая награда.

Он берет ее руку и целует.

Только зачем она украшает пальцы таким количеством колец?

Полина целует Ивана Сергеевича в лоб. Вынимает из-за корсажа белую увядающую розу и кладет на столик около дивана:

— Это вам, чтобы вы меньше скучали.

Он очень польщен, он даже тронут. Его губы складываются в грустную улыбку. Он берет розу и неосторожно укалывает себе палец маленьким шипом.

— Боже мой! — восклицает Полина, — вы укололись?

— Это сущие пустяки, — отвечает он и, чтобы выдержать до конца светский тон, снова улыбается: — Разве бывают розы без шипов?

Полина уходит.

Он опять остается один. Осторожно берет белый полуувядший цветок и подносит к лицу. Затем кладет цветок обратно на стол и с сожалением смотрит на его нежные увядающие лепестки.

«Как хороши, как свежи были розы...»

Внизу играют на арфе. Слащавый женский голос исполняет нормандскую песню. Иван Сергеевич прислушивается к ней, потом досадливо передергивает плечами: разве можно с таким голосом петь народные песни?!

Он в этом кое-что понимает. Его друзья — Флобер, Мопассан, Гонкур, Додэ считают его авторитетом не только в литературе, но и в музыке.

Его друзья! Он горько усмехается. Он думает о своих друзьях там, далеко за Буживалем, в Петербурге и в Москве. Даже тех, с которыми разошлись его пути, он сейчас дружески бы обнял.

Да! «Одних уж нет, а те далече...»

Белинский, Панаев, Некрасов, суровый граф Толстой, да и недавно умерший Достоевский! Правда, с Достоевским он никогда не был близок, они ссорились и зло подсмеивались друг над другом. И не с одним Достоевским он не ладил. Иван Александрович Гончаров до сих пор не может слышать его имени. А жаль! Гончаров все-таки из настоящих... Мало их осталось, настоящих! Достоевский умер, он, Тургенев, тоже на исходе, и лишь один граф Лев Николаевич стоит как исполинский дуб. Он выше всех! Только обидно, зачем этот русский великан занимается не своим делом! Божественный дар слова грешно растрачивать на пустяки... Надо написать ему письмо... Он, умирающий Тургенев, должен выразить Льву Николаевичу и свое восхищение, и свою просьбу писать для потомства, а не для «христа ради юродивых».

Иван Сергеевич смотрит на свечу. Ее свет раздражает, и он гасит ее.

Теперь хорошо... Немножко тоскливо, но в этом виновато сердце.

Похоже, что придется скоро собираться в последний путь. Раньше он немножко кокетничал, говоря о смерти, кокетничал сам с собою, а теперь спокойно ждет приближения конца.

Да, он правильно сделал, что в завещании велел похоронить себя рядом с Белинским. Никто так не любил Россию и литературу, как Виссарион Григорьевич.

Тургенев удобнее ложится на диван, поворачивается на бок и, как в детстве, поджимает коленки.

«Как хороши, как свежи были розы...»

БЕЗ ВОЗДУХА

В третьем отделении собственной его величества канцелярии начинался служебный день.

Чиновники в вицмундирах рассаживались за столы, вынимали синие папки «дел». Вахтер с нашивками и пышными седыми усами на благообразной физиономии не спеша обходил столы господ чиновников и из большой бутылки подливал чернила в чернильницы.

Чиновники потирали руки прежде чем взяться за перья.

Петербургский апрель, как всегда, был простудным и дождливым.

Кто-то из чиновников постарше произнес:

— Н-да-с, господа, мерзкая, я вам доложу, погодка. В перчатках и то, поверьте, кончики пальцев онемели. Да-с!

Те, кто носил чины коллежских регистраторов и титулярных советников, соблюдая субординацию, разговаривали между собой шепотком, да и то лишь по самому нужнейшим вопросам, не имеющим личного характера. Учреждение было солидное, и его шеф не любил, когда канцеляристы болтали.

Звеня шпорами, прошел мимо столов в приемную залу, уставленную по-казенному, толстый полковник, затянутый в синий с голубоватым отливом мундир. Сидевший в приемной у двери кабинета за большим столом желтолицый адъютант поднялся и приветливо сказал:

— Его превосходительство еще не приехали... Прошу вас, полковник, присесть.

Галантным жестом он придвинул полковнику дубовый стул с высокой резной спинкой. Полковник сел и, наклонясь к адъютанту, стал вполголоса рассказывать какой-то скабрёзный анекдот. Адъютант захихикал.

В соседнем зале послышался гул приветственных голосов. Адъютант и полковник как по команде встали и оправили мундиры. В сопровождении худенького столоначальника и вахтера вошел высокий генерал с седеющими бакенами и длинным носом. На его мундире переливался эмалью Владимирский крест. Небрежным кивком головы генерал пригласил к себе столоначальника и полковника.

В кабинете было тепло. Догорали поленья в камине. Пушистый ковер заглушал шаги. За массивным столом с бронзовыми канделябрами помещалось мягкое кожаное кресло. На стене висел в золоченой раме портрет императора Николая Павловича.

— Я задержался немного у его сиятельства шефа, — сказал генерал и жестом попросил полковника сесть поближе к письменному столу.

Худенький чиновник остался стоять. У чиновника было бледное морщинистое лицо с тонкими губами и умными серыми глазами. Но когда эти глаза смотрели на собеседника, то последний испытывал какое-то неприятное и даже боязливое чувство.

— Да... — Генерал расстегнул ворот мундира. — Так вот, господин полковник, его сиятельство поручает вам заняться делом литератора Белинского. В то время, когда во французском королевстве происходит смута, или, как ее именуют парижские газеты, революция, и когда венгерские мятежники бунтуют противу своего законного молодого монарха, да, в такое время — как выразился его сиятельство — настала пора прекратить зловредную деятельность этого столичного санкюлота.

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, — вежливо сказал чиновник, — осмелюсь доложить, по донесениям проверенным господин Белинский находится в тяжелом состоянии здоровья. Господин Белинский...

— Знаю, — махнул рукой генерал. — Больной, а крамолу сеет. При последнем издыхании, а пишет.

— Истину сказали, ваше превосходительство. У меня

в деле указаны лица, кои квартиру господина Белинского посещают: господина Некрасов, Панаев, Дружинин.

— Знаю, — сердито перебил чиновника генерал. — Так я буду просить вас, полковник, заняться делом Белинского и утвердить крепче надзор за его квартирой. Вы, Петр Николаевич, — ткнул генерал пальцем в сторону чиновника, — ознакомьте полковника со всеми бумагами, касательство до Белинского имеющими. У вас список с возмутительного крамольного письма Белинского Гоголю?

Чиновник наклонил голову:

— Так точно, ваше превосходительство.

— Как еще господь бог терпит такого крамольника! За одно письмо двадцати годов каторги и то мало, — убежденно заявил генерал.

Полковнику надоело молчать:

— А по мне, ваше превосходительство, и Гоголь, хоть его и ругает господин Белинский, тоже птица вредная и долгоносая... — И полковник рассмеялся.

— Именно долгоносая, вы правильно изволили заметить, полковник, — вздохнул генерал. — Его сочинения осмеивают и полицию, и чиновников, и помещиков, и губернаторов. Везде свой длинный нос сует. Теперь-то, говорят, раскаивается в заблуждениях молодости: сатане, говорит, служил. А «Мертвые души» и «Ревизора» обратно в карман не спрячешь.

— Господа сочинители столько вреда Российской империи принесли и столько молодых умов с дороги правильной совратили, что должно даже удивляться человеколюбию нашего возлюбленного государя-императора, — с придыханием сказал полковник и благоговейно взглянул на портрет царя.

В тесном кабинете (тесно было от книжных шкафов и полок с книгами) на старом диване полусидел-полулежал обложенный подушками Виссарион Белинский. Мелкий озноб пробегал по его телу, а на лбу выступил пот. На больном была надета теплая куртка, а ноги укрыты пледом. Яркие пятна полыхали на исхудалом лице. Тонкими пальцами Виссарион Григорьевич нервно поглаживал лежащую на коленях книгу.

На стульях у дивана — Некрасов и Панаев. Некрасов сидел, наклонившись к больному, и все время по-

щипывал свои усы. Панаев старался придать веселости маленькому кружку, но это ему не удавалось.

— Вот когда поправитесь, Виссарион Григорьевич, то мы такую пирушку закатим, уму непостижимо! — пошутил он.

— Нет уж, Иван Иванович, — тихим голосом ответил Белинский и закашлялся. Кашлял он долго, надсадно, но друзья сделали вид, что ничего не замечают. — Нет уж, — откашлявшись, закончил больной. Укатали сивку крутые горки. Пора и отдохнуть на Волковом.

— Вы спрашиваете, Виссарион Григорьевич, как дела с журналом, — сказал Некрасов. — Правда, без вас не так клеится, но ничего.

— Какое там ничего! — горячо заговорил Белинский. — Цензура свирепствует... В Европе короны слетают с чурбанов. Теперь, поди, голубым мундирам жарко приходится. Нажимают на цензурный комитет, тот на издателей да редакторов, а те на сотрудников.

— Да, — неопределенно хмыкнул Некрасов, — есть такой грех, но ничего. Я преуспеваю в эзоповом языке, чтобы затушевывать для цензуры некоторые мысли. Знаете, Виссарион Григорьевич, без труда не вынешь и яичка из гнезда...

— Правильно! — улыбнулся Белинский. — Вы, Николай Алексеевич, умница. Гораздо умнее их. В журнальном деле это главное.

— Я вчера старого подлеца Фаддея видел, — сказал Панаев, — идет брюхом вперед.

— Скажи точнее — ухом, — усмехнулся Некрасов, — а лучше, Иван Иванович, не упоминай ты о Булгарине. Не место здесь.

Глаза Белинского потеплели.

— А я вот, друзья, Лермонтова читал до вашего прихода. Читал и его мятежным духом загорался.

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

Он снова закашлялся, и пот явственно проступил у него на лбу.

Из кухни донеслось дребезжание колокольчика. Потом послышался скрип отворяющихся дверей, испуганный вскрик кухарки и чей-то басовитый сиплый голос.

В кабинет быстро вошла жена Белинского. Ее лицо было встревожено. Белинский повернулся к ней:

— Что там такое?

— Пришли справиться о твоём здоровье, — с трудом выговорила она.

— Кто?

Жена ничего не ответила. Тогда Панаев поднялся со стула и пошел на кухню.

Посреди кухни стоял усатый жандармский унтер в полной амуниции и о чем-то расспрашивал кухарку.

Панаев взглянул на жандарма и почувствовал, что задыхается...

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ НА МЫТНИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Небо затянулось серой дождливой пеленой.

С моря дул северный ветер.

Соленый вкус моря Чернышевский ощущал на своих губах.

Стоять было неудобно. Руки, просунутые через кольца железной цепи, укрепленной к позорному черному столбу, немели. А ведь прошло всего каких-нибудь десять-пятнадцать минут.

На очах капельки дождя. С трудом Чернышевский, звеня цепью, снял очки и протер их пальцами. Платок был в кармане брюк, но его никак нельзя было достать.

Невдалеке от Николая Гавриловича стояли два бородатых палача, а у помоста только что прочитавший приговор чиновник в мундире и треуголке в окружении жандармских офицеров и каких-то статских чиновников.

«До чего же это бездарно, глупо! — мелькнула мысль у Чернышевского. — Стоит взрослый человек у идиотского столба, руки просунуты в кольца, на груди дурацкая доска... Хорошо, что здесь нет моей голубочки!»

На Мытнинской площади были и любопытные, и друзья. Они стояли далеко за рядами штыков.

Николай Гаврилович с иронией взглянул на понурых полицейских с посиневшими лицами, на жандармов с бесстрастными глазами. «Зазябли, бедняги... Царские рабы! — и вспыхнул ярко в мозгу эпитафия к радищевскому «Путешествию»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Вот оно, это чудище, обвилось вокруг помоста, тускло блестя палашами, штыками,

эполетами палачей... Оно душит лучшие силы народа, оно посылает на каторгу и в тюрьму... а мне смешно... смешно, потому что ничто не может остановить хода истории, ничто!»

Чернышевскому хотелось крикнуть друзьям, толпившимся за полицейскими, что он по-прежнему бодр и верит в победу, но к нему подошел палач, освободил руки из колец цепи и толкнул вперед. Не дав опомниться осужденному, палач резким ударом сбил с его головы шапку, уперся крепко руками в плечи, заставив Чернышевского опуститься на колени. Другой палач переломил над головой Николая Гавриловича шпагу.

И в ту минуту, когда палач переламывал тонкую шпагу — символ лишения привилегий, на помост упал букет красных роз.

Он упал к ногам Чернышевского.

Девушка с тонким бледным лицом, пробравшаяся почти к самому помосту, была окружена жандармами. Два городских подхватили ее под руки, посадили в пролетку и умчали в канцелярию генерал-губернатора.

Когда палачи сводили Николая Гавриловича с позорного помоста, несколько молодых людей прорвалось через строй городских. И снова букет ярких цветов был брошен к его ногам. Жандармы схватили еще двоих «бунтовщиков».

— До скорого свидания! — крикнули в толпе.

И уже сидя в карете между полицейскими, Чернышевский еще раз улыбнулся. Он улыбнулся тем друзьям, которые его приветствовали цветами. И хотя Николай Гаврилович устал от всей этой дикой церемонии, и хотя он глубоко страдал от разлуки с голубочкой Ольгой Сократовной и детьми, от разлуки с друзьями, у него было тепло на сердце от сознания, что он не один.

Карета, сопровождаемая конными жандармами, уехала.

Солдат построили повзводно и увели. От солдатских шинелей шел запах казармы и кислого хлеба.

Публика, среди которой мелькали студенческие фуражки, женские шапочки, широкие шляпы журналистов и учителей, медленно расходилась группами, возмущаясь обрядом гражданской казни.

— Ничего господа, отольются кошке наши слезки... отольются! — громко говорил чахоточный студент в старом драповом пальто. — Придет время, и народ про-

снется... поймет... И сделает имя Чернышевского своим любимым именем.

А дождь все моросил.

С моря дул ветер.

* * *

Охота проходила удачно. Император Александр Николаевич был доволен. Он считал себя хорошим стрелком, ему было приятно чувствовать, что им любят приближенные, и к тому же подарок принца Альберта — прекрасное английское охотничье ружье было легко и приятно на вид. И потому, что все казалось Александру Николаевичу хорошим, ему хотелось делать приятное и другим. Он весело подшутил над камергером Нарышкиным, сделавшим два промаха, ласково потрепал по плечу егермейстера Голицына, с улыбкой попросил флигель-адъютанта позаботиться о столе («Я немножко проголодался, мой милый», — сказал он, грассируя), а затем подошел к стоящему невдалеке у сосны поэту графу Алексею Константиновичу Толстому.

Толстой, прислонясь к дереву, задумчиво следил за белым облаком, которое плыло по темно-голубому небу. Охотничье ружье и ягдташ, небрежно брошенные, лежали у его ног.

Император был другом детства поэта. Они вместе учились, играли и шалили. Это было давно, и Александр Николаевич любил сентиментально вспоминать и эти игры, и эти шалости. Правда, Александр Николаевич не понимал, почему граф сторонится дворца, ничего не просит для себя. Для милого Толстого он с удовольствием все бы сделал! А граф, наоборот, даже подал прошение об отставке как будто нельзя быть одновременно и поэтом, и царедворцем! Ведь его любезнейший воспитатель, покойный Василий Андреевич Жуковский, был и тем, и другим!

Александр Николаевич подошел к Толстому и весело окликнул его по-английски:

— О чем грустите, милорд?

Толстой почтительно поклонился императору и сухо ответил:

— Когда русская литература облеклась в траур, я не могу смеяться, ваше величество.

Недоумение выразилось на выхоленном лице импе-

ратора, даже тщательно подобранные волосок к волоску бакенбарды пришли в движение.

— Ты говоришь о трауре, граф? И по ком траур?

— Один из лучших представителей литературы безвременно ушел от нас, даже не ушел, а его увезли в Сибирь на каторгу.

— О ком ты это говоришь? — спросил император.

— О Чернышевском, ваше величество.

— Никогда, понимаешь, граф, никогда не смей проносить при мне этого имени!

Александр Николаевич круто, по-военному, повернулся и пошел прочь от поэта. По дороге он споткнулся о пенек и, прихрамывая, заковылял к свите.

Охота в этот день не возобновлялась.

НА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Академическая художественная выставка 1873 года — в ней принимали участие и живописцы-передвижники — привлекла всеобщее внимание. Издатель консервативного «Гражданина» князь Мещерский попросил Достоевского поделиться своими впечатлениями о выставке в «Дневнике писателя», который вел в журнале Федор Михайлович.

— Господа демократические художники, — сказал Мещерский, растягивая слова, — очевидно, надеются мазней низкого жанра затмить прекрасное и высокое искусство. Я думаю, что ваш меткий взгляд увидит все ничтожество этих недоучек, возомнивших себя гениями.

— Насколько я знаю, — ответил писатель, — у них в картинах больше жизни, больше свежего воздуха, чем у академиков.

И он поехал на выставку. Был март. Небо голубело, что редкость для Питера, с крыш свисали сверкающие сосульки, и даже мудрые сфинксы на набережной перед академией казались ожившими.

Федор Михайлович любил и понимал искусство. Когда он с женой Анной Григорьевной жил за границей, то, попадая в город, имевший картинную галерею, прежде всего шел туда. Перед понравившейся картиной он мог простаивать часами, вникая в идею, воплощенную на полотне. Особенно он любил собрание Дрезденской галереи. Разве можно забыть «Сикстинскую ма-

донну» — символ такой невероятной чистоты, что просто не верилось, что это создание рук человеческих? А потрясающий тициановский «Христос с динарием», а ландшафты Клода Лоррена!

На петербургской выставке Достоевского прежде всего поразила публика. В Дрездене публика чинная, ходит со справочниками, с лорнетами, созерцает произведения искусства в благоговейном молчании — все это как-то холодно, по-заграничному. Англичан богатых много — просвещенные господа, черт бы их побрал! Англичанин и на картину смотрит, как будто честь художнику этим делает. А здесь перед каждой картиной молодые люди спорят, жестикулируют, значит, это настоящее искусство, новое, буйное. Вот-с вам, князь, и низкий жанр! Даже пожилые петербуржцы и те возбуждены, и те, правда, не так громко, но все же довольно энергично обсуждают сюжеты.

К Федору Михайловичу подбежал писатель Григорович — старый однокашник Достоевского по инженерному училищу. Он был в каком-то цветном пиджаке, бархатной жилетке, на шее небрежно повязан модный галстук, в руках — перчатки. Дмитрий Васильевич Григорович распространял запах французских духов. Лицо дышало радостью жизни. Глядя на него, нельзя было не почувствовать некоторой зависти.

— О, мой милый! — приветствовал он Достоевского. — Почему вы не присутствовали на вернисаже? Сколько было публики! И вы знаете, не только молодежь, не только люди искусства, но и почти весь свет и его высочество президент академии.

— А мне, собственно, какое дело до света и президента? — раздраженно спросил Федор Михайлович.

— О, дорогой друг, вы даже и сюда принесли меланхолию. Но это свойственно вам, — снисходительно отметил Григорович, скорбно склонив голову, но, будучи не в силах сдержать радостное настроение, продолжал: — Я знаком со многими живописцами. Ах какие таланты есть, какие таланты, Федор Михайлович!

— А мне рекомендаций не надо, — сердито оборвал его Достоевский. — Я уж сам как-нибудь своим умишком разберусь. Вы меня извините, Дмитрий Васильевич, и разрешите в одиночестве остаться. Потом, на досуге с вами поболтаем.

В зале в сопровождении уланского поручика появи-

лись две дамы в модных туалетах, вооруженные лорнетками.

— Мсье Григорович, — проверещали дамы в один голос. — Какое счастье! Вы будете нашим любезным проводником.

Достоевский улыбнулся. И прошел вперед, начав осмотр картин.

Сперва шли пейзажи — эффектно, правда, но и только. Отошел недовольно, даже не посмотрев на фамилию художника. Красивенькое — все же не искусство.

А вот две березки, такие характерно русские, в пейзаже Архипа Куинджи «Вид на Валаам» трогают. Ветры там суровые, но растут березки, все преодолевая. Изумительные березки!

Вот Василий Григорьевич Перов, что писал с него для Третьякова портрет, выставил «Охотников на привале». В трех фигурах есть национальные черты и бездна юмора.

Дальше — «Любители соловьиного пения» молодого Владимира Маковского. Не зализано, есть некоторая неряшливость — конечно, не запад, но то и ценно, что здесь наше, русское, метко схвачено и глубоко прочувствовано автором. Купец, слушающий в упоении соловья. На лице наивный восторг. Может быть, он в жизни обирала, толстосум, в семье — деспот, но сейчас на него нашла стихия восторга, и он утопает в блаженстве. А отставной солдат-продавец... Сколько в нем гордости, самоуважения, как будто он и есть солист. «Об этом сюжете я обязательно напишу, — мысленно решает Достоевский. — Ах, князь, князь, фамилия у вас русская, а ничего вы в русском не понимаете!»

Особенно много публики теснится около полотна Ильи Репина «Бурлаки». Видно, эта картина и есть гвоздь выставки. Около нее больше всего спорят, восхищаются.

— Никто так не писал! — выкрикивает бородастый студент-медик. — Прямо от сердца идет. Страшная правда наших дней. Это стоит десятка обличительных статей.

Над толпой зрителей возвышается мощная голова критика Владимира Васильевича Стасова, человека с суровым лицом и бородой патриарха.

Достоевский остановился, долго и пристально рас-

сматривал картину. Его заметили, зашептали: «Достоевский, Достоевский!» А он ничего не слышал.

Стасов хотел было подойти к Федору Михайловичу, но, увидев его напряженное лицо, прошел с группой почтительно слушающей его молодежи к другому полотну.

Достоевский наконец вздохнул, вынул было портсигар, но вспомнил, что в залах курить нельзя, и сунул его обратно в карман. Да, с полотна Репина смотрела на него Россия, народ, трудовой русский народ. Здесь у художника чувствуется гоголевская школа, великая школа правды жизни.

Сзади послышалось картавое восклицание одной из светских дам, сопровождаемых уланом и Григоровичем.

— О, мой бог! Какие страшные грязные мужики, мсье Григорович! Что-то мистическое, что-то напоминающее сцены из Данте. Но зачем это? Зачем гримасу делать достоянием изящной живописи?

— Ах, милочка, — вставила свое замечание вторая дама, — нынешнее искусство и литература, все эти господа некрасовы, только портят народ. Нет, после того, когда посмотришь картины итальянских галерей, такие картины просто шокируют. И главное — что скажут иностранцы?

Поручику, очевидно, стало неловко.

— Вы несправедливы, сударыня, к нашим художникам. Они не лишены таланта. Это новое направление художества, — я думаю, меня поддержит почтенный Дмитрий Васильевич, — имеет свои достоинства.

Григорович только кивнул головой: «Зачем метать бисер перед этими барынями?»

Достоевский не выдержал, лицо его дернулось, и он решительно зашагал в сторону от светской группы.

— Кто это? — заинтересовались дамы, обратив на него внимание.

— Федор Достоевский, — ответил сухо Григорович.

— Ах, тот самый? Ах, как интересно!

— Ах, какой он мрачный!

И дамы принялись лорнировать быстро удалявшегося писателя.

НЕКРАСОВ ПРИЕХАЛ

Редко выпадают хорошие дни в Петербурге в апреле. Особенно когда еще не прошел ладожский лед. Петербургский апрель всегда влажный, и на улице сильный морской ветер. Плохой апрель в Петербурге.

Но вот сегодня день выдался яркий и солнечный. Небо стало голубым, и заискрилась на солнце Нева! Засияли золотые купола Исакия, шпиль Адмиралтейства, и казалось, что вздыбленный в неудержимом порыве конь Медного всадника вот-вот оторвется от пьедестала.

Достоевский воротился после прогулки по Невскому.

— Чудесная погодка! — сказал Анне Григорьевне, проходя в свой кабинет.

После того как Федор Михайлович сдал дела «Гражданина» новому редактору, доктору прав Пуцыковичу, он чувствовал себя легко, как человек, сбросивший тяжелый груз с плеч.

В кабинете, раздевшись, Достоевский прилег отдохнуть на диван и даже пропел вполголоса: «На заре ты ее не буди...» Сквозь дрему различил звонок колокольчика, голоса прислуги, Ани и еще чей-то мужской веселый и очень знакомый голос. И тут же в кабинет влетела, как теплый апрельский ветер, Аня:

— Федя! Николай Алексеевич Некрасов! — радостно сообщила она, зная, что это посещение дорого мужу. — А шуба у него щегольская, воротник бобровый. А цилиндр! — И уже деловито добавила: — По делу, очевидно. В кабинет пригласить?

Федор Михайлович надел штилеты, сюртук.

— Что ты, матушка! — воскликнул. — Не пригласить, а провести! Я сам его должен встретить, сам, ко мне пожаловал такой человек, а я... — и он, на ходу приглаживая волосы на голове, почти побежал навстречу Некрасову, который находился в зале.

Николай Алексеевич в черном сюртуке и английских серых брюках выглядел по-праздничному. Его продолговатое лицо с небольшой острой бородкой и несколько запавшими карими глазами было приветливо. Глаза смотрели пронизательно и весело. И то, что он лысел, что на висках и бородке заметно проступала седина, что цвет лица был болезненным, как-то с первого взгляда не ощущалось.

— Николай Алексеевич! — Достоевский крепко пожал обе руки Некрасова.

— Да. Живой и невредимый, давайте уж по старой памяти...

Они расцеловались.

— Не верю, — говорил Федор Михайлович, проводя Некрасова в кабинет, — что это вы... Честное слово! Да садитесь, садитесь, вот сюда в кресло.

— Сяду, и с удовольствием. А к вам я, Федор Михайлович, челом бить. Не откажите по старой памяти.

— Все, что угодно, славный вы человек, душевный наш поэт. И слушайте, Николай Алексеевич, хотя мы с вами разными дорогами идем и лагерями разделились, но вы для меня...

— Знаю, знаю, Федор Михайлович, — дружески прервал его Некрасов, положив горячую руку на колено Достоевского, — я тоже и вас люблю, и ваши произведения. Извините меня, только без «подполья» и «бесов».

— Понятно, понятно, вы ведь теперь в головном отряде демократической мысли. Сколько вы нам боли — мне и покойному Михаилу Михайловичу — причинили. Помните «Свисток»?

— Не надо, Федор Михайлович, зачем? В этом, как вы определяете, «головном отряде» собрались люди честные, горячие, молодые, всем готовые пожертвовать для блага России. А если и была когда-то журнальная полемика, то это простительно. Вы — нас, мы — вас...

Достоевский посуровел.

— А я что же, Николай Алексеевич? Я что же, не для России, не для народа тружусь? Ну, хорошо-с, а Пушкин? И Пушкина, — губы его задрожали, — и его нигилисты ниспроверяют! Его!

— Эх, Федор Михайлович, хотя и есть такие ниспровергатели, но они по молодости лет, от горячности. Памяти Пушкина это не затронет. Пушкин как был, так и будет Пушкиным во веки вечные. Он бы их простил. Помните: «Простим горячке юных лет!..»

Некрасов задумался. По его лицу пробегали неуловимые тени.

— А я, Федор Михайлович, — снова заговорил поэт, — рад, что Пушкин не живет в наше время. Тогда было плохо, а теперь... — он махнул рукой, и ослепительной белизны манжета мелькнула перед глазами Достоевского. — Если тогда существовали явные подле-

цы — Аракчеев, Голицын, Бенкендорф, то теперь преуспевают деятели типа вашего Каткова и Мещерского. А сколько либеральных сановников с продажными душонками, пресмыкающихся цензоров! Да вы сами знаете, Федор Михайлович. Пушкин писал: «И рабство, падшее по мании царя». Дожили мы до него, причем сие произошло без особого царского удовольствия, но произошло. С одной стороны, как будто бы все хорошо: журналы, газеты, земские собрания, новые законы, всякие общества и акционерные компании, а на деле наш народ говорит: «Законы-то святы, да судьи супостаты».

— Мысль замечательная, — заволновался Достоевский, — конечно, вы правильно изволили заметить в своем стихотворении:

В этих фантазиях много ошибок:
Ум человеческий тонок и гибок,
Знаю, на место сетей крепостных
Люди придумают много иных...

Много иных! Николай Алексеевич, но, возможно, это необходимо, через мучительные поиски и страдания народ найдет свою правду.

— Ах, довольно он мучился и довольно его мучили, — неожиданно взорвался Некрасов, — слышали мы такие христианские мысли. Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сами на своем хребте испытали все прелести Петропавловской крепости, сибирской каторги и солдатчины. Эх, Федор Михайлович, давайте-ка лучше о чем-нибудь другом поговорим. Не стоит в редкий погожий день портить настроение. Вы мне лучше скажите, что нового пишете. Мне передавали, что вы бы не прочь предложить нам свое произведение? О чем оно?

— Роман, Николай Алексеевич, задумал о судьбе одного молодого человека, из случайного семейства, незаконнорожденного: он носит фамилию дворового человека, хотя отец его барин. И вот я этого молодого человека, получившего образование во французском пансионе и гимназии, представляю в окружении различных петербургских соблазнов. Тут, понимаете, Николай Алексеевич, большая идея: самолюбивый юноша, имеющий самое низкое звание, но образованный и с идеалами, попадает в наш гадкий, мерзкий петербургский свет с его развратом, губительной моралью, игорными домами. И вот молодого человека обуревают мысли о богатстве ротшильдовом. Тут идея денег — власть миллиона.

В наш век практицизма миллион — это все. Будет там еще важный герой — хищный тип, барин. Понимаете? Я сначала думал публиковать роман в «Русском вестнике», но там приобрели рукопись графа Льва Толстого. На мой роман у них денег нет. Это один вопрос. А второй, Николай Алексеевич, в том, что по самой идее мой роман вряд ли там по душе придется*. Я тут через одну милую особу Тимофееву намеки делал в «Отечественные», и эта барышня мне от вашего Елисея привет передавала. Значит, и вы, Николай Алексеевич, готовы мою вещь взять? Я ведь аванс вперед беру еще до сдачи рукописи. Мне в Эмс надо, лечиться... Профессор Кошлаков посылает.

— Взял бы с удовольствием, — рассмеялся Некрасов. — И за лист — двести пятьдесят рублей, и ждать буду сколько угодно.

— Отлично, я рад, рад, Николай Алексеевич. Только я, как старый сотрудник «Русского вестника», обязан его уведомить. Да и разрешите моей жене о приятном вашем предложении сказать? — и Достоевский вышел из кабинета.

Анна Григорьевна также обрадовалась. Она хорошо знала, что такое Некрасов для Федора Михайловича, а тут еще и гонорар большой.

— Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно!

Прощаясь, Некрасов тепло пожал руку Достоевского.

— Спасибо вам, Федор Михайлович, от меня, Елисея, Салтыкова и моих сотрудников. Насчет аванса — пожалуйста, в самый ближайший срок. Надеюсь, что у нас с вами недоразумений не будет.

Косой луч упал в окно. В темном кабинете рассыпались солнечные зайчики. Они проворно забегали по вещам на письменном столе, по стенам и ударили в глаза Некрасову.

Поэт зажмурился и с удовольствием сказал:

— Эх, Федор Михайлович, до чего же приятно — когда солнце.

* Примечание. «Подросток» действительно был встречен в «Русском вестнике» враждебно. Там нашли в романе «подробности, возмущающие образованное чувство» (рецензия в «Русском вестнике», 1876, № 1). Зато профессиональные критики П. Ткачев (журнал «Дело», 1876, № 5, 6) и А. Скабичевский («Биржевые ведомости», 1876, № 8) отнеслись к роману положительно, назвав его в высшей степени замечательным.

САНОВНИК И ПИСАТЕЛЬ

Константин Петрович Победоносцев* вернулся со службы. Пообедал. Надел домашний коричневый пиджак, а на ноги — мягкие туфли. В кабинете взял со стола последнюю книгу «Русского вестника» и прилег на диван.

Худощавый, с изможденным лицом, крючковатым носом и умными серыми глазами, прикрытыми очками, он напоминал птицу — большую и хищную.

Широко образованный юрист, знаток церковного права, государственный деятель, Победоносцев все свои способности отдал на служение трем китам — «самодержавию, народности и православию».

С удовольствием Константин Петрович прочел статью Каткова о Бисмарке. Бисмарк нравился Константину Петровичу. По его мнению, канцлер был настоящий правитель, и вся Западная Европа с ее королями, парламентами и министрами не могла и шелохнуться без вedomо Бисмарка. Средневековая Германская империя Фридриха Барбароссы через сотни лет снова обросла мясом, соединилась, и все это сделал канцлер. У ног новой империи лежали поверженные Франция и Австрия. Перед величием Бисмарка дрожал Виктор-Эммануил, против него бессильно протестовал святейший престол, на него опасно поглядывала Англия. Призраки революции и либерализма надолго были изгнаны из Европы. Все это вызвало одобрение Победоносцева, хотя мощная немецкая империя у границ России заставляла несколько настораживаться. И вот теперь Михаил Никифорович Катков**, правда, в завуалированных выражениях, об этом говорит. Умница!

Слуга почтительно доложил о приходе господина Достоевского. Победоносцев просиял. Он гордился тем, что является другом такого писателя, и через него Констан-

* Победоносцев К. П. (1827—1907) — член Государственного совета, воспитатель Александра Третьего. С 1880 г. по 1905 г. — обер-прокурор Синода, фанатичный приверженец самодержавия, имел сильное влияние на трех императоров — Александра Второго, Александра Третьего и Николая Второго.

** Катков М. Н. (1810—1887). Издатель реакционной газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», где печатались многие видные писатели. Как публицист, Катков вел яростную борьбу с передовыми общественными взглядами.

тин Петрович старался проводить в «Дневнике писателя» свои взгляды на текущие события. Правда, взгляды преломлялись у Достоевского по-своему, но кое-что от Победоносцева в них все же оставалось.

Сановник с легкостью юноши поднялся с дивана, протягивая руки навстречу входящему Достоевскому.

— Как хорошо, Федор Михайлович, что вы меня посетили. Я только что прочел статью Каткова в «Русском вестнике» и подумал о вас, а вы легки на помине! Как жена, дети? — И затем еще вопрос: — Вы голодны? Я знаю, что вы пока на положении соломенного вдовца!

Голос у Победоносцева был резкий и сухой.

— Статью Каткова читал, — сообщил Достоевский, отвечая на рукопожатие хозяина. — Литературные мои дела — занят «Подростком». Чувствую себя спокойно: с «Гражданином» навсегда покончил. Анна Григорьевна и дети здоровы и свидетельствуют вам свое уважение. А кто касается чайку — не откажусь.

Константин Петрович позвонил в колокольчик и, глядя вверх головы вошедшего лакея (Победоносцев никогда не замечал прислуги), приказал приготовить ужин, чай и подогреть бутылку красного вина. Затем обнял Достоевского за плечи и усадил на диван.

— Курите и рассказывайте, почему это вы изменили «Русскому вестнику»?

— То есть как изменил? — насторожился Достоевский.

— Да очень просто: я слышал, что вы отказались печатать «Подростка» у Каткова и уступили публикацию Некрасову?

У Федора Михайловича на скулах вспыхнули красные пятна.

— Нет, это Катков отказал мне, а «Отечественные записки» взяли, и спасибо Николаю Алексеевичу. Считаю, правильно сделал.

— Правильно?! Они над вами издеваются. Салтыков про вас гадости печатно распространяет, а вы им рукопись!.. Как-то даже странно, Федор Михайлович! На правах друга говорю — странно... — развел он руками.

— Я человек русский. У меня одно дело — писательское, одно служение — народу. Что же касается Некрасова, то хоть дороги наши разошлись, я его ценю. Именно ценю, Константин Петрович. Я у Николая Алексееви-

ча в журнале свет увидел и считаю, — почти выкрикнул Достоевский, — за особое удовольствие свой роман там печатать.

Победоносцев успокаивающе протянул к нему руки.

— Экий вы нервный... Я ведь дружески, а вы — на крик. А Катков ведь вас уважает, молитвенно уважает.

— Да и я его уважаю, — нехотя ответил Достоевский и вздохнул. — Уж больно много прохвостов вокруг «Вестника» увивается.

— Прохвостов везде много, — сентенциозно заметил Константин Петрович, смотря, как жадно курит Федор Михайлович свои толстые «пушки». — Наследник царевич Александр Александрович считал бы себя обрадованным, если бы вы соизволили посетить его высочество.

— Не привык с царственными особами разговаривать, — засмеялся Достоевский. — Узнал я, Константин Петрович, от старорусского исправника, что до сих пор нахожусь под тайным надзором полиции. Понимаете? Преппикантная история! Меня либералы ретроградом считают: проданся, мол, правительству, а за каждым моим движением господ жандармы следят. Как же его высочеству с таким преступником разговаривать?

Константин Петрович смутился.

— Что вы, что вы! Это какое-то недоразумение...

— Которое продолжается десятилетиями, — невесело улыбнулся писатель.

— Обязательно переговорю с шефом жандармов. Даю вам слово, Федор Михайлович, что в ближайшие время надзор, если только он имеется, будет с вас снят.

Разговор явно не клеился.

Победоносцев перевел беседу на Бисмарка, на балканские дела, на усиление правительством Порты преследования славян. Достоевский слушал невнимательно.

Пришел слуга с докладом, что ужин готов, но и ужин не сгладил мрачного настроения Достоевского. За десертом Федор Михайлович, позвякивая ложечкой о стакан с крепким чаем, вдруг неожиданно спросил:

— Вы, Константин Петрович, член Государственного совета и связаны с делами православной церкви — верите ли вы во все ее догматы?

— Безусловно, любезный друг! То, что утверждено церковью, — истина, и никто из нас сомневаться в сем не имеет права. Малейшее сомнение уже рождает кри-

тику. Достаточно одного сомнения, и вся система может распасться.

— А я, — признался Достоевский, — иногда сомневаюсь, хочу не сомневаться, а какой-то внутренний голос мне твердит: а если там, за гробом то есть, ничего нет?.. А вдруг там ни бога, ни блаженства, ни мук вечных нет — одна пустота... Возьмите с другого конца — есть христианская религия, магометанская, иудейская, буддийская, а сколько еще различных сект. И каждая из этих религий утверждает — моя вера самая правильная. Помнится, какой-то ученый и даже святой муж, человек исключительной честности, прочитав десять богословских трактатов и сочинений, воскликнул: «Верю, потому что это слишком нелепо!» А ведь тут мысль! Только вдумайтесь.

Победоносцев пришел в ужас. Даже салфетку уронил на пол.

— Федор Михайлович! Вы ли это? Вы, который является образцом православного христианства! Светочем идеи!

— Однако признайтесь, ваше превосходительство, есть смысл в том, что я сказал, или нет? Господин Лесков на церковных делах собаку съел, — это Федор Михайлович произнес с особым удовольствием. — Любитель клиросного пения, а в догматах пошатнулся. Колеблется. А у профессора Градовского столы по вечерам по велению нечистой силы бегают. А ведь догматы спиритизм запрещают. Запрещают, Константин Петрович!

— К чему вы это? — Победоносцев нервничал все больше. — К чему вы это, Федор Михайлович?

— Все к тому же. Если верующие люди такими делами занимаются, то чего же в будущем ждать? Всемирного столоверчения или столпотворения? У нас опасаются атеистов, а я еще не знаю, кто вреднее: папа Римский или Бакунин? Вы, Константин Петрович, призываете в догматы верить. Раз утверждено и подписано церковью — стало быть, свято?

— Значит, вы, Федор Михайлович, и в постановлениях священных соборов сомневаетесь?

— Разрешите на этот счет фактик привести. Относительно мощей святой княгини Анны Кашинской. При царе Алексее Михайловиче священный собор во главе с патриархом признал мощи Анны Кашинской нетлен-

ными и постановил открыть им почитание. И чудеса при мощах святой Анны были. Сам царь Алексей Михайлович при граде Кашине святые мощи торжественно всем синклитом в серебряную раку положил. А при сыне Алексея, царе Федоре Алексеевиче, второй священный собор и тоже во главе с патриархом усомнился в нетленности мощей и приказал прекратить почитание святой Анны и мощи запечатать. Скажите, Константин Петрович, какое постановление собора правильно? А? В обоих случаях соборное и патриаршее утверждение. Ну-с? Если уж верить, так верить не догматам, не постановлениям — просто сердцем верить, всей душой, не лепо, а верить. А ваша вера, Константин Петрович, извините меня, всегда в мундире ходит с пуговицами Государственного совета и воспитателя царевича Александра Александровича.

Увидев в широко раскрытых глазах Победоносцева неподдельный ужас, Федор Михайлович рассмеялся:

— Шучу, шучу, Константин Петрович. Это я так, выдумываю или, вернее, придумываю — люблю иногда в мыслях поиграть.

Победоносцев облегченно вздохнул:

— Фу! А я уж, любезнейший друг, испугался, думал, что все это вы серьезно... — и уже благодушно продолжил: — Нельзя же так! Хотя для писателя это вполне простительно, а все же решаюсь советовать не злоупотреблять такими выдумками. От них мороз по коже.

Взгляд его превосходительства обратился к иконе святого царя Константина, которая висела в красном углу. Икона была дорогая, старого письма, в золоченом киоте.

В ЭМС НА ЛЕЧЕНИЕ

Сидя на жестком диване с прямой неудобной спинкой, Достоевский смотрит в окно, за которым мелькают разграфленные как по ниточке юнкерские участки. Все одно и то же: красные черепицы, подстриженные плодовые деревья, чистенький в чистеньком небе готический церковный шпиль... И так от деревни к деревне: все вымытое, пахнущее чистым бельем (такое белье любит Анна Григорьевна — накрахмаленное и чтоб ни пятнышка).

Вздыхнул, отвернулся. Сосед — немец в стоячем воротничке, с рыжими фельдфебельскими усами — покровительственно спросил:

— Господину русскому путешественнику, очевидно, любопытно взирать на наш немецкий пейзаж! О! — он поднес палец почти к самому носу Достоевского, — мы, немцы, умеем наводить порядок у себя, мы любим порядок, мы вообще порядочные люди.

Достоевский не ответил. Ему было жарко, душно. Если бы не Аня, если бы не доктора, разве он поехал бы в этот Эмс? Аня говорит: «Ты, Федя, должен прожить как можно дольше, ты нужен литературе и нам — семье».

Вагон потряхивает, тоже как-то по-иностранному — аккуратненько: и у поезда свой цпрлих-манирлих.

Немец с фельдфебельскими усами, видимо недовольный, что русский путешественник не хочет поддерживать с ним разговор, раскурил вонючую сигару с золотой этикеткой.

— Вы куда едете? — спросил он и уже не прибавил «господин путешественник» — вот, мол, смотри: я, немец, человек высшего порядка, с тобою, славянином-варваром, разговариваю, а ты нос дерешь.

Сидевшие на другой скамейке седовласый пастор с чисто выбритыми щеками и его фрау, смешная толстая коротышка со вздернутым носом, тоже неодобрительно посмотрели на Достоевского.

— Россия, — сказал рассерженный рыжеусый немец, — есть страна, которая нуждается в крепком начальстве, немецком начальстве. В России должен быть полный порядок. У вас там всякие нигилистки бегают, бомбы бросают, а мы это не одобряем. Европа не одобряет! — выкрикнул он.

Федор Михайлович хотел вспылить. Трахнуть бы кулаком по столику да приказать молчать. Нет, не стоит связываться. Этот немецкий отставной фельдфебель, этот елейный немецкий пастор — не та Германия, которую он любит. Не духовная, а внешняя Германия — солдафонская, кайзеровская.

Пастор завел богословский разговор о преимуществах евангелической веры перед православной.

Что он знает, длинная сосиска, о настоящей русской вере!

...Поезд останавливался на аккуратных, похожих

друг на друга станциях. Воинственного вида в красных фуражках начальники давали сигнал отправления. И опять кирпичи, черепицы, плодовые деревья, культура... Культура ли? В чем ее суть? Почему Германия объединилась? Почему она так легко расправилась с французской армией? Почему так самоуверенно хвастает своими законами, банками, техникой?

Достоевский прижимается лбом к стеклу и закрывает глаза... Утверждают — школьный учитель победил Францию. Немецкий школьный учитель! Вот поймите... Не милитаризм, не кайзер, а школьный учитель! Какая-то доля истины тут есть. Школьный учитель, немец-филлистер, воспитывал своих учеников в полном повиновении немецкому богу войны, немецкому порядку. Он говорил, ты немец и ты хозяин земли. А здорово придумано! Хозяин земли — и все тебе принадлежит. И еще — объединение...

Бисмарк объединил всех в одно государство. И извольте видеть — лежит бисмарковский кулак в центре Европы.

Достоевский смотрит в окно.

Чистенькое небо.

Улыбаются цветочки на клумбах.

У каждого вокзала цветничок.

У немецких фрау и фрейлен небесные глаза. А мне душно в этой Германии, сердцу моему душно, думает он. Шиллер, Гете? Особенно Шиллер! С братом Михаилом они упивались и восторгались им. Шиллер... Немецкий романтизм. Немецкая поэзия. И Гете... Да, вечное! Образованные русские знают немецкую литературу, живопись, архитектуру. А вот вас бы спросить, господин пастор! Ни черта вы не знаете о России. Вам даже имена самых прославленных русских на любом поприще — науки ли, искусства — незнакомы.

Помнится, он с Анной Григорьевной был в Дрездене. В первый раз пошли смотреть галерею. Он спрашивал встречных немцев: «Где у вас галерея?» Один посмотрел на него как на сумасшедшего. Второй остановился, выслушал и дальше прошел. А третий немец, такой солидный, спросил:

— Вам нужна Дрезденская галерея?

— Да.

— Королевская Дрезденская галерея?

— Да, да.

А он в ответ:

— Не знаю.

Немцы аккуратисты, филистеры. Ах, скорее бы доехать!

Вечереет. В окне та же панорама.

Достоевский сидит у окна. Смотрит на Германию. Смотрит и тоскует.

* * *

Федор Михайлович всегда с большой неохотой покидал Петербург. «Дым отечества» он никогда не променял бы на любые красоты Италии, хотя и наслаждался ими; никогда не привлекал его и бюргерский порядок Германии, хотя и ему он отдавал должное. Ни Англия, ни Франция, ни Швейцария — ничто не могло заменить ему Петербурга, надоедливого, мучительного и очень близкого.

Да и как заменить? Ведь тут жили его герои, тут прошли его молодость, зрелость, тут ему на одном из петербургских кладбищ и лежать, сложив на груди отяжелевшие, много потрудившиеся руки.

В последние годы жизни Федору Михайловичу приходилось, покидая семью, совершать поездки в Эмс для лечения. Обыкновенно Достоевский уезжал в начале июля и возвращался к концу августа.

В Эмсе первые дни, занятые врачами, устройством, знакомствами (всегда находились русские, знавшие писателя), он не скучал, а потом, когда лечебная жизнь входила в обычную колею, начинал тосковать. Немецкая буржуазная публика и прусские помещики его раздражали. Раздражали их высокомерие, их хвастливость, их претензии на мировое господство — еще с тех пор, когда Достоевский был в Дрездене во время франко-прусской войны. В письме к Аполлону Николаевичу Майкову в декабре 1870 года он писал тогда о немцах, о их «школе»: «Это похабно даже: хороша школа, которая грабит и мучает, как Атиллова орда? (Да не больше ли?)».

Вот и теперь... Совершая обязательные прогулки и всюду натываясь на самодовольство и грубость, он записывает: «Как мне все здесь ненавистно!»

Но врачи настаивают на курсе лечения. Значит — надо терпеть. Впрочем, простые немецкие труженики

намного лучше. Здесь есть о чем подумать. Прислуга в отелях замечательная — вежливая и предупредительная. Девушки у минеральных источников — восхищение... С улыбкой наливают лечебную воду и запоминают твердо, сколько такому-то господину предписано наливать. И совсем не путают стаканы — больных ведь много, а каждого помнят.

— Битте! — и улыбается, протягивая твой стакан.

А ведь это трудно — весь день на ногах за мизерное вознаграждение.

И почтовики, когда приходишь за корреспонденцией, знают тебя в лицо. Никогда, как у нас, не задерживают у окошечка.

— Пожалуйста, уважаемый господин, вам письмо. Надеюсь, хорошие вести!

Да, простые немцы — труженики, хороший народ. Но их хозяева... Ох уж эти хозяева!

Раздражает еще и отношение русских чиновных больных к Европе.

Один из таких русских серьезно и даже восторженно убеждал Федора Михайловича:

— Немцы — решительные люди. Они умеют обращаться с подчиненными народами. Габсбурги и Гогенцоллерны в железной узде славян держат — знай, мол, каждый сверчок свой шесток. Мы должны у них учиться!

И говорил это не зверь какой-нибудь, а солидный господин, хороший семьянин, считающий себя либеральным европейцем. Говорил так потому, что он в Москве, сидя в Английском клубе за вистом, прислугу за человека не считает... Об эмансипации рассуждает, а в молодости у себя в деревне, поди, при крепостном праве девчонок обманывал. А теперь по заграницам выкупные проедает. И немецким духом восхищается! Поедет в Англию — парламентаристом заделается. А в Париже будет деньги на коготок швырять. И, возвратясь на родину, закатит оплывшие глаза кверху и почнет сетовать:

— Ах господи, какое у вас невежество, какая грубость, как все низко!

Нет, достаточно с него заграницы! На родину бы поскорее... Сколько осталось? Две недели? Отлично! Как-нибудь проживу. Надо работать, писать! Спокойствие, Федор Михайлович, спокойствие... Как у покойного Тют-

чева: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои».

...И молчит. Ходит к доктору, делает то, что предписано, пьет то, что велено, спит по регламенту, старается не волноваться. Трудно, а приходится — не у родной матушки, а в чуждедальной сторонушке.

Но только когда курс лечения пройден, багаж уложен, сувениры для родных приобретены и можно ехать, Федор Михайлович успокаивается: или воды помогли, или то, что от них уезжаешь, помогло — не все ли равно, когда через несколько дней сойдешь с поезда на петербургский перрон, выйдешь сопровождаемый носильщиком на улицу, и чудеснейший в мире проспект примет тебя в свои объятия.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ НЕКРАСОВА

Тысяча восемьсот семьдесят седьмой год подходил к концу... Двадцать восьмого декабря Федор Михайлович проснулся с ощущением смутной тревоги. Еще вчера, ложась спать, он испытывал волнение и, чтобы успокоиться, читал «Отверженные» Гюго. Спал прерывисто и рано проснулся.

Сероватые сумерки. Зажег свечу. Оделся.

Когда пил чай, в парадном позвонили. Забежал взволнованный знакомый и сообщил о смерти Некрасова.

Вот почему Федор Михайлович так тревожился. Знал, что Николай Алексеевич безнадежен, — сам навещал больного... И все же смерть Некрасова показалась неожиданной.

На улице ветер, морозно...

На извозчике — старый армяк в заплатках, лошаденка сивая, полость у санок вытертая.

— Вы уж, барин, не сердчайте. С утра седоков-то не было, вот мы и охолодали.

— Ладно, дедушка, мне не на свадьбу! — отозвался Достоевский. — Приятель у меня хороший помер!

— Приятель, гришь, помер? Отмаялся, значит, царство ему небесное!

— Верное слово, дедушка, сказал: «отмаялся...» Наша жизнь — маета.

У дома Некрасова толпился народ.

Стояли кареты, санки.

Мимо Достоевского пробежала девушка в меховом жакете, держа носовой платок у глаз.

В зале, где лежал покойный, горели у изголовья свечи. За аналоем дьячок торжественно и нараспев читал псалтырь. На желтом лице усопшего застыли следы пережитых страданий.

Достоевский поцеловал холодную руку Некрасова, поклонился и отошел в сторону, давая место другим.

Хотел было выразить соболезнование вдове покойного Зинаиде Николаевне, но, увидев ее лицо (сплошное горе), не решился. Чем тут утетиши!

Псаломщик читал скорбно:

— Несть человек, иже не согрешит...

Федор Михайлович постоял, перекрестился и тихо вышел.

Шел снег.

У подъезда дома Некрасова — толпа молодежи: студенческие фуражки, шапочки курсисток, гимназические шинели.

* * *

Как и вчера, Федору Михайловичу не работалось.

«Несть человек, иже не согрешит...»

Анна Григорьевна, боясь оставить мужа одного, тихонько прошла в кабинет и села в углу дивана. Она знала, как ценил Достоевский покойного поэта, и опасалась, что переживания могут вызвать у него припадок эпилепсии. Федор Михайлович ничего не сказал ей, только кивнул.

На письменном столе — сделанная двадцать четвертого декабря запись планов на десять лет. Мысли лихорадочно бились в мозгу: «Отмучился Николай Алексеевич... А у меня — планы на десять лет. Конечно, хорошо бы прожить и дольше... Но разве можно предугадывать сроки? Судьба неумолима...»

Может быть, и здесь, за его креслом, стоит она — смерть. Нет, Федор Михайлович не может сегодня работать...

«Восстань, пророк, и виждь и вземли, исполнись волюю моею». Это из Пушкина. Голос народа. Голос вечности.

И Николай Алексеевич Некрасов умер, но слово его осталось.

Достоевский подходит к книжной полке и берет три книги Некрасова. Он берет их с большой нежностью. Открывает первый томик и начинает вслух читать стихи.

Анна Григорьевна, затаив дыхание, слушает.

Достоевский читает по-особому, вбирая в себя строчки и одновременно припоминая мельчайшие подробности встреч с покойным.

И время идет назад... Сколько было славных мечтаний! Сколько порывов и юношеских сомнений!

Дни работы над «Бедными людьми»... Достоевский не сентиментален, но сейчас, когда в доме Краевского лежит в гробу то, что было Некрасовым («земля есть и в землю отыдеш»), он видит поэта молодым, взволнованным, прибежавшим в его квартиру с Григоровичем после чтения рукописи «Бедные люди». Как искренне, ах как искренне обнимал он сконфуженного автора романа. Такое не забывается!

— Вы... вы не только талант, вы — выше, — сказал ему тогда Николай Алексеевич.

И перед Достоевским всплывает другое лицо — с блестящими глазами, тонкое и нервное, лицо человека, который был совестью литературы, — лицо Виссариона Григорьевича Белинского.

В жизни есть такие моменты, которые не сотрет ничто, и в жизни встречаются такие люди, одна мысль о которых заставляет расширяться сердце и делает человека счастливым, как бы он несчастлив ни был.

Белинский! Некрасов!..

Федор Михайлович обхватывает руками колени, сжимает руки. Глаза его сухи, он плачет сердцем. Это гораздо тяжелее — плакать так, сердцем.

Достоевский встает, ходит по комнате... Снова начинает чтение стихов Некрасова. И снова раздумья одолевают его...

«Конечно, Некрасов — не Пушкин. В музыкальности стиха он уступает и Пушкину, и Лермонтову. И в поэтических размерах он порою однообразен. И порою слишком риторичен. Но в чем же его сила? Что же заставляет видеть в нем не только поэта, а великого поэта, поэта — кумира молодежи. Молодые люди всегда более искренни. И более восприимчивы.

В чем же тут дело?»

— Понимаешь, Аня, — обращается он к жене, — скажем, был поэт Тютчев — поэт глубокий, талантливый,

философичный, но он ни в какое сравнение не может идти с Некрасовым по значимости, влиянию на читающую публику. Сила Некрасова, — в тишине кабинета голос его звучит раздельно и ясно, — в его чувстве любви к народу. В народе, в русском мужике, в русском крестьянине искал Некрасов спасение. Когда ему бывало тяжело, когда поэт задыхался от скверны окружающей его обстановки, от мелких кляуз, интриг, цензурных придинок, — он искал и находил спасение только в народе, в его стремлениях, в его мужестве, в его уме, в его вере. — Достоевский задумывается и затем продолжает: — Да! Многое простится этому поэту за его великое служение народу. Многое. Да и есть ли что прощать? Как ты думаешь, Аня?

Время идет... Слышен шелест перелистываемых страниц. Достоевский читает Некрасова.

* * *

Морозный день тридцатого декабря... Серое небо. Серые дома.

По Литейному проспекту двигается похоронная процессия.

Студенты и курсистки — шпалерами по мостовой.

Тротуары переполнены любопытствующими.

Мальчишки — на фонарях, мальчишки — на крышах.

Медленно движется траурная колесница. Гроб — на руках друзей. Факелы. И венки...

Множество венков. И среди них венок с алой лентой, на которой золотыми буквами выведено:

«Н. А. НЕКРАСОВУ ОТ СОЦИАЛИСТОВ».

Некрасов совершал свой последний путь как триумфатор.

Хор певчих печально выводил «вечную память», и скорбные слова плыли к тяжелому небу.

Федор Михайлович шел за гробом, шел с обнаженной головой.

Анна Григорьевна волновалась.

— Простудишься, Федя. Поедем домой, а через два часа успеем в Новодевичий на отпевание.

— Подожди, Аня, дойдем до Итальянской.

Сзади Достоевских слышится возмущенный ропот.

— И здесь не могли обойтись без стражей порядка!

— Хоть бы последний путь не оскверняли!

За цепью студентов по обеим сторонам процессии вытянулись на лошадях серые жандармы. В морозном тумане зловеще поблескивали их каски и палаши...

Кладбище захлебнулось народом. Каждому слову внимали в благоговейном молчании.

«У кого такой молодой, звонкий, взволнованный голос?» — Достоевский пристально вглядывался в оратора.

Речь произносил студент* с умным, красивым и вдохновенным лицом. Он говорил о Некрасове как о великом демократе, друге Белинского, Добролюбова, издателе «Современника» и «Отечественных записок», авторе «Железной дороги», о поэте, воплотившем в своих стихах не только скорбь, но и гнев народа, его мужество и его силу. И когда он закончил, гул одобрения пронесся по кладбищу.

Потом еще кто-то говорил, но Достоевский уже плохо слушал. Он протиснулся к открытой могиле. Вокруг него была молодежь. Какие славные девичьи и юношеские глаза! И сколько любви в них, в этих глазах, устремленных на гроб поэта!

Федор Михайлович порывисто вздохнул: «Что сказать ему, старому русскому литератору, о Некрасове этой молодежи — будущему России? Что сказать?»

Его заметили. Его выступления ожидали. И Достоевский своим слабым сдавленным голосом начал речь. В своей импровизации он говорил о Некрасове как о поэте народном, поэте-печальнике, продолжателе пушкинских традиций, говорил, что по значению его можно сразу же поставить за Пушкиным, Лермонтовым.

При этих словах тишина разорвалась.

— Выше! Выше!.. — раздался молодой голос.

Домой Достоевский ехал в санках. Он был недоволен собой**. «Не так надо было сказать. Не спорить у раскрытой могилы — кто выше!»

Ломило виски. На душе было смутно и тоскливо.

* Это был Г. В. Плеханов.

** Впоследствии Федор Михайлович дал анализ деятельности Некрасова в очередном «Дневнике писателя».

«ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ!»

Парк был большой и запущенный. Старые липы, развесистые клены, дубы-великаны, тихие задумчивые березки, а над прудом — склонившиеся к воде ивы.

На дорожках груды желтых, оранжевых, коричневых листьев. Солнце садится за горизонт. Прохладно.

Сутулый старик в мягких сапогах, в теплой верблюжьей охотничьей куртке и в офицерском старом картузе с большим козырьком, опираясь на суковатую палку, проходит по дорожкам парка.

У него желтое обрзгшее лицо, заросшее клочковатой черной с сильной проседью бородой, большой грушевидный нос, широкий, чувственный рот. Из-под косматых бровей старика скучно смотрят глаза.

Он идет по великолепию красочных листьев, и все вокруг — и этот парк, и барский дом за ним, и опустевшие нивы за парком — принадлежит ему, орловскому помещику, отставному кавалеристу Афанасию Афанасьевичу Шеншину.

Дойдя до пруда, Афанасий Афанасьевич садится на низенькую скамью. Вдыхает. Он вдыхает тяжело — его мучает одышка.

От лучей заходящего солнца пруд краснеет. Кажется, что кто-то щедро опрокинул в него большую чашу рубинового вина.

Афанасий Афанасьевич поднимает глаза к небу. Оно висит над миром. Оно чарующе непонятно своей бездонностью.

Афанасий Афанасьевич снова вдыхает. Затем снимает картуз и подставляет солнцу высокий морщинистый лоб.

Его скучные до этого глаза оживают, губы шевелятся. Теперь это уже не хозяин поместья Шеншин, а вещий чаровник Фет — поэт русской природы, с детски жадным любопытством вбирающий в себя все звуки, все шорохи, все очарование родной земли.

— Только пушкинскими стихами, не оскверняя природы, можно мыслить в такой вечер, — произносит он. — Поистине — «очей очарование!»

По дорожкам парка слышатся уверенные шаги.

К пруду выходит высокий молодой человек с приятным загорелым лицом, с маленькой русой бородкой и веселыми синими глазами. На нем поверх кителя

старая студенческая шинель. Из-под выцветшей фуражки, задорно сдвинутой на затылок, видны курчавые волосы. В руках у молодого человека небольшой потертый саквояж.

Увидев Афанасия Афанасьевича, он подходит к скамейке, ставит саквояж на землю, приподнимает фуражку и спрашивает:

— Вы хозяин этого имения?

— Я, а что вам угодно?

— Видите, я возвращаюсь с кондиций домой и решил прогуляться до станции пешком, а так как мой путь лежал через вашу усадьбу, я взял на себя смелость представиться вам. Моя фамилия Верховцев Александр Петрович, студент третьего курса Московского университета.

Поэт поднимается со скамьи и протягивает ему руку.

— Я очень польщен, господин Верховцев, — говорит Фет, — буду рад побеседовать с представителем молодого поколения, которое, увы, меня не жалует.

— Лично я, — улыбается студент, — всегда отдавал дань восхищения стихам поэта Фета, хотя никогда не был согласен с некоторыми мнениями господина Шеншина.

Едва уловимая усмешка скользит по губам Фета.

— Надеюсь, вы переночуете у меня, молодой человек, и мы с вами поговорим и о поэте Фете, и о помещике Шеншине. А пока полюбуйтесь со мной этим дивным закатом. Любуйтесь и вспоминайте Пушкина.

Верховцев присаживается на скамейку, вынимает из кармана кожаный портсигар и закуривает.

— Вы правы, это действительно лучшая пора года.

— И незачем, — добродушно замечает Фет, — отвращать ее запахом табака.

Верховцев краснеет и бросает недокуренную папироску на землю.

Фет дружески кладет ему на плечо руку.

— Прошу вас в дом. Нас ожидает деревенский ужин.

Они поднимаются и молча шагают к дому.

Небо темнеет. Аллеи парка углубляются. Деревья становятся рельефнее.

В кабинете сервирован легкий ужин, поданы жареные цыплята и вино.

Верховцев отказывается от вина. Он сидит в мягком кресле и, насупившись, иронически посматривает на Афанасия Афанасьевича, который с удовольствием обсасывает ножку цыпленка, неторопливо запивая ее вином.

— Не стоит, милый мой, сердиться на жаркое. Мне трудно поверить, чтобы вы, прогулявшись и имея двадцать пять лет от роду, не были бы голодны.

— Спасибо, — благодарит Верховцев, — я плотно пообедал перед дорогой. — И неожиданно не без сарказма спрашивает: — Что же вы не поучаете меня красоте жизни? Той жизни, при которой можно с таким завидным спокойствием кушать цыпленка?

— Боже упаси! Я никогда не претендовал на титул проповедника. Пусть другие писатели наставляют молодежь на путь истинный. Мой удел — воплощение природы в слове.

— Ваше излюбленное положение, — едко замечает Верховцев, — искусство для искусства?

— Именно так. В жизни все преходящее, кроме природы и искусства.

— Я не согласен с вами, — горячо возражает Верховцев, — вы живете в какой-то счастливой Аркадии, и жизнь людей с ее радостями, печалью, борьбой вас не интересует. Она закрыта от вас ветвистыми деревьями вашего парка, и вы не хотите ничего видеть и слышать. Это называется эгоизмом, дорогой Афанасий Афанасьевич.

Верховцев поднимается с кресла и начинает нервно расхаживать по кабинету:

— Ваша поэзия для избранных. Поэзия, не зовущая на борьбу, не нужна народу.

Фет вытирает рот салфеткой:

— Так значит, для вас существует только проза господ недоучившихся семинаристов, возмнивших себя учителями жизни?

— Конечно, они по-настоящему служат идеям прогресса, идеям борьбы с насилием.

— Знаете, — замечает Фет, — некоторым из этих учителей жизни следовало бы сперва поучиться искусству выражения своих мыслей.

— Во всяком случае, — Верховцев останавливается против Афанасия Афанасьевича, — это гораздо лучше, чем проповедовать отсталость, излагаемую высоким

слогом господина Шеншина. Мы с вами стоим на разных полюсах. В чем я вижу спасение России — вы видите ее гибель, и мне даже досадно, что поэт, владеющий большим талантом, в сущности занимается безделушками.

Фет пододвигает свое кресло к камину. В камине ярко горят березовые поленья.

— Вы ошибаетесь, мой юный Марат. У вас свой путь — ну и идите с богом по нему. Желаю вам удачи! А мне на старости оставьте мое: природу и служение искусству. Каждый любит родину по-своему.

Верховцев берет с дивана фуражку.

— Спасибо за беседу и гостеприимство, — говорит он. — Мне пора!

— Ну что вы! Ночь, до станции далеко. Переночуйте, утром вам заложат экипаж.

— Нет, — упрямится студент. — Разрешите откланяться.

— Я, — грустно качает головой Фет, — сборник своих последних стихов называю «Вечерние огни». И пусть глубоко ошибаюсь, как господин Шеншин, которого вы честите крепостником и ретроградом, но, как мне кажется, Фет кое-что сделал для родной поэзии. Так вот я вас прошу, не обижайте меня, выпейте вина, скушайте цыпленка, а я вас познакомлю со своими стихами.

И Верховцев остался.

Уж далеко за полночь, а в кабинете все еще горел свет, и молодому человеку, который задумчиво слушал поэта, казалось, что время растворилось в звуках стихов и шелесте листьев старых кленов.

* * *

Лев Николаевич Толстой одиннадцатого мая 1870 года писал Фету о стихотворении «Майская ночь», которое начиналось такими удивительными строчками:

Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа...

«Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя: оно живое само и прелестное».

А еще задолго до этого Лев Николаевич удивленно

восклидал: «И откуда у этого толстого, добродушного офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов...»

У «добродушного офицера» была внешне спокойная биография. Родился в 1820 году в имении помещика Шеншина, учился в университете, перешел на военную службу, женился, приобрел усадьбу Степановку в Орловской губернии, умело хозяйничал, разбогател. В конце жизни получил генеральское звание камергера.

Казалось бы, предел желаний.

Но у Фета судьба более сложная. Мать его была вывезена в Россию из Германии помещиком Шеншиным, женившимся на ней. Афанасий родился через месяц после свадьбы и в метрике записан по первому браку матери — Фетом, мещанином иностранного происхождения. Долго пришлось Фету хлопотать, чтобы получить фамилию Шеншина и права потомственного дворянства.

Когда он, наконец, сделался Шеншиным и радовался этому событию, И. С. Тургенев написал ему:

«Как Фет вы имели имя, как Шеншин вы имеете только фамилию».

Но все это была внешняя канва биографии, которая забывается, а творчество Фета — поэта-лирика, смелого новатора пейзажного стихотворения, поэта тонких человеческих эмоций, остается с нами — читателями.

Если демократическая молодежь прошлого века, воспитанная на статьях Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Писарева, на гражданских стихах Некрасова, холодно относилась не только к Фету, но и к Тютчеву, то время — лучший судья — нашло для каждого из них свое место.

АВТОГРАФ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Бородатый кондуктор, кряхтя, зажег в тусклом фонаре сальную свечку. За дребезжащим окном вагона третьего класса стало еще темнее и бесприютней и только в железнодорожных будках мелькали жалкие запотевшие светлячки.

Ивана Петровича знобило. Он закутался в старое форменное пальто и пил из жестяной кружки жидкий чай, гостеприимно предложенный соседом — высоким

щеголеватым унтер-офицером. На верхней полке, закинув руки за голову, лежал лысый старичок в желтом дубленом новеньком полушубке. От полушубка шел крепкий домовитый запах овчины.

В соседнем отделении надоедливо плакал грудной ребенок и бабий голос просил:

— Дяденька, ты бы вышел куды со своей махоркой, ребенок-то обижается, першит у его в глотке, поимей совесть.

— Наро-од! — грызя белыми зубами ядовито-зеленую карамельку, говорил унтер. — Никакого снисхождения к детскому полу! Серость высказывает в полной мере! Ему бы курить деликатные папиросы, а он, сукин сын, отравляет воздух махоркой. — И, оборотившись к Ивану Петровичу, вежливо спросил: — Куда путь держите? Первопрестольную смотреть?

— Да, и в Москву, мне там нужно с докторами посоветоваться, да еще в Ясную Поляну — к Льву Николаевичу Толстому.

— К тому самому, — сурово спросил унтер, — что людей смущает, всякие учения выдумляет?

— Голубчик! Вы ошибаетесь. Как педагог, уверяю вас, граф Лев Николаевич Толстой уважаем всеми за великие создания, просвещающие человеческий разум, и ничему плохому он не учит, это идеал высокой нравственности.

— А наш полковой батюшка отец Григорий высказывается о вреде графа Толстого.

— Я не имею возможности пускаться в богословские споры. — На щеках Ивана Петровича пяточками проступили красные пятна. — Тем более, что вы человек военный, так сказать, казенный, но еще раз уверяю честным словом, что ваш отец Григорий не понимает Толстого.

Вежливость собеседника обескуражила унтера, и он уже добродушно, доставая из кармана рейтуз кожаный портсигар, предложил:

— Не желаете побаловаться? «Дюшес», десять штук восемь копеек. — И, выкурив папироску, зевнул: — А я, господин учитель, теперь имею потребность поспать. Привык в казарме с курами ложиться, с пехотами вставать. Будьте со спокойной ночью.

Унтер аккуратно расстелил тонкое солдатское одеяло, вынул деревянный сундучок, обитый жестью, до-

стал подушечку в чистой ситцевой наволочке, снял хромовые сапоги, положил их под подушечку и, накрывшись шинелью, вскоре заснул крепким солдатским сном.

Сверху лысый старичок, наклонив голову, заговорщически просипел:

— Господин, а господин?

— Вы мне, дедушка?

— Тебе, тебе, господин хороший, поднимись с места-то! — И когда Иван Петрович приподнялся, старик зашептал: — Ты, стало быть, к Толстому пробираешься? А нет ли у тебя, милочек, книжек про мужицкую долю? О том, как жить?

— Нету, дедушка, — засмеялся учитель.

— Ты не бойсь меня, — недовольно пробурчал старичок, — я не для смеха, а для дела спрашиваю, должны быть такие книжки, за них начальство и преследует, стало быть, Толстого и тех мужиков, кто его веру приемлет.

Иван Петрович промолчал.

Старичок прошептал еще доверительнее:

— Вот какие дела, сынок, будешь у него, у Льва Николаевича то есть, попроси таких книжек, скажи ему мое фамилие — Прохоров Алексей Михайлов из деревни Нефедово Кадниковского уезда. Может, даст, тогда милости просим к нам, погости. Воздух деревенский хороший, я тебя молочком покормлю, ишь ты какой кашлюн.

Свеча оплывала, чадила. В вагоне почти все спали, только у самых дверей кто-то тихо наигрывал на кирилловской гармошке несложный мотив «отвори да затвори».

За окном была ночь, и от дождя — брызги на грязном стекле.

Иван Петрович Афонин, преподаватель Вологодского реального училища, знал, что у него неизлечимая болезнь — чахотка, но не боялся. Ему было двадцать восемь лет, и может поэтому физически он никак смерти не воспринимал, хотя логически знал о неизбежности конца. В сентябре у него пошла кровь горлом, и его положили в городскую больницу, а через месяц выписали, посоветовав обратиться в Московскую университетскую клинику. Когда он лежал в больнице, го со-

вершено случайно в толстовском сборнике «Круг чтения» прочел рассказ «За что?». На больного, у которого все нервы были обострены, рассказ произвел особенное впечатление. Не верилось, что его создал семидесятишестилетний старик, настолько повествование было наполнено страстями, борьбой, жизнью. «За что?» напоминал Афонину недавние революционные события и наступившую реакцию. Учитель прочел рассказ трижды подряд, с каждым разом открывая в нем новые мысли, близкие ему. Он хорошо знал и любил «Войну и мир» и «Анну Каренину», спорил горячо в среде молодежи о «Крейцеровой сонате» и все же «За что?», рассказ о негибкости человеческих чувств, вместившийся в двадцать страничек типографской печати, потряс его гневной силой обличения царского строя. И тогда Ивану Петровичу непреодолимо захотелось увидеть собственными глазами автора огненных слов. Увидеть во что бы то ни стало, пожать ему руку и получить от него бесценную святыню — портрет с автографом. Так что, когда ему предложили ехать к московским профессорам и директор училища подписал приказ об отпуске по болезни коллежского секретаря преподавателя Афонина, он поблагодарил его превосходительство.

Афонин решил в Москве зайти к земляку, писателю и журналисту Владимиру Алексеевичу Гиляровскому, и вместе с ним выбрать в магазине (Гиляровский лучше знает — где) фотографический снимок Толстого — самый хороший и дорогой, чтобы на нем Лев Николаевич сделал подпись. К Гиляровскому от знакомого учителя рисования он имел рекомендательное письмо.

Иван Петрович лежал на вагонной лавке в неудобной позе. Его знобило, пальто не согревало и казалось слишком тяжелым. А когда под монотонный стук колес забывался, то ему мерещился окровавленный, умирающий доктор Шокальский из рассказа «За что?», которого приговорили к мучительной казни — прогнанию «сквозь строй».

«Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними... И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалуйте». Но они все били, когда

его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили...»

Врезавшиеся в память толстовские слова ожили в сознании Ивана Петровича, и он очнулся от забытья. Сильно болела голова, особенно в области мозжечка. Афонин поежился, закашлялся, сел, прижавшись лбом к холодному стеклу.

В Москве Афонин остановился у тетки — вдовы дьякона, в домике в одном из переулков Мещанской улицы. Комнаты были заставлены старомодной мебелью и цветами на окнах. Марья Ивановна, добрая старушка, жила на вдовью пенсию, сдавала комнату жильцам и пекла просфоры для приходской церкви.

Приезду племянника старушка обрадовалась. Напоила чаем с горячими просфорами и малиновым вареньем и уложила отдохнуть на перину.

Отдохнув, Иван Петрович к вечеру поехал на извозчике в Столешников переулок к Гиляровскому. Электрические фонари, трамваи, зеркальные витрины магазинов, нарядная толпа на Петровке несколько развлекли Афонина, хотя грудь по-прежнему болела. Когда он вдыхал влажный осенний воздух, чьи-то пальцы, казалось, сжимали легкие, особенно в левой стороне. Поднимаясь на третий этаж в квартиру Гиляровских, учитель два раза останавливался на площадке от усталости...

Владимир Алексеевич — плотный, широкоплечий, с седеющими усами, всем видом заправский Тарас Бульба — встретил Афонина шумно, весело, гостеприимно. Наскоро пробежав рекомендательное письмо, Гиляровский провел земляка в столовую, познакомил с домашними, угостил чем бог послал (а бог послал полный стол снеди с вином). Узнав причину приезда Ивана Петровича, обещал сейчас же у знакомого фотографа на Кузнецком мосту достать нужный снимок.

Когда учитель надрывно закашлял, Владимир Алексеевич обеспокоенно и сердечно сказал:

— Эх, земляк, земляк, надо о своем здоровье думать, лечиться надо... Подожди, не спорь, не лезь в пекло раньше батьки, я сейчас выясню — есть ли места в университетской клинике, у меня всюду приятели.

— Не беспокойтесь, я с письмом от главного врача

вологодской больницы, а в запечатанном конверте — история моей болезни, — ответил Иван Петрович.

— Письмо письмом, а знакомство не помешает. — Владимир Алексеевич ушел в соседнюю комнату звонить по телефону. Вышел оттуда довольный: — Завтра, в десять утра, тебя примет (он назвал фамилию знаменитого московского профессора) и все устроит... А теперь — за фотографией... Кстати, я тебе покажу фотографию Толстого с его надписью. Дорожку покажу тебе, как зеницей ока.

Это был хороший снимок, подписанный Львом Николаевичем на память Владимиру Алексеевичу.

На улице писатель рассказывал Афонину о своих встречах со Львом Николаевичем, и о том, как однажды они с Толстым ехали на рысаке смотреть водевиль Чехова «Медведь».

— Ехали в санках без полсти, санки-то узкие, я уступил Льву Николаевичу три четверти сиденья, а сам кое-как примостился и полувисел в воздухе, крепко обняв Льва Николаевича за талию. А когда санки выскочили на Девичье Поле, мы вывалились прямо в снежный сугроб. И тогда я, дорогой землячок, посоветовал кучеру Ване Дунаеву, который возил меня постоянно, переименовать своего рысака в Холстомера в знак уважения к знаменитому седоку.

Афонин с восхищением слушал Гиляровского, искоса поглядывая на его крупную фигуру.

...В фотографии им предложили на выбор несколько снимков Толстого. Владимир Алексеевич не разрешил Ивану Петровичу уплатить за выбранную фотографию.

— Ты мой гость, земляк! — и передал завернутую в плотную бумагу покупку учителю.

Утром в клинике Ивана Петровича осмотрел седовласый профессор в серой генеральской тужурке под белым халатом. Тут же в почтительном отдалении стояли врачи.

— Тэк-с! — произнес профессор. — Придется вам, господин Афонин, остаться у милейшего Константина Владимировича (один из врачей поклонился), он возьмет вас под неослабное наблюдение... Нет, нет, — поспешно сказал он, видя жалкое просящее лицо Ивана Петровича. — Необходимость проверки данных вологодской больницы диктует мне это решение. Продлится ваш

«арест», — улыбнулся профессор, — недели две, максимум три. Вы какой предмет ведете? (Как будто это было важно для диагноза).

— Историю.

— Ну вот... историк... сами должны понимать...

— Господин профессор! — взмолился Афонин, — мне бы сначала в Ясную Поляну к Льву Николаевичу съездить, и тогда я хоть на месяц к вашим услугам...

Профессор только махнул красивой белой рукой, так отмахиваются от детских капризов. А милейший Константин Владимирович деликатно подтолкнул Ивана Петровича к двери.

Няня отвела Афонина в палату с двумя койками, где на одной сидел юноша с нежным лицом и очень яркими голубыми глазами.

— Студент-филолог Юрий Мильницкий, — представился он, пожимая влажной горячей рукой пальцы Ивана Петровича, — безумно рад коллеге, от скуки готов был выть волком.

Но Афонин, не расположенный к разговору, сразу же лег в постель.

И началась знакомая по вологодской больнице жизнь: обход врачей, процедуры, разговоры с больными. Раздражало и то, что больных осматривали не только врачи, но и студенты-практиканты с трубками и молоточками.

Вскоре Афонина навестила тетушка, принесла пироги, банку варенья, пяток апельсинов.

Однажды к вечеру заехал Владимир Алексеевич, он тоже привез фруктов и снова рассказывал о Толстом, о Чехове, о литературе, о журнальных новостях. И опять Иван Петрович влюбленно смотрел на него. И студент Юрий был рад Гиляровскому, которого хорошо знал по его рассказам и очеркам.

— Терпи, — на прощанье сказал Гиляровский, — еще неделька, и поедешь ты ко Льву Николаевичу... Да и Юрочка, видимо, скоро улетит из этой клетки.

Через два дня ординатор Константин Владимирович при утреннем обходе несколько повышенным тоном обратился к Ивану Петровичу:

— Вы собирались в Ясную Поляну к графу, а он, — доктор указал пальцем на фотографию Толстого на столике у постели больного, — ночью уехал из своей

усадыбы вместе с домашним врачом Маковицким... Восемьдесят два года Льву Николаевичу, а теперь конец октября...

Юрий возмущился:

— Вы не понимаете, доктор, это величественно, это так соответствует его львиной натуре!.. Толстой не мог дышать в том барском окружении, в котором он существовал... Это исторический подвиг! Правда, Ваня?

Иван Петрович побледнел:

— Ради бога, газету, пожалуйста!

— Экий вы нервный, — с укоризной покачал головой ординатор, — а вы, Юрочка, по-ребячьи рассуждаете. Нельзя было допускать того, что выкинул граф. — И, волнуясь, закончил: — Меня толстовские идеи не привлекают, но я боюсь за жизнь великого художника, гордости нашей! — и сразу ушел.

Няня принесла номер газеты «Русское слово» от тридцать первого октября, где была опубликована корреспонденция Оболенского о внезапном отъезде Льва Николаевича из Ясной Поляны. В письме, оставленном на имя жены, Толстой писал:

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни...»

В клинике больные забыли о любимой теме своих бесед, то есть о болезнях и их симптомах; врачи, фельдшера, няни, служители — все только и говорили о Льве Николаевиче, судили вкось и вкривь и о самом Толстом, и о Софье Андреевне, и о монахини Марии Николаевне — сестре Толстого, которую он посетил в монастыре после своего отъезда. Газеты, словно обрадовавшись, широко писали об уходе Толстого, перемыывая косточки всем родным и близким писателя.

Иван Петрович, выбитый из колен, не знал, что думать. Он соглашался то с Юрочкой, то с ординатором, который теперь часто заходил к ним в палату. То, что Афонин собирался в Ясную Поляну и то, что у него был хороший фотографический снимок Толстого, де-

лало его заметным человеком в клинике. И поэтому в маленькой палате всегда былолюдно и на столике лежали газеты, которые приносили и врачи, и больные.

Юрочка восклицал:

— Весь мир взволнован уходом Льва Николаевича. Толстой еще провозгласит истину!

— Он старенький, — вслух думал Иван Петрович, — и если что случится, мы лишимся гения, а он еще может многое написать.

И неожиданно газеты сообщили: Толстой заболел и лежит на маленькой станции Астапово в бедной комнате начальника. Никому неведомая станция сразу же стала всемирно известной. Ее название повторяли телеграфы всего земного шара. Люди поняли, как им дорог Толстой. И уже не восхищался Юрий уходом писателя, а сидел на койке, жалобно повторяя:

— Только бы поправился, только бы поправился...

Иван Петрович машинально ходил взад и вперед по палате и смотрел на фотографию Толстого.

А газеты сенсационно сообщали, что у Льва Николаевича бронхит перешел в воспаление легких, что граф отказался принять архиерея, что он запретил пускать к нему Софью Андреевну, что он...

В ночь на седьмое ноября Юрий и Афонин крепко заснули.

Первым проснулся Иван Петрович и, как всегда, прежде всего посмотрел на портрет Льва Толстого. Утро едва пробивалось в большое окно палаты. Хмурое, позднее осеннее утро. Но даже при неверном свете Толстой с фотографии глядел пронзительно всевидящими глазами и улыбался.

— Он может умереть, — тихо сказал Иван Петрович. — Толстой может умереть!

Но с портрета Толстой улыбался.

Проснулся Юрий, затревожился.

— Нет ли каких известий из Астапово?

День прошел томительно длинно.

Перед ужином в дверях палаты появился Константин Владимирович. В дрожащей руке у него была газета. Сел на койку рядом с Иваном Петровичем, обнял его.

Невольные слезы застлали глаза Афонина, который понял, что случилось непоправимое...

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ О ДАВНЕМ

Зарницы над Русью	5
Одержимые	51
Евдокия-лапотница	96
Россия на гауптвахте	126
Мастера	193
Неистовый семинарист	228

ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ

Русские новеллы

Изограф	259
Кабинет-министр	268
Сумерки Алексея Орлова	275
Возвращение фельдмаршала	281

Римские новеллы

Цезарь и Петроний	288
Лик Венеры	297

Новеллы и этюды о русских писателях

Поэт и царь	307
Судьба «Бориса Годунова»	316
«Как хороши, как свежи были розы...»	322
Без воздуха	325
Гражданская казнь на Мытнинской площади	329
На художественной выставке	332
Некрасов приехал	336
Сановник и писатель	340
В Эмс на лечение	344
Последний путь Некрасова	349
«Очей очарованье!»	354
Автограф Льва Николаевича	358

Владимир Степанович Железняк

ОДЕРЖИМЫЕ

Исторические повести, новеллы, этюды

Рецензенты *А. А. Романов, Г. Г. Фруменков*

Редактор *А. А. Иванов*

Художник *С. М. Иевлев*

Художественный редактор *А. С. Мазурин*

Технический редактор *Н. Б. Буйновская*

Корректоры *Н. С. Дурасова, В. А. Фокина*

ИБ № 735

Сдано в набор 20.12.85 г. Подписано в печать 21.04.86 г. ГЕ05205.
Гарнитура «Литературная». Высокая печать. Форм. бум. 84×108/32
(бум. тип. № 3). Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,372.
Уч.-изд. л. 19,623. Тираж 15000. Заказ 9081. Цена 1 руб. 60 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, 160000, Вологда, Урицкого, 2.
Областная типография, 160001, Вологда, Челюскинцев, 3.

